100 великих романов

Йозеф РОТ

МАРШ РАДЕЦКОГО



Марш Радецкого
Йозеф Рот

Аннотация
Йозеф Рот. Марш Радецкого
Роман-кенотаф
Часть первая
  Глава первая
  Глава вторая
  Глава третья
  Глава четвертая
  Глава пятая
  Глава шестая
  Глава седьмая
  Глава восьмая
Часть вторая
  Глава девятая
  Глава десятая
  Глава одиннадцатая
  Глава двенадцатая
  Глава тринадцатая
  Глава четырнадцатая
  Глава пятнадцатая
Часть третья
  Глава шестнадцатая

Глава семнадцатая
Глава восемнадцатая
Глава девятнадцатая
Глава двадцатая
Глава двадцать первая
Эпилог

Аннотация

Йозеф Рот (1894–1939) – выдающийся австрийский писатель, классик мировой литературы XX века. Стефан Цвейг писал, что у Йозефа Рота «была русская натура, я сказал бы даже, карамазовская, это был человек больших страстей» и «ему были свойственны русская глубина чувств, русское истовое благочестие».

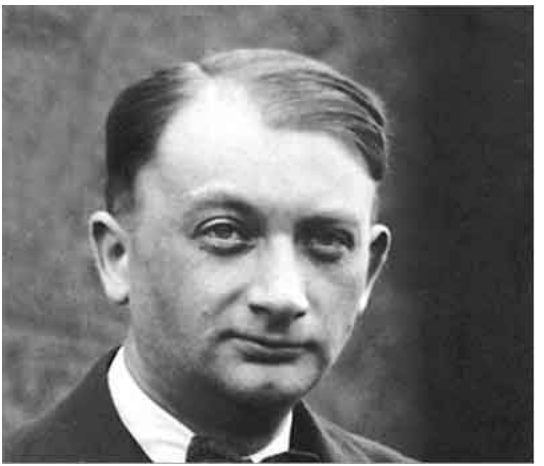
«Марш Радецкого» – это история трех представителей семейства фон Тротта, преданных слуг австрийской короны, история рухнувшего габсбургского мира, Австро-Венгерской монархии. Роман написан в реалистической традиции, но пронизан тонким юмором и иронией.

Йозеф Рот
Марш Радецкого

© Ман Н., перевод на русский язык, наследники, 2018
© Клех И. Ю., вступительная статья, 2018
© ООО «Издательство «Вече», 2018
© ООО «Издательство «Вече», электронная версия, 2018

Знак информационной продукции 12+

Роман-кенотаф



Роман Йозефа Рота (1894–1939) «Марш Радецкого» — книга печальная, как плач по дорогой сердцу утопии, приказавшей долго жить. При жизни и на глазах писателя исчезло с политической карты мира огромное государство — великая империя, просуществовавшая под разными обличьями и в различных форматах тысячу лет. Упраздненная Наполеоном Священная Римская

империя германской нации пережила своего могильщика еще на целое столетие и кончилась вместе с императором-долгожителем Францем Иосифом как Австро-Венгрия, одряхлевшему телу которой любое омоложение конституции способно было помочь не больше, чем припарки. Австро-Венгерская империя представляла собой конгломерат (т. е. механическую смесь) приведенных к повиновению центральноевропейских народов, разорвавших в клочья шкуру состарившегося габсбургского медведя в результате Первой мировой войны, которую на Западе принято называть Великой войной.

Йозеф Рот был галицийским евреем и австрийским немецкоязычным писателем, сумевшим лучше других описать закат и гибель империи, которую он считал своей родиной. Огромный медведь оказался не настоящим, а чучелом, и все формы жизни в империи становились все более чучельными, омертвелыми, выморочными, а то, что еще оказывалось в ней живо, было обречено и обязано погибнуть, чтобы освободить жилплощадь для новых жильцов. В романе Рота царит отчуждение, его перо максимально нейтрально и безоценочно — и такое послевкусие остается от его письма, что впору повеситься, если такой бы-

ла твоя страна и описанные в книге люди — это твои близкие.

Йозеф Рот был писателем с трагической судьбой, и оттого всем известный бравурный «Марш Радецкого» неотвратимо переходит у него в похоронный, а роман «Марш Радецкого» становится подобием кенотафа — символического памятника над пустой могилой его исторической родины. Переживший ее крушение писатель ясно сознавал, что пощады не будет для ностальгирующих «недобитков» вроде него в следующем действии трагедии, и предпочел умереть на пороге очередной, еще более «великой войны», затмившей предыдущую.

Австрийские писатели Цвейг, Музиль и Кафка, чех Гашек, венгр Йокаи и писавшие на польском Бруно Шульц и Юлиан Стрийковский очень поразному воспринимали и описывали реалии этой канувшей центрально-европейской Атлантиды. Интересно, что механика чучельной реальности при закате и гибели великой империи описана Ротом post factum очень похоже на то, как это провидчески делал Белый в романе «Петербург». Великолепный и ослепительный австрийский «орднунг» был не в состоянии спрятать от глаз трупные пятна начавшегося разложения и

близкого распада. Рот не поскупился на живописное изображение венского парада и казачьей джигитовки, экзотики галицийских еврейских местечек и уродливого гарнизонного быта. Более того, он не побоялся картин предпринятого австрийцами геноцида русинов-русофилов в начале войны, ничем не отличавшегося от зверств немецких нацистов и послужившего им примером. Полезное чтение для ностальгирующих по австро-венгерской утопии в Mittel Europe.

Неприкаянный апатрид и «святой пропойца» Рот незадолго до вступления войск вермахта в Париж, узнав о самоубийстве в США своего друга, писателя-антифашиста Э. Толлера, упал как подкошенный и скончался в лазарете для бедноты. Его наихудшие ожидания сбылись. Вот что написал о нем другой его друг — Стефан Цвейг:

«У Йозефа Рота была русская натура, я сказал бы даже, карамазовская, это был человек больших страстей, который всегда и везде стремился к крайностям; ему были свойственны русская глубина чувств, русское истовое благочестие, но, к несчастью, и русская жажда самоуничтожения. Жила в нем и вторая натура — еврейская, ей он обязан ясным, беспощадно трезвым, критическим умом и справедливой, а потому кроткой

мудростью, и эта натура с испугом и одновременно с тайной любовью следила за необузданными, демоническими порывами первой. Еще и третью натуру вложило в Рота его происхождение — австрийскую, он был рыцарственно благороден в каждом поступке, обаятелен и приветлив в повседневной жизни, артистичен и музыкален в своем искусстве. Только этим исключительным и неповторимым сочетанием я объясняю неповторимость его личности и его творчества».

Красиво сказано. Остается только добавить, что и сам Цвейг не пережил следующего действия исторической трагедии и катастрофы европейской цивилизации, в далекой Бразилии приняв вместе с женой смертельную дозу снотворного. Чуть раньше умалишенная жена Рота погибла в фашистском концлагере, когда последний клочок некогда могучей и славной космополитической империи поглотил и переварил, не поперхнувшись, нацистский Третий Рейх. Так и получается, что наша «жизнь есть сон», а порой еще и исторический кошмар, от которого невозможно очнуться, но стоит попытаться.

Игорь Клех

Часть первая

Глава первая

Тротта были молодым родом. Их предок получил дворянство после битвы при Сольферино. Он был словенцем. Сиполье — название деревни, откуда он происходил, — стало его гербовым именем. К необыкновенному деянию был он предназначен судьбой. Но сам позаботился о том, чтобы имя его изгладилось в памяти потомства.

В битве при Сольферино он, в чине пехотного лейтенанта, командовал взводом. Уже полчаса как продолжался бой. В трех шагах от себя он видел белые спины своих солдат. Первая шеренга его взвода стреляла с колена, вторая — стоя. Все были бодры и уверены в победе. Они плотно поели и выпили водки за счет и в честь императора, который со вчерашнего дня присутствовал на поле битвы. То тут, то там один из цепи падал. Тротта спешил заполнить собой каждую образовавшуюся брешь и стрелял из осиротевшего оружия убитого или раненого. Он то сдвигал теснее поредевшую цепь, то снова растягивал ее, вглядываясь во все стороны стократно обострившимся глазом, вслушиваясь во все стороны напряженным ухом. Сквозь ружейный треск его

чуткий слух улавливал редкие звонкие команды капитана. Острый взгляд проницал сине-серый туман перед линиями противника. Ни разу он не стрелял не целясь, и каждый из его выстрелов попадал в цель. Люди чувствовали его руку и его взгляд, слышали его призыв и чувствовали себя уверенно.

Противник сделал передышку. Необозримо длинную линию фронта обежала команда: «Прекратить огонь». То тут, то там еще щелкал шомпол, то тут, то там еще раздавался выстрел, запоздалый и одинокий. Сине-серый туман между фронтами слегка поредел. Внезапно все ощутили полуденное тепло серебряного, затуманенного, грозового солнца. Тогда между лейтенантом и спинами солдат появился император с двумя офицерами генерального штаба. Он как раз собирался поднести к глазам бинокль, протянутый ему одним из сопровождающих. Тротта понимал, что это значит: даже если допустить, что враг отступает, его арьергард, несомненно, стоит лицом к австрийцам, человек же, держащий в руке бинокль, дает ему понять, что перед ним мишень, в которую стоит попасть. И эта мишень — молодой император. Тротта почувствовал, что у него останавливается сердце. От страха перед нево-

образимой, безграничной катастрофой горячий озноб пробежал по его телу. Его колени дрожали. Извечное негодование младшего фронтового офицера против высоких господ из генерального штаба, не имеющих понятия о горькой практике, продиктовало лейтенанту поступок, который навеки вписал его имя в историю этого полка. Он обеими руками надавил на плечи монарха, стремясь прижать его к земле. Лейтенант, видимо, надавил слишком сильно. Император упал тотчас же. Сопровождающие бросились к упавшему. В этот момент выстрел пробил плечо лейтенанта, тот самый выстрел, который предназначался сердцу императора. Пока тот поднимался, упал лейтенант. Повсюду, вдоль всего фронта, пробудилось суматошное и беспорядочное щелканье испуганных и вырванных из дремоты ружей. Император, невзирая на нетерпеливые просьбы своих спутников поскорее покинуть опасное место, верный своей царственной обязанности, склонился над распростертым лейтенантом, спрашивая лишившегося сознания и уже ничего не слышавшего, как его зовут. Полковой врач, санитарный унтер-офицер и двое солдат с носилками, согнув спины и опустив головы, галопом подбежали к ним. Офицеры генерального штаба

сначала толкнули императора, затем сами бросились на землю. «Здесь, лейтенанта!» — крикнул император запыхавшемуся полковому врачу.

Между тем огонь снова стих. В то время как подпрапорщик, встав перед взводом, звонким голосом объявил: «Взводом командую я!» — Франц Иосиф и его спутники поднялись, санитары бережно привязали лейтенанта к носилкам и все двинулись назад по направлению к полковому штабу, откуда виднелась белоснежная палатка ближайшего перевязочного пункта.

Левая ключица Тротта была раздроблена. Пулю, засевшую под самой лопаткой, извлекли в присутствии высших чинов, под нечеловеческий вой раненого, которого боль пробудила от обморока.

Тротта через месяц выздоровел. Когда он вернулся в свой южновенгерский гарнизон, он уже был обладателем капитанского чина, высочайшей из наград — ордена Марии-Терезии и дворянства. Отныне его звали: капитан Йозеф Тротта фон Сиполье.

Каждый вечер, перед тем как заснуть, и каждое утро, пробуждаясь от сна, словно его жизнь была подменена какой-то чужой, новой, сфабрикованной в мастерской, он твердил про себя свой новый чин и новое звание и подходил к зеркалу,

желая убедиться, что лицо у него прежнее. Перед неуклюжей фамильярностью, при помощи которой его приятели пытались преодолеть расстояние, неожиданно положенное между ними неисповедимой судьбой, и своими собственными тщетными усилиями с привычной непринужденностью относиться к миру новоиспеченный дворянин и капитан Тротта явно терял равновесие. Ему казалось, что отныне он на всю жизнь обречен в чужих сапогах бродить по натертому паркету, провожаемый перешептыванием и встречаемый робкими взглядами. Его дед был еще бедным крестьянином, его отец — военным писарем, впоследствии жандармским вахмистром на южной окраине империи. Потеряв глаз в схватке с босняцкими контрабандистами, он стал жить в качестве инвалида войны и паркового сторожа при Лаксенбургском дворце, кормил лебедей, подстригал живые изгороди, весной охранял ракитник, а позднее — бузину от разбойничьих, злонамеренных рук, и в теплые ночи выметал бесприютные парочки с благодетельно укромных скамеек. Естественным и подобающим казался чин простого пехотного лейтенанта сыну жандармского унтер-офицера. Но для дворянина и отличенного капитана, разгуливавшего, как

в золотом облаке, в чуждом, почти неуютном сиянии императорской милости, родной отец вдруг отодвинулся куда-то вдаль, и умеренная любовь, которую сын питал к старику, стала требовать иного образа действий, иных форм общения. В течение пяти лет капитан не видел своего отца, но зато каждую вторую неделю, придя после вечно неизменного обхода в караульное помещение, писал ему письмо при скудном и беспокойном свете служебной свечки, после того как, проверив караулы и отметив часы их смены, он вписывал в рубрику «Особые происшествия» такое энергичное и четкое «никаких», которое уже само по себе отрицало возможность особых происшествий. Как отпускные свидетельства или служебные записки, походили друг на друга и эти письма, написанные на желтоватой, волокнистой четвертушке бумаги, с обращением «милый отец», проставленным слева, в четырех пальцах расстояния от верхнего края и двух — от бокового, начинающиеся с краткого уведомления о благополучии пишущего, выражающие надежду на благополучие получателя и неизменно заканчивающиеся написанными с красной строки по диагонали от обращения словами: «с уважением Ваш преданный и благодарный сын Йозеф

Тротта, лейтенант». Но теперь, когда благодаря новому чину уже не нужно нести караульной службы, ему, видимо, приходится менять рассчитанную на всю солдатскую жизнь форму письма и между нормированными строками вставлять необычные сообщения о ставших необычными обстоятельствах, которые и сам едва понимаешь. В тот тихий вечер, когда капитан Тротта впервые по выздоровлении присел к столу, изрезанному и исковырянному игривыми ножами скучающих мужчин, чтобы выполнить свой долг корреспондента, он понял, что никогда не двинется дальше обращения «милый отец!». Он прислонил неплодовитое перо к чернильнице и снял нагар с колеблющегося фитиля свечи, словно надеясь в ее успокоенном свете почерпнуть счастливую идею или подходящий оборот речи, и незаметно предался воспоминаниям о детских годах, о матери и кадетском корпусе. Он следил за гигантскими тенями, отбрасываемыми даже самыми мелкими предметами на голые, выкрашенные в синеватую краску стены, и за слегка согнутым, поблескивающим очертанием сабли, сквозь рукоятку которой был продернут шейный платок, на крюке радом с дверью. Он прислушивался к неутомимому дождю и к песне, барабанящей по

жестяному подоконнику. Наконец он поднялся, решив на следующей неделе посетить отца, после обязательной благодарственной аудиенции у императора, на которую его должны были откомандировать в самые ближайшие дни.

Неделю спустя, сразу после аудиенции, которая длилась десять коротких минут, десять минут императорской милости, и десяти или двенадцати предписываемых церемониалом вопросов, ответы на которые, стоя навытяжку, следовало выпаливать не слишком громко, но решительно, как из ружья: «Так точно, ваше величество», — он поехал в фиакре к отцу в Лаксенбург. Старика он застал без мундира в кухне его казенной квартиры, за гладко обструганным непокрытым столом, на котором лежал темно-синий носовой платок с красной каймой, перед вместительной чашкой с дымящимся и благоухающим кофе. Сучковатая, красно-коричневая палка из черешневого дерева, крючком зацепленная за край стола, тихонько покачивалась. Полуоткрытый, морщинистый, туго набитый кожаный кисет с грубо натертым табаком лежал возле длинной трубки из обожженной и пожелтевшей глины. Капитан Йозеф Тротта фон Сиполье со своими блестящими аксельбантами, в лакированном шлеме, распро-

страняющем некое подобие черного солнечного сияния, в тугих, до пламени начищенных, высоких сапогах с сверкающими шпорами, с двумя рядами блестящих, почти пылающих пуговиц на мундире, наделенный сверхъестественным могуществом ордена Марии-Терезии, стоял среди этой привычной бедной и казенной обстановки, как некий бог войны. Так стоял сын перед отцом, который медленно поднимался с места, словно желая медлительностью приветствия подчеркнуть блеск молодого человека. Капитан Тротта поцеловал руку отца, склонил голову пониже и принял поцелуи: один в лоб, другой в щеку.

— Садись, — произнес старик. Капитан отстегнул некоторые атрибуты своего блеска и сел. — Поздравляю тебя, — сказал отец обычным голосом с твердым немецким выговором армейских славян. Гласные прорывались у него, подобно грому, а окончания он как бы отяжелял маленькими гирями. Пять лет назад он еще говорил с сыном по-словенски, хотя юноша и понимал только немногие слова, а сам не мог произнести ни единого. Но сегодня обращение на родном языке казалось старику слишком большой интимностью по отношению к сыну, благодаря милости судьбы и императора так вы-

соко над ним вознесшемуся; и капитан тщетно вглядывался в губы отца, чтобы приветствовать первый звук словенской речи, как нечто привычное и далекое, утраченное и родное.

— Поздравляю, поздравляю, — громыхая, повторял вахмистр. — В мое время так скоро дело не делалось! В мое время нас еще жучил Радецкий!

«Все кончено!» — думал капитан Тротта. Отец отделен от него высокой горой военных чинов.

— Есть у вас ракия, отец? — произнес он, чтобы поддержать последний остаток семейной общности. Они пили, чокались, снова пили, после каждого глотка отец кряхтел, заходился нескончаемым кашлем, багровел до синевы, сплевывал, медленно успокаивался и начинал рассказывать всевозможные истории из времен своей военной службы, с совершенно очевидным намерением умалить заслуги и карьеру сына. Наконец капитан встал, приложился к отцовской руке, принял отеческие поцелуи в лоб и в щеку, пристегнул саблю, надел кивер и пошел. С ясным сознанием, что видел отца последний раз в жизни…

Так оно и было. Сын писал старику обычные письма, иных видимых отношений между ними более не существовало — капитан Тротта освободился от длинного ряда своих крестьянских

предков-славян. С него начался новый род. Округлые годы катились друг за дружкой, как хорошо пригнанные, мирные колеса. Сообразуясь со своим рангом, Тротта женился на уже не слишком молодой, но не бесприданной племяннице своего полковника, дочери окружного начальника в Западной Богемии, прижил с нею сына, вкушал размеренность здоровой офицерской жизни в маленьком городишке, ездил каждое утро верхом на плац-парад, после обеда в кафе играл в шахматы с нотариусом, освоился со своим чином, сословием, своим достоинством и своей славой. Он обладал заурядными военными способностями и каждый год на маневрах заурядно проявлял их, был хорошим мужем, не доверял женщинам, не увлекался картежной игрой, был ворчлив, но честен на службе, заклятый враг всякой лжи, недостойного мужчины поведения, трусливой скрытности, многословных восхвалений и корыстных происков. Он был прост и безупречен, как его послужной список, и только гнев, иногда его охватывавший, заставил бы знатока людской породы почувствовать, что и в душе капитана Тротта темнеют глубины, в которых дремлют бури и неведомые голоса безыменных предков.

Он не читал книг, наш капитан Тротта, и вти-

хомолку жалел своего подраставшего сына, который должен был вскоре столкнуться с грифелем, доской и губкой, бумагой, линейкой и таблицей умножения и которого уже дожидались неизбежные хрестоматии. К тому же капитан был убежден, что и его сын должен сделаться солдатом. Ему и в голову не приходило, что какой-нибудь Тротта (отныне и до скончания рода) может заниматься чем-нибудь другим. Будь у него два, три, четыре сына — все они стали бы солдатами, но его жена была хилая женщина, нуждалась во врачах и лечении, беременность угрожала ее жизни. Так думал тогда капитан Тротта. Поговаривали о новой войне; он каждый день был готов к ней. Более того, он был почти убежден, что ему предначертано умереть в бою. Его добросовестное простодушие считало смерть на поле битвы естественным следствием военной славы. До того дня, когда он с небрежным любопытством взял в руки первую хрестоматию своего сына, мальчику только что исполнилось пять лет, но домашний учитель из-за тщеславия матери раньше времени заставил его вкусить все горести учения. Он прочел рифмованную утреннюю молитву, в течение десятилетий она оставалась все той же, он еще помнил ее, прочел

«Времена года», «Лису и Зайца», «Царя зверей». Потом раскрыл оглавление, увидел название отрывка, казалось, относившееся непосредственно к нему: «Франц Иосиф I в битве при Сольферино»; прочел и принужден был сесть. «В битве при Сольферино, — так начинался отрывок, — наш император и король Франц Иосиф I подвергся великой опасности». (Тротта сам фигурировал в этом отрывке. Но в сколь преображенном виде.) «Монарх, — стояло там, — в пылу битвы отважился прорваться так далеко вперед, что вдруг увидел себя окруженным вражескими всадниками. В этот миг величайшей опасности к нему подскакал юный лейтенант на взмыленном коне, размахивая саблей. Ого! Какие удары посыпались тут на головы вражеских всадников». И далее: «Вражеское копье пронзило грудь молодого героя, но большинство врагов уже полегло. С мечом в руках юный бесстрашный монарх мог уже легко отражать все ослабевающие нападения. Вся кавалерия противника была тогда взята в плен. А юный лейтенант — рыцарь фон Тротта было его имя — получил величайшую награду, которой наше отечество отмечает своих героических сынов: орден Марии-Терезии».

Капитан Тротта, с книгой в руке, пошел в ма-

ленький фруктовый садик, разбитый позади дома, где в прохладные дни работала его жена, и с побелевшими губами, тихим-тихим голосом спросил, знаком ли ей этот бесстыжий отрывок? Она с улыбкой кивнула.

— Это ложь! — крикнул капитан и швырнул книгу на мокрую землю.

— Но это ведь для детей, — мягко ответила жена.

Капитан повернулся к ней спиной. Гнев потрясал его, как буря слабое деревцо. Он быстро прошел в дом, его сердце стучало. В этот час он всегда играл в шахматы. Он снял саблю с вешалки, злым порывистым движением подпоясался и большими, гневными шагами вышел из дому. Тот, кто его видел, мог подумать, что он намеревается уложить целую роту врагов. В кафе, не проронив ни единого слова, с четырьмя глубокими поперечными складками на бледном, узком лбу под жесткими короткими волосами, он проиграл две партии. Злобной рукой отбросил застучавшие фигуры и сказал своему партнеру:

— Мне нужно с вами посоветоваться. — Пауза. — Со мной сыграли дурную шутку, — снова начал он, взглянул прямо на поблескивающие стекла очков нотариуса и тут же заметил, что

ему не хватает слов. Следовало взять с собой хрестоматию. С этой злополучной книгой в руках объяснение далось бы ему значительно легче.

— Какую шутку? — спросил юрист.

— Я никогда не служил в кавалерии, — капитан Тротта подумал, что так легче всего начать, хотя и сознавал, что понять его невозможно. — А эти бесстыжие писаки детских книг утверждают, что я на рыжем коне, на взмыленном коне, так и пишут, подскакал, чтобы спасти монарха.

Нотариус понял. Он знал сей отрывок по книгам своих сыновей.

— Вы придаете этому слишком большое значение, господин капитан, — сказал он. — Подумайте только, ведь это для детей.

Тротта испуганно взглянул на него. В этот момент ему казалось, что весь мир против него объединился: составители хрестоматий, нотариус, жена, сын, домашний учитель.

— Все исторические деяния, — сказал нотариус, — для школьного употребления изображаются иначе. Да это и правильно, по-моему. Детям нужны примеры, которые они в состоянии понять, которые им запоминаются. Подлинную же правду они узнают позднее.

— Счет! — крикнул капитан и поднялся. Он

пошел в казарму, застиг дежурного офицера, лейтенанта Амерлинга, с барышней в комнате писаря, самолично проверил караул, приказал позвать фельдфебеля, вызвал для рапорта дежурного унтер-офицера, велел выстроить роту и распорядился начать «упражнение с оружием». Ему повиновались испуганно и смущенно. В каждом взводе не хватало одного или двух человек, и сыскать их не оказалось возможным. Капитан Тротта приказал сделать перекличку. «Об отсутствующих сообщить при завтрашнем рапорте!» — сказал он лейтенанту. Команда, сопя, делала упражнения. Стучали шомполы. Взлетали ремни. Горячие руки громко шлепали по холодным металлическим стволам. Могучие, грузные приклады глухо стучали о мягкую землю. «Заряжай!» — командовал капитан.

Воздух дрожал от пустого щелканья холостых патронов. «Полчаса упражнений в стрельбе!» — снова выкрикнул Тротта. Через десять минут он изменил приказ: «На колени к молитве». Успокоенно прислушивался он к глухому стуку колен о землю — шлак и песок. Еще он был капитаном, хозяином своей роты! А этим писакам он уж покажет!

Сегодня он не пошел в казино, он даже не ел, он

улегся спать. Спал крепко, без снов. На следующее утро на офицерском рапорте он кратко и отчетливо изложил свою жалобу полковнику. И тут началось хождение по мукам капитана Йозефа Тротты, рыцаря фон Сиполье, рыцаря правды. Прошли недели, пока из военного министерства пришло уведомление, что жалоба передана в министерство просвещения и культов. И снова прошли недели до того, как в один прекрасный день поступил ответ министра. Он гласил:

«Ваше высокоблагородие,

Глубокочтимый господин капитан!

В ответ на жалобу Вашего высокоблагородия, касающуюся отрывка № 15 из хрестоматии, в соответствии с законом от 21-го июля 1864 г. разрешенной для австрийских народных и городских училищ, составленной и изданной профессорами Вейднером и Црдени, господин министр просвещения позволяет почтительнейше обратить внимание Вашего высокоблагородия на то обстоятельство, что помещаемые в хрестоматиях отрывки исторического содержания, в особенности же те, в которых непосред-

ственно говорится о высокой особе его величества императора Франца Иосифа, а также и о других членах августейшей фамилии, согласно распоряжению от 21-го марта 1840 г., должны приспосабливаться к пониманию школьников и наилучшим образом отвечать педагогическим целям. Данный отрывок № 15, упомянутый в жалобе Вашего высокоблагородия, был представлен на личное рассмотрение Его превосходительства господина министра культов и разрешен им для школьного употребления. Высшие, равно как и подчиненные, управления школами считают необходимым представить для учащихся героические подвиги деятелей нашей армии в соответствии с характером, фантазией и чувствами подрастающего поколения, не отходя от правдоподобия описываемых событий, но и не передавая их в сухом тоне, исключающем всякую работу фантазии и возбуждение патриотических чувств. Принимая во внимание это, так же как и ряд других соображений, нижеподписавшийся обращается к Вашему высокоблагородию с

почтительнейшей просьбой отказаться от представленной Вашим благородием жалобы».

Этот документ был подписан министром просвещения и культов. Полковник передал его капитану Тротта с отеческим советом: «Бросьте-ка эту историю».

Тротта принял его и промолчал. Неделю спустя он подал через соответствующие инстанции прошение об аудиенции у его величества; а через три недели, в полдень, он стоял во дворце, с глазу на глаз со своим императором.

— Видите ли, милый Тротта, — сказал император, — дело довольно неприятное, но нельзя сказать, чтобы мы оба много от него потеряли! Бросьте-ка эту историю!

— Ваше величество, — возразил капитан, — это ложь!

— Лгут вообще немало, — согласился император.

— Я не могу, ваше величество, — сдавленным голосом произнес капитан.

Император вплотную подошел к нему. Монарх был почти одного роста с Тротта. Они посмотрели друг другу в глаза.

— Моим министрам, — начал Франц Иосиф, — следует знать, что они делают. Я должен на них полагаться. Понимаете, милый капитан Тротта? — И, немного погодя: — Мы это поправим. Вы увидите.

Аудиенция кончилась.

Отец был еще жив. Но Тротта не поехал в Лаксенбург. Он вернулся в гарнизон и подал прошение об отставке.

Покинув армию в чине майора, он переехал в Богемию, в маленькое имение своего тестя. Император не оставил его своей милостью. Двумя неделями позже Тротта получил уведомление, что император распорядился выдать на учение сыну своего спасителя пять тысяч гульденов из своих личных средств. Одновременно последовало пожалование Тротта баронского титула.

Йозеф Тротта, барон фон Сиполье, мрачно, как обиды, принимал дары императора. Прусская кампания прошла без него и была проиграна. Он злобствовал. Виски его уже поседели, глаза потухли, его шаги стали медлительными, рука тяжелой, рот молчаливее, чем когда-либо. Хотя он и находился в цвете лет, но выглядел преждевременно состарившимся. Изгнан был он из рая простодушной веры в императора и добродетель,

в правду и справедливость; замкнувшись в терпении и молчании, он начал подозревать, что на лукавстве держится мир, могущество законов и блеск величеств. Благодаря высказанному при случае желанию императора, отрывок № 15 исчез из хрестоматий империи. Имя Тротта сохранилось только в безгласных анналах полка. Майор продолжал жить как безвестный носитель рано отзвучавшей славы. В имении своего тестя он орудовал лейкой и садовыми ножницами, как его отец в дворцовом парке Лаксенбурга. Барон подстригал живые изгороди и выкашивал лужайки, весною охранял ракитник, а попозже бузину от разбойничьих и дерзких рук. Он заменял подгнившие планки в заборе новыми, гладко обструганными, чинил конюшенный инвентарь и упряжь, собственноручно взнуздывал и седлал гнедых, сменял проржавевшие замки на воротах и калитках, укреплял обдуманно и чисто выструганными подпорками пошатнувшийся кожевник, целые дни проводил в лесу, охотился за мелкой дичью, ночевал у лесника, заботился о курах, удобрении и урожае, фруктах и вьющихся растениях, работниках и кучерах. Недоверчиво и скаредно закупал он необходимое. Костлявыми пальцами вынимал монеты из замшевого ме-

шочка и снова прятал его на груди.

Он сделался бережливым словенским крестьянином. Иногда на него еще находил прежний приступ гнева и потрясал его, как буря слабое деревцо. Тогда он бил работников и лошадей, хлопал дверьми, разбивал замки, которые сам приладил, грозил поденщикам смертью и полным уничтожением, за обедом злобно отодвигал тарелки, отказывался от пищи и брюзжал. Рядом с ним жили, в отдельных комнатах, жена, слабая и болезненная; мальчик, которого отец видел только за столом и чьи отметки давались ему на просмотр дважды в год, ни разу не вызвав у него ни похвалы, ни порицания; тесть, весело проедавший свою пенсию, любитель девушек, неделями проживавший в городе и боявшийся своего зятя. Он был невзрачным старым словенским крестьянином, этот барон Тротта. Все еще, два раза в месяц, поздним вечером, при колеблющемся пламени свечи он писал письма своему отцу на желтоватой четвертушке бумаги, четыре пальца расстояния от верхнего и два от бокового края, с обращением «милый отец!». Ответы приходили очень редко. Правда, барон иногда думал о том, что следовало бы посетить отца. Давно уже он тосковал о вахмистре, скудной казенной

обстановке, грубо натертом табаке и настоянной дома ракии. Но сына останавливали расходы, так же как остановили бы его отца, деда и прадеда. Теперь он был ближе инвалиду в Лаксенбургском дворце, чем много лет назад, когда в свежем блеске своего нового дворянства сидел в выкрашенной голубой краской кухне и пил ракию. С женой он никогда не говорил о своем происхождении. Он чувствовал, что ее, принадлежащую к старому чиновничьему роду, от словенского вахмистра отшатнуло бы застенчивое высокомерие. Поэтому он и не приглашал отца. Однажды, это было в ясный мартовский день, когда барон пробирался по затвердевшим глыбам земли к управляющему, работник подал ему письмо из управления Лаксенбургского дворца. Инвалид скончался, мирно уснул в возрасте восьмидесяти одного года. Барон Тротта сказал только: «Пойди к госпоже баронессе, пусть уложит мой чемодан, я еду вечером в Вену». Он пошел своей дорогой к дому управляющего, осведомился о ходе сева, поговорил о погоде, распорядился, чтобы заказали три новых плуга, в понедельник пригласили ветеринара и еще сегодня повивальную бабку к беременной служанке. Прощаясь, он сказал:

— Умер мой отец. Я пробуду три дня в Вене, —

небрежно протянул один палец и ушел.

Чемодан был уложен, лошадей запрягли в коляску; до станции езды было не больше часа. Он быстро съел суп и жаркое. Затем сказал жене:

— Хватит! Мой отец был хорошим человеком. Ты никогда его не видела. — Было ли то последним «прости»? Или то была жалоба?

— Ты едешь со мной! — обратился он к испуганному сыну.

Жена поднялась, чтобы упаковать и вещи мальчика. Пока она хлопотала на втором этаже, Тротта сказал ребенку:

— Теперь ты увидишь своего деда.

Мальчик задрожал и опустил глаза.

Вахмистр был уже обряжен, когда они вошли. Он лежал с взъерошенными огромными усами посреди своей комнаты на катафалке, в темно-синем мундире, с тремя блестящими медалями на груди, охраняемый двумя сотоварищами-инвалидами и восемью метровыми свечами. Монахиня-урсулинка молилась в углу, рядом с единственным, завешенным теперь окном. Инвалиды стали навытяжку, когда вошел Тротта. В майорском мундире, с орденом Марии-Терезии, он опустился на колени. Сын последовал примеру отца, его юное лицо очутилось прямо перед

огромными подметками сапог покойника. Барон Тротта первый раз в жизни почувствовал тонкий, острый укол в области сердца. Его маленькие глаза остались сухими. В набожном смущении пробормотал он «Отче наш», раз, второй, третий, склонился над покойником, поцеловал могучие усы, кивнул инвалидам и обернулся к сыну: «Идем».

— Видел ты его? — спросил он на улице.

— Да, — сказал мальчик.

— Он был всего только жандармским вахмистром, — произнес отец, — в битве при Сольферино я спас жизнь императору, и потом мы получили баронство.

Мальчик ничего не ответил.

Инвалида похоронили на военном отделении маленького кладбища в Лаксенбурге. Шесть темно-голубых товарищей несли гроб от часовни до могилы. Майор Тротта в кивере и парадном мундире все время держал руку на плече своего сына. Мальчик всхлипывал. Печальная музыка военного оркестра, жалобное и монотонное духовное пение, слышимое каждый раз, как смолкала музыка, и тихо вздымающийся ладан причиняли ему непонятную, стесняющую дыхание боль. И оружейные выстрелы, которыми полувзвод

отсалютовал у могилы, потрясли его своей долго не смолкавшей в воздухе неумолимостью.

Отец и сын поехали обратно. В пути барон все время молчал. Только когда они уже вышли из поезда и садились в ожидавшую их позади станционного садика коляску, майор промолвил:

— Не забывай его, твоего деда.

И снова принялся за свои привычные ежедневные дела, и годы опять покатились, как ровные, мирные, молчаливые колеса. Вахмистр был не последним покойником, которого пришлось схоронить барону. Он похоронил сначала своего тестя, несколько лет спустя жену, которая быстро и ни с кем не попрощавшись умерла от жестокого воспаления легких. Своего мальчика он отдал в пансион в Вене, решив, что сын никогда не станет кадровым военным. Он остался один в имении, в белом просторном доме, где еще чувствовалось дыхание покойной жены, разговаривал только с лесничим, управляющим, работниками, кучером. Все реже прорывался у него гнев. Но прислуга постоянно чувствовала его тяжелый кулак, и его злобная молчаливость, как тяжкое ярмо, ложилась на шеи людей. Перед его появлением воцарялась боязливая тишина, как перед близкой грозой. Два раза в месяц он

получал почтительные письма от сына, один раз в месяц отвечал на них двумя короткими фразами на маленьких, узких клочках бумаги (полях, оторванных от получаемых писем). Раз в год, восемнадцатого августа, в день рождения императора, он в полной парадной форме отправлялся в ближайший гарнизонный город. Два раза в год приезжал в гости сын. На рождественские и летние каникулы. Каждый сочельник мальчику вручались три звонких серебряных гульдена, в получении которых он должен был расписаться и которые никогда не смел взять с собой, гульдены еще в тот же вечер попадали в шкатулку, стоявшую в комнате отца. Рядом с гульденами лежали школьные отметки. Они сообщали о старательном прилежании сына и его достаточных, хотя и умеренных способностях. Никогда мальчик не получал игрушек, никогда не получал карманных денег или книг, не считая обязательных учебников. Казалось, он ни в чем не ощущал недостатка. У него был опрятный, трезвый и честный ум. Его скудная фантазия не шла дальше желания по возможности скорей оставить позади школьные годы.

Ему было восемнадцать лет, когда отец в сочельник сказал:

— В этом году ты больше не получишь трех гульденов! Можешь взять девять под расписку из шкатулки. Будь осторожен с девочками. Большинство из них заражены! — И, помолчав, добавил: — Я решил, что ты станешь юристом. До этого у тебя есть еще два года. С военной службой дело терпит. Можно получить отсрочку до окончания курса.

Молодой человек, так же покорно принял девять гульденов, как и волю отца. Девочек он посещал редко, тщательно выбирал их, и у него оставалось еще шесть гульденов, когда он приехал домой на летние каникулы. Он попросил у отца разрешения пригласить друга.

— Хорошо, — несколько удивленно ответил майор. Друг явился почти без багажа, но с обширным ящиком красок, который не понравился хозяину дома. — Он художник? — спросил старик.

— И очень хороший, — отвечал Франц-сын.

— Чтоб он ни одной кляксы не смел сделать в доме! Пусть пишет пейзажи.

Гость стал писать, правда, вне дома, но отнюдь не пейзажи. Он писал на память портрет барона Тротта. Каждый день за столом он изучал черты хозяина.

— Что он на меня уставился? — спросил однажды барон.

Оба юноши покраснели и принялись внимательно разглядывать скатерть. Портрет все же был закончен и при прощании, уже в рамке, вручен старику. Он рассматривал его вдумчиво и с улыбкой. Перевернул, словно отыскивая на оборотной стороне те детали, которые могли быть упущены на лицевой, подходил с ним к окну, отводил подальше от глаз, разглядывал себя в зеркало, сравнивая с портретом, и, наконец, сказал:

— Где его повесить? — За много лет это было первой его радостью. — Можешь одолжить своему приятелю денег, если ему нужно, — шепнул он Францу. — Смотрите не ссорьтесь.

Этот портрет был и остался единственным когда-либо написанным со старого Тротта. Впоследствии он висел в комнате сына и занимал фантазию внука…

Покуда же он несколько недель продержал майора в странном настроении духа. Майор вешал его то на одну, то на другую стену, полыценно и благосклонно рассматривал свой жесткий, сильно выдающийся вперед нос, свой безбородый, бледный и узкий рот, худые скулы, как холмы выдававшиеся под маленькими черными глазами, и

низкий, морщинистый лоб, полускрытый коротко подстриженными, щетинистыми и колючими волосами. Только теперь узнал он свое лицо и иногда вступал с ним в молчаливые диалоги. Оно пробуждало в нем никогда не посещавшие его ранее мысли, воспоминания, неуловимые, быстро расплывающиеся тени грусти. Ему понадобился портрет для того, чтобы понять свою преждевременную старость и свое великое одиночество; из раскрашенного холста струились к нему одиночество и старость. «Это всегда так? — спрашивал он себя. — Всегда это было так?» Время от времени он невольно стал ходить на кладбище, на могилу жены, рассматривал серый цоколь и белоснежный крест, даты рождения и смерти, высчитал, что она умерла слишком рано, и убедился, что не может точно вспомнить ее. Ее руки, например, он забыл. «Китайский винный камень», — вспомнилось ему лекарство, которое она принимала много лет подряд. Ее лицо? С закрытыми глазами он еще мог вызвать его в памяти, но оно быстро исчезало, расплывалось в красноватых кругах сумрака. Он стал кротким дома и во дворе, изредка поглаживал лошадь, улыбался коровам чаще, чем до этих пор, выпивал стаканчик водки и однажды написал сыну коротенькое письмецо в

неположенный срок. Его начали приветствовать с улыбкой, он в ответ благосклонно кивал головой. Пришло лето, на каникулы приехали сын и друг, старик отправился с обоими в город, зашел в трактир, выпил несколько глотков сливянки и заказал для юношей богатый ужин.

Сын сделался юристом, стал чаще наезжать домой, присматриваться к имению, в один прекрасный день ощутил желание управлять им, отказавшись от юридической карьеры. Он признался в этом отцу. Майор сказал:

— Слишком поздно! Ты не будешь ни крестьянином, ни помещиком! Ты будешь дельным чиновником, и ничего больше.

Это было решенным делом. Сын сделался чиновником полицейского управления, окружным комиссаром в Силезии. Если имя Тротта исчезло из рекомендованных хрестоматий, то оно не исчезло из секретных документов высших полицейских учреждений, а пять тысяч гульденов, дарованных от щедрот императора, обеспечивали чиновнику Тротта постоянное благосклонное внимание в поощрение неизвестных ему высших инстанций. Он быстро продвигался по службе. За два года до его назначения окружным начальником скончался майор.

Старик оставил неожиданное завещание. Так как нет сомнения, писал он, что из его сына не получится хорошего сельского хозяина, и так как он надеется, что Тротта, благодарные императору за его неизменные милости, добьются чинов и положения на государственной службе и в жизни будут счастливее, чем он, составитель этого завещания, то и решает в память своего покойного отца, имение, много лет тому назад переведенное на его имя тестем, со всем движимым и недвижимым имуществом, передать в фонд военных инвалидов, наследникам же вменяется в обязанность только с наибольшей скромностью похоронить завещателя на том кладбище, где лежит его отец, и, если это не представит затруднений, вблизи от его могилы. Он, завещатель, просит отказаться от всякой помпы. Наличные деньги, пятнадцать тысяч флоринов с соответствующими процентами, находящиеся в банкирском доме Эфрусси в Вене, так же как и все прочие имеющиеся у него деньги, серебро, медь, равно как кольцо, часы и цепочка покойной матери, принадлежат единственному сыну завещателя, барону Францу фон Тротта и Сиполье.

Венский военный оркестр, рота пехотинцев, представитель кавалеров ордена Марии-Терезии,

представитель южновенгерского полка, скромным героем которого был майор, еще способные маршировать инвалиды, два чиновника дворцовой и собственной его величества канцелярии, офицер военного министерства и один унтер-офицер, несший на увитой крепом подушке орден Марии-Терезии, составляли официальный похоронный кортеж. Франц-сын, тонкий, весь в черном, шел один. Оркестр играл тот же марш, что и на похоронах деда. Салюты, которыми на этот раз почтили покойника, были громче и дольше звучали в воздухе.

Сын не плакал. Никто не плакал о покойном. Все было сухо и торжественно. Никто не говорил речей на могиле. Неподалеку от жандармского вахмистра теперь лежал барон фон Тротта и Сиполье, рыцарь правды. На его могиле водрузили обыкновенный надгробный камень, на котором узкими черными буквами рядом с именем, чином и названием полка было выгравировано гордое обозначение: «Герой Сольферино».

Итак, от покойного осталось не намного больше, чем этот камень, отзвучавшая слава и портрет. Точно крестьянин весной прошел по пашне, а позднее, летом, след его шагов исчезает в изобилии пшеницы, которую он посеял. Ко-

ролевско-имперский обер-комиссар Тротта фон Сиполье на той же неделе получил соболезнующее письмо от его величества, в котором дважды упоминались все еще незабвенные заслуги почившего.

Глава вторая

Во всей дивизии не было оркестра лучше, чем оркестр N-ского пехотного полка в маленьком районном городке Моравии. Его капельмейстер принадлежал еще к тем австрийским военным музыкантам, которые, благодаря удивительно точной памяти и всегдашней потребности в новых вариациях старых мелодий, в состоянии были каждый месяц сочинять новый марш. Все марши походили друг на дружку, как солдаты. Почти все они начинались с барабанной дроби, содержали в себе ускоренную, выдержанную в ритме марша вечернюю зорю, звучное веселье прелестных флейт и кончались громовым грохотанием литавров, этой веселой и скоропреходящей грозой военной музыки. Капельмейстера Нехваля от его коллег отличала не столько необыкновенная композиторская плодовитость, сколько энергичная и бодрая взыскательность, которую он вносил в занятия музыкой. Ленивую привычку других капельмейстеров — давать дирижировать первым маршем фельдфебелю музыкального взвода и только во втором номере программы браться за дирижерскую палочку, Нехваль почитал явным

признаком начинающегося распада императорско-королевской монархии. Как только оркестр размещался на площади обычным полукругом и изящные ножки ветреных нотных пюпитров врезались в черную землю между булыжниками мостовой, капельмейстер уже стоял среди своих музыкантов, молча поднимая палочку из черного дерева с серебряным набалдашником. Все плац-концерты, неизменно разыгрывавшиеся под балконом господина окружного начальника, начинались с марша Радецкого. Хотя он и был так привычен оркестрантам, что они могли бы сыграть его среди ночи и во сне без дирижера, капельмейстер все же считал необходимым каждую ноту читать с листа. И каждое воскресенье, словно впервые репетируя марш Радецкого со своими музыкантами, он добросовестно поднимал голову, палочку и взор, устремляя то и другое и третье в сторону сегментов круга, всегда, казалось, нуждавшихся в его команде музыкантов, в центре которых он стоял. Суровые барабаны отбивали дробь, сладостные флейты свистели, заливались чудесные рожки. На лицах слушателей блуждала довольная мечтательная улыбка, в ногах быстро струилась кровь. Они стояли на месте, но думали, что уже маршируют. Девушки помо-

ложе слушали затаив дыхание, с полураскрытым ртом. Мужчины постарше опускали головы и вспоминали о былых маневрах. Пожилые дамы сидели в соседнем парке и трясли маленькими седыми головами. И было лето.

Да, было лето. Старые каштаны против дома окружного начальника только утром и вечером шевелили свои темно-зеленые, богатые густые кроны. В течение дня они оставались неподвижными, дышали терпким дыханием, и их прохладная тень достигала середины улицы. Небо было неизменно голубым. Невидимые жаворонки беспрестанно пели над тихим городом. Иногда по его ухабистым мостовым, от вокзала к гостинице, грохоча проезжал фиакр с незнакомым седоком. Иногда цокали копыта парного выезда, везшего на прогулку землевладельца господина фон Винтернига, с севера на юг, по широким улицам, от его городского дворца к его необъятным охотничьим угодьям. Маленький, дряхлый и жалкий желтенький старикашка, в огромном желтом одеяле, с крошечным усохшим личиком, сидел господин фон Винтерниг в своем экипаже. Как жалкий кусочек зимы, проезжал он по тучному лету. На эластичных рессорах и бесшумных колесах с дутыми шинами, в лаки-

рованных, хрупких спицах которых отражалось солнце, катил он прямо из постели к своим загородным владениям. Большой дремучий бор и светлые зеленые перелески уже дожидались его. Обитатели города его приветствовали. Он не отвечал. Неподвижный, проезжал среди моря приветствий. Черный кучер отвесно вздымался в высоту, своим цилиндром почти задевая кроны каштанов, его гибкий кнут ласкал коричневые спины рысаков, и из закрытого рта через определенные промежутки времени вырывалось резкое щелканье, более громкое, чем цокот копыт, и похожее на мелодический ружейный выстрел.

В это время начинались каникулы. Пятнадцатилетний сын окружного начальника Карл Йозеф фон Тротта, ученик кавалерийского кадетского корпуса в моравской Белой церкви, воспринимал свой родной город как страну вечного лета; он был родиной лета, так же как и его собственной. На Рождество и на Пасху Карл Йозеф гостил у своего дяди. Домой он приезжал только на летние каникулы. Днем его приезда всегда бывало воскресенье. Такова была воля отца, господина окружного начальника барона Франца фон Тротта и Сиполье. Летние каникулы, независимо от того, когда они начинались в корпусе, дома

наступали с субботы. В воскресенье господин фон Тротта и Сиполье был свободен от службы. Все утро, с девяти до двенадцати, он резервировал для своего сына. Ровно без десяти минут девять, четверть часа спустя после ранней обедни, юноша в парадной форме стоял у двери отцовской комнаты. Без пяти девять Жак, одетый в старую ливрею, спускался с лестницы и объявлял:

— Сударь, господин ваш батюшка идет.

Карл Йозеф еще раз одергивал мундир, оправлял портупею, брал в руки шапку и, согласно правилам, прижимал ее к бедру. Появлялся отец, сын шаркал ногой, и этот звук разносился по тихому обветшалому дому. Старый Тротта открывал дверь и легким мановением руки приглашал сына пройти вперед. Юноша оставался неподвижным, как бы не замечая приглашения. Тогда отец проходил в дверь, Карл Йозеф следовал за ним и оставался стоять на пороге.

— Располагайся, — говорил немного спустя окружной начальник.

Только после этих слов Карл Йозеф подходил к креслу, обитому красным плюшем, усаживался напротив отца, сдвинув колени и положив на них шапку с вложенными в нее белыми перчатками. Сквозь узкие щелки зеленых жалюзи на темно-

красный ковер падали тонкие полосы солнца. Жужжала муха, стенные часы начинали бить. Когда, звонко пробив девять раз, они смолкали, окружной начальник спрашивал:

— Что поделывает господин полковник Марек?

— Спасибо, папа, у него все благополучно.

— В геометрии все еще хромаешь?

— Спасибо, папа, несколько лучше.

— Книги читал?

— Да, папа!

— Как дела с верховой ездой, в прошлом году они шли неважно.

— В этом году… — начал было Карл Йозеф, но его тотчас же прервали. Отец вытянул узкую руку, наполовину спрятанную в круглом блестящем манжете. Золотом сверкнула огромная четырехугольная запонка.

— Они шли неважно, сказал я. Это был просто… — Здесь окружной начальник сделал паузу и затем беззвучным голосом добавил: —…Позор!

Отец и сын помолчали. Как ни беззвучно было произнесено слово «позор», оно еще реяло в комнате. Карл Йозеф знал, что после строгого отзыва отца следовало выдержать паузу. Этот отзыв надо было воспринять во всем его значении, про-

думать, усвоить, удержать его в уме и в сердце. Часы тикали, муха жужжала. Затем Карл Йозеф звонким голосом начал:

— В этом году с верховой ездой у меня обстояло гораздо лучше. Сам вахмистр частенько это отмечал. Похвальный отзыв я получил также и от господина обер-лейтенанта Коппеля.

— Это меня радует, — замогильным голосом произнес господин начальник округа. Он ткнул манжетой о край стола, задвигая ее таким образом в рукав; послышался легкий треск накрахмаленного полотна.

— Рассказывай дальше, — приказал он и закурил папиросу.

Это обычно служило сигналом, возвещавшим начало домашнего уюта. Карл Йозеф положил шапку и перчатки на маленький пюпитр, поднялся и начал повествовать о всех событиях последнего года. Старый Тротта кивал головой. Вдруг он произнес:

— Да ты ведь совсем большой, мой мальчик. У тебя ломается голос. Уж не влюблен ли ты?

Карл Йозеф покраснел. Лицо у него пылало, как красный лампион, но он, храбрясь, не прятал его от отца.

— Значит, еще нет, — заметил окружной на-

чальник. — Не будем отвлекаться. Рассказывай дальше!

Карл Йозеф глотнул воздуха, краска сбежала с его лица, ему сразу стало холодно. Он медленно продолжал свой доклад, прерывая его многочисленными паузами. Затем вытащил список книг из кармана и протянул отцу.

— Весьма благопристойное чтение, — заметил окружной начальник. — Теперь, пожалуйста, содержание «Црини».

Карл Йозеф пересказал драму, акт за актом. Кончив, он опустился на стул, усталый, бледный, с пересохшим горлом.

Украдкой он бросил взгляд на часы; было только половина одиннадцатого. Экзамен продолжится еще полтора часа. Старику могло прийти в голову испытывать Карла Йозефа по древней истории или германской мифологии. С папиросой в зубах он ходил по комнате, заложив левую руку за спину. На правой постукивала манжета. Солнечные полосы на ковре становились все ярче, лучи все сильнее били в окно. Солнце, должно быть, стояло уже высоко. Колокола начинали гудеть, они звучали совсем близко, словно раскачиваясь тут же за темными жалюзи. Сегодня старик спрашивал только по литературе. Он пространно высказался

о значении Грильпарцера и порекомендовал сыну в качестве «легкого» каникулярного чтения Адальберта Штифтера и Фердинанда фон Зара. Затем он опять перескочил на военные темы, дежурство, военный устав часть вторая, состав армейского корпуса, численность полка и вдруг спросил:

— Что такое субординация?

— Субординация — это долг непременного повиновения, — продекламировал Карл Йозеф, — которое каждый подчиненный в отношении к своему начальнику и каждый младший по чину…

— Стой, — перебил его отец, — так же как и каждый младший по чину в отношении старшего.

И Карл Йозеф подхватил:

— Обязан выказывать, когда…

— Как только, — поправил старик, — последние принимают командование.

Карл Йозеф облегченно вздохнул. Пробило двенадцать.

Только теперь, в сущности, начинались каникулы. Еще четверть часа — и до него донеслась барабанная дробь выступающего из казармы оркестра. Каждое воскресенье после полудня он играл перед казенной квартирой окружного на-

чальника, представлявшего в атом городишке не более, не менее как его величество императора. Карл Йозеф стоял на балконе, скрытом густой зеленью дикого винограда, принимая игру военного оркестра за туш, играемый в его честь. Он чувствовал себя немного сродни Габсбургам, власть которых представлял и защищал здесь его отец и за которых ему самому некогда доведется идти на войну и на смерть. Он знал имена всех членов императорского дома. Он искренно любил своим по-детски преданным сердцем императора, который, как его учили, был добр и справедлив, бесконечно далек и очень близок и особенно благосклонен к офицерам своей армии. Лучше всего положить за него жизнь под звуки военной музыки и легче всего под звуки марша Радецкого. Проворные пули ритмично свистели над головой Карла Йозефа, его сабля блестела, с умом и сердцем, преисполненным очаровательной бойкости марша, он умирал на поле брани в дробном чаду музыки, и его кровь темно-красной узкой полоской струилась на яркое золото труб, на кромешную тьму литавров и на победное серебро рожка.

Жак, стоявший за его спиной, кашлянул. Следовательно, обед начался. Когда оркестр делал

перерыв, из столовой слышалось тихое звяканье тарелок. Она была расположена как раз в середине первого этажа. Через две комнаты от балкона. Во время еды музыка слышалась издалека, но отчетливо. К сожалению, она играла не каждый день. Музыка была красивой и полезной, она мягко и примиряюще обвивала торжественную церемонию еды, не допуская ни одного из тех досадных, кратких и жестких разговоров, в которые так часто пускался отец. Можно было молчать, слушать и радоваться. На тарелках чередовались узкие, уже поблекшие, золотые и синие полоски. Карл Йозеф любил эти полоски. Часто в течение года он вспоминал о них. Они, и марш Радецкого, и портрет покойной матери на стене (юноша уже больше не помнил ее), и разливательная ложка из тяжелого серебра, и рыбное блюдо, и фруктовые ножи с зубчатыми спинками, и крохотные кофейные чашечки, и хрупкие ложечки, тонкие, как стертые серебряные монеты, — все это вместе означало: лето, свобода, родные места.

Он отдал Жаку шинель, картуз и перчатки и направился в столовую. Старый Тротта вошел туда одновременно с ним и улыбнулся сыну. Фрейлейн Гиршвитц, домоправительница, вплы-

ла немного погодя в воскресных серых шелках, высоко держа голову, с тяжелым узлом волос на затылке. На груди у нее красовалась огромная изогнутая пряжка, нечто вроде татарской сабли. Казалось, что она в латах и при оружии. Карл Йозеф запечатлел поцелуй на ее длинной костлявой руке, вернее, дохнул на эту руку. Жак отодвинул кресла. Окружной начальник знаком пригласил всех садиться. Жак исчез и через минуту снова появился в белых перчатках, которые придавали ему совершенно иной вид. Они заливали снежно-белым блеском его и без того белое лицо, без того белые бакенбарды, без того белые волосы. Но зато они превосходили белизной все, что на этом свете можно было назвать белым. Этими перчатками он держал темный поднос. На нем стояла дымящаяся суповая миска. Жак водворил ее на средину стола, осторожно, бесшумно и очень быстро. По заведенному обычаю, фрейлейн Гиршвитц начала разливать суп. Протягиваемые ею тарелки принимались осторожно, с благодарной улыбкой в глазах. Она, в свою очередь, улыбалась. Горячее золотое мерцанье плавало в тарелках; это был суп: суп с лапшой. Прозрачный, наполненный золотисто-желтой, тонкой, аппетитной, нежной лапшой. Господин фон Тротта и Сиполье

ел с поспешностью, иногда с остервенением. Казалось, что он с бесшумной, благопристойной и проворной жадностью изничтожал одно блюдо за другим, вконец истреблял его. Фрейлейн Гиршвитц брала за столом крохотные порции, а после обеда, в своей комнате, снова ела весь обед по порядку. Карл Йозеф боязливо и поспешно подносил ко рту ложки, полные горячего супа, и проглатывал огромные куски мяса. Таким образом все они кончали есть в одно время. Никто не произносил ни слова, когда молчал господин фон Тротта и Сиполье.

За супом следовал коронный номер обеда, воскресное блюдо, из года в год подававшееся старому Тротта. Благосклонные обсуждения, в которые он пускался по поводу этого кушанья, отнимали времени больше, чем половина обеда. Взор окружного начальника сперва ласкал нежный слой жира, окаймлявший колоссальный кусок мяса, затем отдельные тарелочки, на которых покоились овощи: свекла с лиловым отливом, густо-зеленый шпинат, салат, веселый и светлый, суровый белый хрен, безупречные овалы молодого картофеля, которые плавали в растопленном масле и походили на хорошенькие игрушки. Он состоял в своеобразных отношениях

с едой. Казалось, что наиболее примечательные куски он поедал глазами, его эстетическое чувство прежде всего поглощало сущность блюда, в известной мере его «духовную сущность», пустой остаток, попадавший затем в рот и в кишечник, не интересовал его и поглощался поэтому с великой поспешностью. Красивый вид кушанья доставлял старому Тротта не меньше удовольствия, чем его простая консистенция. Ибо он был сторонником так называемого бюргерского стола: дань, которую он платил своему вкусу, так же как и своим убеждениям (последние он называл старческими). Так он ловко и удачно сочетал удовлетворение своих желаний с высшими требованиями долга. Он был спартанцем. Но он был и австрийцем.

Старый Тротта приготовился, как и каждое воскресенье, к разрезанью «коронного номера». Он поглубже затолкнул манжеты в рукава, поднял обе руки и обратился к фрейлейн Гиршвитц:

— Видите ли, сударыня, еще недостаточно потребовать у мясника нежный кусок. Следует обратить внимание на то, как он разрублен. Я имею в виду поперечный и продольный разруб. В наши дни мясники больше не знают своего ремесла. Самое лучшее мясо можно испортить.

Взгляните-ка сюда, сударыня. Не знаю даже, удастся ли мне его спасти. Оно распадается на волокна, попросту разлетается. В целом его можно назвать дряблым. Но отдельные кусочки окажутся жесткими, в чем вы не замедлите убедиться. Что же касается «приправ», как это называют уроженцы Германии, то в следующий раз мне бы хотелось, чтобы «мерретих», то бишь попросту хрен, был несколько суше. Он не должен терять в молоке свою остроту. И заправлять его следует только перед самым обедом. Он слишком долго был влажным. Ошибка!

Фрейлейн Гиршвитц, много лет прожившая в Германии, всегда говорившая на верхненемецком наречии, — на ее любовь к литературным оборотам речи и намекал господин Тротта, говоря о «приправах» и «мерретихе», — медленно и тяжело кивнула. Ей стоило очевидных усилий отделить увесистый узел волос от затылка и заставить свою голову склониться в знак согласия. От этого ее старательная любезность получала какой-то оттенок чопорности. Казалось даже, что она не вполне соглашается. И окружной начальник почувствовал себя вынужденным заметить:

— Поверьте мне, я не ошибаюсь, сударыня.

У него был носовой, австрийский, выговор

чиновников и мелких дворян, несколько напоминавший далекий звук гитар по ночам и последние легкие колебания уже затихающего колокольного звона. Это был выговор, мягкий, но определенный, нежный и в то же время ехидный. Он гармонировал с худым, костлявым лицом говорившего, с его узким, выгнутым носом, в котором как бы залегали звучные, несколько скорбные гласные. Нос и рот окружного начальника, когда он говорил, казались скорее духовыми инструментами. Кроме губ, ничто в его лице не двигалось. Темные бакенбарды, которые господин фон Тротта и Сиполье считал частью своей форменной одежды и которые должны были служить отличительными признаками его принадлежности к верным слугам Франца Иосифа I, а также доказательством его монархических убеждений, оставались неподвижными. За столом он сидел прямо, словно держа вожжи в костлявых руках. Когда он сидел, казалось, что он стоит, когда же он поднимался, его высокая и прямая, как свеча, фигура невольно поражала. Он одевался в темно-синее, зимой и летом, в праздник и в будни; темно-синий сюртук и серые полосатые панталоны, плотно облегавшие его длинные ноги и туго притянутые штрипками к

блестящим высоким сапогам. Между вторым и третьим блюдом он имел привычку вставать и прохаживаться «для моциона». Но выглядело это так, словно он хотел продемонстрировать своим домочадцам, как можно подниматься, стоять и ходить, не утрачивая неподвижности. Жак, убирая мясо со стола, поймал беглый взгляд фрейлейн Гиршвитц, напоминавший ему, что оставшееся должно быть для нее разогрето. Господин фон Тротта размеренными шагами подошел к окну, слегка приподнял гардину и вернулся обратно к столу. В этот момент появились на большой тарелке вареники с вишнями. Окружной начальник взял себе только один, разрезал его ложкой и сказал фрейлейн Гиршвитц:

— Вот, сударыня, образец вишневого вареника. Он обладает нужной плотностью и в то же время тает на языке. — И затем, обратившись к Карлу Йозефу: — Советую тебе сегодня взять парочку.

Карл Йозеф так и сделал. Он проглотил их в мгновенье ока, кончил еду на секунду раньше отца и выпил стакан воды (вино подавалось к столу только по вечерам), чтобы протолкнуть в желудок вареники, застрявшие в пищеводе. Затем он сложил свою салфетку одновременно со старым Троттой.

Они встали. Музыка играла вдали увертюру к «Тангейзеру». Под ее звуки все прошли в кабинет; впереди — фрейлейн Гиршвитц. Жак принес туда кофе. Там они поджидали капельмейстера Нехваля. Он вошел в момент, когда его музыканты внизу строились, чтобы идти в казармы, в своем темно-синем парадном мундире, с блестящим мечом и двумя искрящимися маленькими арфами на воротнике.

— Я в восхищении от вашего концерта, — произнес господин фон Тротта на этот раз, как и каждое воскресенье. — Сегодня он был из ряда вон выходящим.

Господин Нехваль поклонился. Он поел уже час тому назад в столовой офицерского собрания и с нетерпением ждал черного кофе; во рту у него еще оставался вкус обеда, он жаждал «Виргинии». Жак принес коробку сигар. Капельмейстер долго прикуривал от спички, которую Карл Йозеф упорно держал перед жерлом длинной сигары с риском обжечь себе пальцы. Все уселись в широкие кожаные кресла. Господин Нехваль рассказывал о последней легаровской оперетке в Вене. Он был светским человеком, этот капельмейстер. Дважды в месяц он посещал Вену. И Карл Йозеф подозревал, что в глубинах своей души

музыкант таил немало тайн ночного полусвета. У него было трое детей и жена «из простых», но сам он, в отличие от своих близких, был окружен ярким сиянием светскости. Он курил и с хитрой миной рассказывал еврейские анекдоты. Окружной начальник их не понимал и не смеялся, но твердил: «Превосходно, превосходно!»

— Как поживает ваша супруга? — регулярно спрашивал господин фон Тротта. В течение многих лет предлагался этот вопрос. Он никогда не видел госпожу Нехваль, да вовсе и не хотел бы встретиться с женщиной «из простых», но, прощаясь, всегда говорил господину Нехвалю: — Передайте мой привет вашей супруге, хотя я и не представлен ей!

И господин Нехваль каждый раз обещал передать привет по назначению, заверяя, что его жена будет очень рада.

— А как поживают ваши дети? — спрашивал господин фон Тротта, всякий раз забывая, были у того сыновья или дочери.

— Старший учится хорошо, — говорил капельмейстер.

— Верно, тоже готовится стать музыкантом? — с легким пренебрежением спрашивал господин фон Тротта.

— Нет, — возражал господин Нехваль, — еще год, и он поступит в кадетский корпус.

— Ах, офицер, — замечал окружной начальник. — Правильно! Правильно! Пехота?

Господин Нехваль улыбался:

— Разумеется! Он мальчик способный. Может, со временем и в штаб попадет.

— Конечно, конечно, — говорил окружной начальник — Такое частенько случается. — Через неделю он все позабывал. Дети капельмейстера как-то не запоминались.

Господин Нехваль всегда выпивал две маленькие чашки кофе, не больше и не меньше. С сожалением раздавил он остаток «Виргинии». Надо было идти, а с сигарой в зубах не принято откланиваться.

— Сегодня концерт был из ряда вон! Великолепно! Передайте привет вашей супруге. Я, к сожалению, еще не имел удовольствия… — сказал господин фон Тротта и Сиполье.

Карл Йозеф шаркнул ногой. Он проводил капельмейстера до первого пролета лестницы. Затем возвратился в кабинет. Встал перед отцом и заявил:

— Я иду гулять, папа.

— Отлично, отлично! Приятных развлече-

ний, — сказал господин фон Тротта и помахал рукой.

Карл Йозеф ушел. Он намеревался идти медленно, ему хотелось бродить, хотелось показать своим ногам, что и у них каникулы. Он весь напружинился, как говорят военные. Повстречавшись с первым солдатом, он зашагал строевым шагом. Так достиг он границы города — большого желтого здания казначейства, привольно жарившегося на солнцепеке. Навстречу ему понесся сладостный запах полей, звонкое пение жаворонков. Синий горизонт с запада ограничивали серо-голубые холмы, вырисовывались первые деревянные хижины, крытые дранкой и соломой, голоса пернатых, как фанфары, прорезали летнюю тишину. Весь край спал, закутанный в день и свет.

За железнодорожной насыпью квартировал отряд жандармов, которым командовал вахмистр. Карл Йозеф знал его, вахмистра Слама. Он решил постучать. Вошел на веранду, постучал, дернул проволоку звонка — никто не отзывался. Распахнулось окно. Фрау Слама перегнулась через герани и крикнула.

— Кто там? — Увидев «маленького Тротта», она сказала: — Сейчас, — и открыла дверь в сени, откуда повеяло прохладой и слабым запахом духов.

Фрау Слама сбрызнула платок несколькими каплями благовония. Карл Йозеф подумал о венских ночных увеселениях и спросил:

— Что, господина вахмистра нет дома?

— Он на службе, господин фон Тротта! — отвечала фрау Слама. — Входите, пожалуйста.

Теперь Карл Йозеф сидел в гостиной супругов Слама. Эта была красноватая, низкая комната, весьма прохладная; казалось, что сидишь в леднике; высокие спинки мягких кресел из коричневого мореного дерева были украшены резьбой и деревянными гирляндами листьев, которые больно врезались в спину. Фрау Слама принесла холодного лимонада и пила его маленькими глотками, оттопырив мизинец и положив ногу на ногу. Она сидела рядом с Карлом Йозефом, обернувшись к нему и покачивая обнаженной, без чулка, ногой, обутой в красную замшевую туфельку. Карл Йозеф смотрел на ногу, потом переводил глаза на лимонад. В лицо фрау Слама он не смотрел. Его шапка лежала на коленях, которые он держал плотно сжатыми; он сидел перед лимонадом, словно пить его было служебной обязанностью.

— Давно не бывали в наших краях, господин фон Тротта, — начала вахмистерша. — Вы очень

выросли! Что, четырнадцать вам уже минуло?

— Так точно, уже давно. — Он думал о том, как бы поскорее уйти отсюда. Следовало залпом выпить лимонад, отвесить учтивый поклон, передать привет мужу и уйти. Он беспомощно взглянул на лимонад: никак с ним не управишься. Фрау Слама все подливала. Она принесла папиросы. Куренье было запрещено. Она сама зажгла себе папироску и стала небрежно посасывать ее, раздувая ноздри и покачивая ногой. Внезапно, ни слова не говоря, она взяла у него с колен шапку и положила ее на стол. Затем сунула ему в рот свою папиросу, ее рука слегка пахла дымом и одеколоном, светлый рукав летнего в цветах платья мелькнул у него перед глазами. Он вежливо докуривал папироску, на мундштуке которой еще ощущалась влажность ее губ, и не сводил глаз с лимонада. Фрау Слама снова взяла в зубы папироску и стала позади Карла Йозефа. Он боялся обернуться. Вдруг оба ее пестрые рукава очутились на его шее, а ее лицо зарылось в его волосы. Он не двигался. Но его сердце громко стучало. Великая буря разражалась в нем, судорожно сдерживаемая окаменелым телом и пуговицами мундира.

— Идем, — прошептала фрау Слама. Она усе-

лась к нему на колени, быстро поцеловала его и состроила лукавые глаза. Белокурая прядь волос случайно упала ей на лоб, она скосила глаза и, вытянув губы, попыталась сдуть ее. Он начинал чувствовать ее вес на своих коленях, но в то же время новая сила наполнила его тело, напрягла мускулы на ляжках и на руках. Он обнял женщину и сквозь грубое сукно ощутил мягкую прохладу ее груди. Тихое хихиканье вырвалось из ее горла, оно походило на всхлипыванье и немножко на щебет. Слезы стояли у нее в глазах. Затем она отодвинулась и с аккуратной нежностью принялась, одну за другою, расстегивать пуговицы его мундира. Она положила прохладную нежную руку ему на грудь и стала целовать его в губы, долго, с каким-то систематическим наслаждением. Потом вдруг вскочила, точно вспугнутая внезапным шумом. Он тоже вскочил, она улыбнулась и, медленно пятясь, с вытянутыми вперед руками и запрокинутой головой, со светящимися глазами, повлекла его к двери, которую, не оборачиваясь, толкнула ногой. Они проскользнули в спальню.

В бессильном оцепенении видел он сквозь полузакрытые веки, что она раздевала его, медленно, старательно, с материнской заботливостью. С некоторым ужасом следил он, как, вещь

за вещью, падала на пол его парадная форма, он услышал глухое паденье своих башмаков и тотчас же почувствовал на ноге руку фрау Слама. Новая волна тепла и холода поднялась снизу к его груди. Он упал. И принял женщину, как большую мягкую волну блаженства, огня и воды.

Он очнулся. Фрау Слама стояла перед ним и, вещь за вещью, подавала ему одежду; он стал поспешно одеваться. Она сбегала в гостиную, принесла шапку и перчатки. Она одергивала его мундир, он все время чувствовал ее взгляды на своем лице, но сам избегал смотреть на нее. Затем щелкнул каблуками так, что раздался треск, пожал ей руку, упорно глядя через ее правое плечо, и ушел.

На одной из башен пробило семь. Солнце приближалось к холмам, которые были сейчас такими же синими, как небо, и почти сливались с облаками. От деревьев, растущих по краям дороги, струился сладкий запах. Вечерний ветер расчесал траву по обе стороны улицы; видно было, как она трепетала и волновалась под его невидимой, бесшумной и широкой рукой. В дальних болотах заквакали лягушки. У открытого окна ярко-желтого пригородного домика сидела какая-то молодая женщина и всматри-

валась в безлюдную улицу. Карл Йозеф, хотя и видел ее впервые, поклонился ей молодцевато и почтительно. Она кивнула в ответ несколько удивленно и благодарно. Ему казалось, что он только теперь прощается с фрау Слама. Как пограничный пост между любовью и жизнью, стояла у окна эта неизвестная сообщница. Поздоровавшись с ней, он почувствовал себя возвращенным миру. Он зашагал быстрее. Ровно в три четверти восьмого он был дома и сообщил отцу о своем возвращении с бледным лицом, коротко и решительно, как подобает мужчине.

Вахмистр каждый второй день нес патрульную службу. Каждый день, с папкой документов, являлся он в окружную управу; сына окружного начальника он никогда не встречал. Каждый второй день, в четыре часа пополудни. Карл Йозеф отправлялся к жандармским казармам. В семь часов вечера он уходил оттуда. Аромат, который он уносил от фрау Слама, смешивался с запахом сухих летних вечеров и днем и ночью оставался на руках Карла Йозефа. Он старался за столом не подходить к отцу ближе, чем это было необходимо.

— Здесь пахнет осенью, — заметил однажды вечером старый Тротта. Он обобщал: фрау Слама

неизменно душилась резедой.

Глава третья

Тот портрет висел в кабинете окружного начальника напротив окон и так высоко на стене, что волосы и лоб терялись в темно-коричневой тени старых деревянных сводов. Любопытство внука постоянно вращалось вокруг угасшего образа и отзвучавшей славы деда. Иногда, в тихие дни, когда окна стояли раскрытыми, темно-зеленые тени каштанов городского парка наполняли комнату сытым и могучим покоем лета, а окружной начальник проводил какое-нибудь дело вне города и по лестницам слышались похожие на поступь привидения шаги старого Жака, в войлочных туфлях, собиравшего по всему дому ботинки, платья, пепельницы, подсвечники и настольные лампы для чистки, — Карл Йозеф становился на стул и старался поближе рассмотреть портрет деда. Портрет распадался на бесчисленные тени и блики, на штрихи и мазки, на тысячи сплетений раскрашенного холста, расплывался в переливах засохшего масла.

Карл Йозеф спускался со стула. Зеленый отсвет деревьев играл на коричневом сюртуке деда, штрихи и мазки снова воссоединялись в

знакомое, но непонятное лицо, глаза приобретали обычный, далекий, обращенный в темноту потолка взгляд. Каждый год во время летних каникул происходили эти беседы внука с дедом. Ничего не выдал покойник. Ничего не узнал юноша. От года к году портрет становился бледнее и потустороннее, словно герой Сольферино умирал еще раз, словно он медленно стягивал к себе свои воспоминания, и словно должно было прийти время, когда пустой холст, еще молчаливее, чем портрет, будет взирать на внука из черной рамы.

Внизу, во дворе, в тени деревянного балкона, на скамейке перед выстроенными в шеренгу, как солдаты, наваксенными сапогами сидел Жак. Возвращаясь от фрау Слама, Карл Йозеф всегда заходил во двор к Жаку и присаживался на край скамейки.

— Расскажите мне о дедушке, Жак!

И Жак, откладывая в сторону щетки, ваксу и гуталин, перед тем как начать говорить об усопшем, потирал руки, словно смывая с них грязь работы, и как обычно, как уже добрых двадцать раз, начинал:

— Мы с ним всегда ладили! Я пришел жить на двор уж далеко не молодым и никогда не женился: это не понравилось бы покойному,

он недолюбливал баб, кроме своей фрау баронессы; но она рано умерла от легких. Всем было известно: он спас жизнь императору в битве при Сольферино, но сам ничего об этом не говорил, ни единым звуком не обмолвился. Поэтому они и написали у него на могиле «Герой Сольферино». Умер он совсем нестарым, вечером, часов около девяти, в ноябре месяце. Уже шел снег, днем он вышел во двор и спросил: «Жак, куда ты задевал мои сапоги?» Я их и в глаза не видел, но сказал: «Сию минуточку принесу, господин барон». — «До завтра дело терпит», — отвечал он, а назавтра они ему уже не понадобились. Так я и не женился!

Это было все.

Однажды (то были последние каникулы, в следующем году Карл Йозеф должен был быть произведен в офицеры) окружной начальник, прощаясь, сказал:

— Надеюсь, что все сойдет гладко. Ты внук героя битвы при Сольферино. Помни об этом, и с тобой ничего не случится.

Полковник, все учителя, все унтер-офицеры также помнили об этом, и, следовательно, с Карлом Йозефом и вправду ничего не могло случиться. Хотя наездником он был неважным, плохо успевал по топографии и совсем ничего не

смыслил в тригонометрии, он все же прошел с «хорошим баллом», был произведен в лейтенанты и зачислен в N-ский уланский полк.

С глазами, пьяными от собственного нового блеска и от последнего торжественного обеда, с еще звучавшей в ушах прощальной речью полковника, которую тот произносил громовым голосом, в лазоревом мундире с золотыми пуговицами, с серебряным патронташиком за спиной, украшенным гордым золотым двуглавым орлом, держа в левой руке шлем с чешуйчатыми ремешками и султаном, в ярко-красных рейтузах, лакированных сапогах со звонкими шпорами, при сабле с широкой рукояткой, предстал Карл Йозеф в один жаркий летний день перед своим отцом. На этот раз было не воскресенье. Лейтенант имел право приехать и в среду. Окружной начальник сидел в своем кабинете.

— Располагайся, — сказал он, отложив пенсне в сторону, прищурился, встал, внимательно оглядел сына и нашел, что все в порядке. Он обнял Карла Йозефа, они наскоро расцеловались.

— Садись, — сказал окружной начальник и, усадив лейтенанта в кресло, стал прохаживаться по комнате. Он обдумывал подходящее начало. Упреки были бы на этот раз неуместны, а с

одобрения начинать нельзя. — Тебе следовало бы, — сказал он наконец, — заняться историей твоего полка, а также ознакомиться с историей полка, в котором служил твой дед. Мне нужно на два дня съездить в Вену по служебным делам, ты будешь меня сопровождать. — Затем он позвонил. Жак не замедлил явиться. — Пусть фрейлейн Гиршвитц, — приказал окружной начальник, — распорядится, чтобы подали вино и, если еще не поздно, приготовили говядину и вареники с вишнями. Сегодня мы обедаем на двадцать минут позднее, чем обычно.

— Слушаюсь, господин барон, — сказал Жак, взглянул на Карла Йозефа и прошептал: — Поздравляю от всей души.

Окружной начальник отошел к окну, сцена угрожала сделаться трогательной. Он слышал, как за его спиной сын подал руку слуге. Жак зашаркал ногами и пробормотал что-то нечленораздельное о покойном господине. Обернулся он, только когда Жак уже вышел из комнаты.

— Сегодня жарко, не так ли? — начал старый Тротта.

— Так точно, папа!

— Я думаю, нам лучше пойти на воздух.

— Так точно, папа!

Окружной начальник взял трость из черного дерева с серебряным набалдашником, вместо желтой тростниковой, с которой любил прогуливаться в ясные утра, и перчатки он натянул, а не взял, как обычно, в левую руку. Затем надел котелок и вышел из комнаты, сопровождаемый сыном. Медленно, не обмениваясь ни единым словом, шли они среди летней тишины городского парка. Полицейский отдал им честь, мужчины приподымались со скамеек, приветствуя их. Рядом с томной важностью отца звенящая пестрота юноши казалась еще более блистательной и шумной. В аллее, около белокурой девушки под красным зонтиком, продававшей содовую воду с малиновым сиропом, старик задержался и сказал:

— Не вредно будет выпить что-нибудь освежающее.

Он заказал два стакана без сиропа, с тайным удовлетворением наблюдая белокурую барышню, которая, казалось, безвольно и сладострастно утопала в ярком блеске Карла Йозефа. Они выпили и пошли дальше. Время от времени окружной начальник взмахивал тростью, это должно было выражать известное, умеющее держать себя в границах высокомерие. Хоть он и был молчалив

и серьезен, как обычно, но сыну он казался почти что веселым. Из его недр иногда вылетало самодовольное покашливание, нечто вроде смеха. Когда ему кланялись, он быстро приподнимал шляпу. Были моменты, когда он даже отваживался на смелые парадоксы, вроде: «И вежливость бывает обременительной». Он предпочитал произнести смелое слово, чем обнаружить радость, встречаясь с удивленными взглядами прохожих. Когда они снова подошли к воротам дома, он остановился, обернулся лицом к сыну и сказал:

— В молодости я тоже охотно бы стал солдатом. Но твой дед категорически запретил это. Теперь я доволен, что ты не сделался чиновником.

— Так точно, папа! — отвечал Карл Йозеф.

К обеду подавалось вино. Говядина и вишневые вареники тоже поспели. Фрейлейн Гиршвитц появилась в воскресных серых шелках, но при виде Карла Йозефа тотчас же утратила почти всю свою строгость.

— Я очень рада за вас, — произнесла она, — и от души желаю вам счастья.

— Желать счастья — значит поздравлять, — прокомментировал окружной начальник. И они принялись за еду.

— Ты можешь не торопиться, — сказал ста-

рик. — Если я буду готов раньше, я немного подожду.

Карл Йозеф поднял глаза. Он понял, что отец все годы отлично знал, как трудно было поспевать за ним. И впервые ему почудилось, что сквозь панцирь старика он заглянул в его живое сердце, в сплетение его тайных мыслей. Карл Йозеф, хотя и был лейтенантом, покраснел.

— Спасибо, папа, — сказал он. Окружной начальник продолжал торопливо есть. Казалось, он ничего не слышал.

Двумя днями позднее они сели в поезд, идущий в Вену. Сын читал газету, старик просматривал служебные бумаги. Один раз окружной начальник взглянул поверх своих бумаг и сказал:

— В Вене мы закажем парадные рейтузы, у тебя только две пары.

— Спасибо, папа.

Они продолжали читать.

Им оставалось каких-нибудь четверть часа до Вены, когда отец захлопнул папку с делами. Сын тотчас же отложил газету. Окружной начальник посмотрел в окно, затем на секунду остановил взгляд на сыне. Внезапно он сказал:

— Ты ведь знаешь вахмистра Слама? — Имя это ударило в мозг Карла Йозефа, как зов далекого,

ушедшего времени. Он тотчас представил себе дорогу, ведущую в жандармские казармы, низкую комнату, капот в цветочках, широкую и пышную постель, вдохнул аромат лугов и аромат резеды, исходивший от фрау Слама. Он прислушался. — К несчастью, он в этом году овдовел, — продолжал старик. — Очень печально. Жена умерла от родов. Тебе следует его навестить.

В купе вдруг стало невыносимо жарко. Карл Йозеф попытался ослабить воротник. Покуда он тщетно старался найти подходящие слова, нелепое, горячее, ребяческое желание заплакать поднялось в нем, сдавило ему горло, во рту у него пересохло, словно он в течение многих дней томился жаждой. Он чувствовал взгляд отца, напряженно всматривался в пейзаж за окном и, ощущая близость цели, навстречу которой они неуклонно мчались, как обострение своей муки, хотел выйти, хотя бы в коридор, и в то же время понимал, что ему никуда не убежать от взгляда отца и от сообщенной им вести. Тогда он быстро собрал случайные, слабые силы и сказал:

— Я навещу его.

— Похоже, что ты плохо переносишь езду по железной дороге, — заметил отец.

— Так точно, папа!

Безмолвный и неподвижный, под тяжестью муки, которой он не умел подыскать названия, которой раньше не ведал и которая была как загадочная болезнь из неведомых краев, ехал Карл Йозеф в гостиницу. Ему удалось еще сказать: «Pardon[1], папа». Затем он заперся в комнате, раскрыл чемодан и достал бювар, где лежало несколько писем от фрау Слама, в тех же конвертах, в которых они пришли, с шифрованным адресом: «Моравский Вейскирхен, poste restante»[2]. Голубые листки были цвета неба и чуть-чуть пахли резедой, а изящные маленькие буквы летели по ним, как стаи ласточек. Письма умершей фрау Слама! Они казались Карлу Йозефу предвестниками ее внезапной кончины. На последнее письмо он не ответил. Производство в чин, речи, прощанье, торжественный обед, определение в полк и новый мундир потеряли все свое значение рядом с невесомыми, темными очертаниями крылатых букв на голубом фоне. На его коже еще оставались следы ласкающих рук ныне умершей женщины, и в его собственных теплых руках еще таилось воспоминание о ее

---

[1] Примечания: 1
Простите *(фр.)*.

[2] Примечания: 2
До востребования *(фр.)*.

прохладной груди; с закрытыми глазами он еще видел блаженную усталость на ее сытом любовью лице, открытый алый рот и белый блеск зубов, лениво согнутую руку; в каждой линии тела — отблеск безмятежных грез и спокойного сна. Теперь черви ползали по ее груди и бедрам и зеленое тление пожирало ее лицо. Чем ярче становились отвратительные картины разложения, возникавшие перед глазами юноши, тем сильнее разжигали они его страсть. Она росла и, казалось, достигала непостижимой безграничности тех сфер, в которых сгинула умершая. «Верно, я больше не пошел бы к ней, — думал лейтенант. — Я забыл бы ее. Ее слова были ласковы, она была матерью, она любила меня, она умерла!..» Ясно было, что он виновник ее смерти. На пороге его жизни лежал труп. Труп его возлюбленной…

Эта была первая встреча Карла Йозефа со смертью. Матери своей он не помнил. Ничего не знал о ней, кроме могилы, грядки цветов и двух фотографий. И вот смерть, как черная молния, сверкнула перед ним, ударила в его невинные радости, спалила его юность и швырнула его на край таинственных пропастей, отделяющих живое от умершего. Итак, перед ним простиралась долгая жизнь, исполненная печали. Бледный и

решительный, он готовился претерпеть ее, как-то подобает мужчине. Он спрятал письма. Запер чемодан. Вышел в коридор, постучал в комнату отца, вошел и, как сквозь толстую стеклянную стену, услышал голос старика:

— Похоже, что у тебя мягкое сердце. — Окружной начальник оправлял свой галстук перед зеркалом. Ему предстояло побывать в городской управе, в департаменте полиции и в верховном суде империи. — Ты поедешь со мной! — сказал он.

Они поехали в парном экипаже на резиновых шинах. Улица казалась Карлу Йозефу праздничнее, чем когда-либо. Широкая волна летнего золота текла по домам и деревьям, трамваям, прохожим, полицейским, по зеленым скамейкам, памятникам и садам. Слышался быстрый звонкий цокот копыт по мостовой. Молодые женщины проскальзывали мимо, как нежные, светлые тени. Солдаты отдавали честь. Витрины сверкали. По улицам большого города мягко веяло лето.

Но все красоты лета ускользали от безразличного взора Карла Йозефа. В уши ему ударяли слова отца. Старик отмечал сотни перемен. Перемещенные табачные лавки, новые киоски, удлиненные

омнибусные линии, перенесенные остановки. Многое выглядело в его время по-другому. Но ко всему исчезнувшему, так же как и ко всему сохранившемуся, льнула его верная память, его голос с тихой и необычной нежностью подбирал все, даже самые малые сокровища ушедших времен, его худая рука приветственно простиралась к местам, где некогда цвела его юность. Карл Йозеф молчал. Ведь и он только что утратил свою юность. Его любовь умерла, и его сердце раскрылось для грусти отца. Он начал подозревать, что за костлявой суровостью окружного начальника таился другой, пусть скрытый, но все же сообщник, тоже Тротта, отпрыск словенского инвалида и удивительного героя битвы при Сольферино. И чем живее становились возгласы и замечания отца, тем тише и реже звучали в ответ покорные и привычные подтверждения сына, а принужденное и услужливое «так точно, папа», с детства привычное языку, звучало теперь иначе — по-братски и по-домашнему. Словно моложе становился отец и старше сын. Они останавливались перед многими казенными зданиями, в которых окружной начальник отыскивал прежних товарищей, свидетелей его юности. Брандль стал советником полиции,

Смекаль — начальником департамента, Монтешицкий — полковником, а Газельбруннер — советником посольства. Они останавливались перед магазинами, заказали у Рейтмейера на Тухлаубене пару салонных штиблет из матового шевро для придворных балов и аудиенций и парадные рейтузы у придворного военного портного Этлингера; а затем свершилось невероятное — окружной начальник выбрал у придворного ювелира Шафранского серебряную табакерку, тяжелую, с ребристой крышкой, предмет роскоши, на которой велел выгравировать утешительные слова: «In periculo securitas[3]. Твой отец».

Они вышли из экипажа в Фольксгартене и выпили кофе. Среди зеленой тени светились белые круглые столы террасы, на скатертях голубели сифоны. Когда музыка переставала играть, слышно было ликующее пение птиц. Окружной начальник поднял голову и, словно добывая из высоты воспоминания, начал:

— Здесь я однажды познакомился с молоденькой девушкой. Как давно могло это быть? — Он пустился в молчаливые вычисления. Видно, долгие, долгие годы прошли с тех пор; у Карла

---

[3] Примечания: 3
Сохранит тебя в опасности *(лат.).*

Йозефа было такое чувство, словно рядом с ним сидел не отец, а прапрадед. — Мицци Шинагль звали ее, — произнес старый Тротта. В густых кронах каштанов искал он затуманившийся образ фрейлейн Шинагль, словно она была птичкой.

— Она еще жива? — осведомился Карл Йозеф, отчасти из вежливости, отчасти, чтобы получить точку опоры для оценки ушедших времен.

— Надеюсь! В мое время, знаешь ли, люди не были сентиментальны и умели расставаться и с девушками, и с друзьями… — Он внезапно оборвал речь. Какой-то незнакомец стоял перед их столиком, человек в шляпе с обвисшими полями и развевающимся по ветру галстуком, в серой, сильно поношенной визитке с обтрепанными фалдами, с густыми и длинными волосами вокруг нечисто выбритого широкого серого лица; на первый взгляд он казался художником со всеми признаками традиционного образа художника, который выглядит неправдоподобным и вырезанным из старых иллюстрированных журналов. Незнакомец положил свою папку на стол и уже намеревался предложить свои произведения с тем надменным безразличием, которое ему в равной степени сообщали нищета и сознание таланта.

— Да это Мозер! — промолвил господин фон Тротта.

Художник медленно приподнял тяжелые веки больших светлых глаз, всмотрелся в лицо окружного начальника, протянул руку и воскликнул:

— Тротта!

В следующий момент он уже стряхнул с себя и смущенье и мягкость, отшвырнул папку так, что задрожали стаканы, и три раза подряд воскликнул: «Гром и молния», — будто и в самом деле собирался вызвать бурю. Затем торжественным взглядом обвел соседние столики, как бы ожидая аплодисментов посетителей, уселся, снял шляпу и бросил ее рядом со стулом на усыпанную гравием дорожку, локтями сдвинул со стола папку, спокойно обозвав ее «дерьмом», склонился в сторону лейтенанта, нахмурил брови, снова откинулся назад и произнес:

— Итак, господин наместник, твой сын?

— Друг моей юности, профессор Мозер, — пояснил окружной начальник.

— Черт побери, господин наместник, — повторил Мозер. Тут же он ухватил проходящего кельнера за фалду фрака, приподнялся и прошептал ему на ухо заказ, как некую тайну, сел и молча уставился в ту сторону, откуда выходили кель-

неры с напитками. Наконец перед ним очутился бокал с содовой водой и кристально-прозрачной сливянкой; он несколько раз подносил его к своим раздутым ноздрям, потом решительным движением приложил к губам, словно намереваясь разом осушить огромный бокал, наконец отхлебнул глоток и кончиком языка слизал с губ оставшиеся на них капли.

— Ты две недели здесь и не мог заглянуть ко мне, — начал он с испытующей строгостью начальника.

— Милый Мозер, — отвечал господин фон Тротта, — я приехал вчера и завтра уезжаю.

Художник пристально поглядел на окружного начальника. Затем снова поднес бокал ко рту и одним духом осушил его. Когда он захотел поставить бокал, он уже не мог найти блюдечка, Карлу Йозефу пришлось взять его из рук Мозера.

— Спасибо, — сказал художник и, указывая пальцем на лейтенанта, произнес: — Сходство с героем Сольферино исключительное! Только немного мягче! Слабохарактерный нос! Мягкий рот! Впрочем, со временем может измениться!..

— Профессор Мозер написал портрет твоего деда, — заметил старый Тротта.

Карл Йозеф посмотрел на отца, на художника, и

в памяти у него возник портрет деда, меркнущий под сводами кабинета. Непонятной казалась ему связь между дедом и этим профессором, интимность отца в отношении Мозера его пугала, он видел, как широкая, грязная рука последнего дружески опустилась на полосатые брюки окружного начальника, и заметил уклоняющееся мягкое движение отцовской ноги. Старик сидел, как всегда, полный чувства собственного достоинства, откинувшись назад и отвернув голову, чтобы не чувствовать запаха алкоголя, бившего ему в лицо, но улыбался и все сносил безропотно.

— Надо тебе себя подновить, — сказал художник, — ты здорово поизносился. Твой отец выглядел по-другому.

Окружной начальник погладил свои бакенбарды и улыбнулся.

— Да, старый Тротта!.. — снова начал художник.

— Получите, — вполголоса произнес окружной начальник, — ты извинишь нас, Мозер, у нас назначена встреча.

Художник остался сидеть, отец и сын вышли из сада.

Окружной начальник взял под руку сына, и

Карл Йозеф впервые почувствовал сухую руку отца у своей груди; в тем — но-серой перчатке, слегка согнутая, она доверчиво лежала на рукаве синего мундира. Это была та же самая сухощавая рука, которая, высовываясь из крахмальной манжеты, умела призывать к порядку и предостерегать, бесшумными и острыми пальцами перелистывать бумаги, резким движением задвигать и запирать ящики, вынимая ключ так решительно, что казалось, будто их заперли на веки веков. Это была рука, которая выжидательно и нетерпеливо барабанила по краю стола, когда что-нибудь делалось вразрез с желанием ее обладателя, или по оконной раме, когда в комнате возникала какая-нибудь неловкость. На этой руке поднимался худой указательный палец, когда кто-нибудь из домашних поступал не так, как должно, она безмолвно сжималась в никогда никого не ударявший кулак, ласково ложилась на лоб, аккуратно снимала пенсне, легко охватывала бокал с вином, любовно подносила ко рту черную сигару. Это была левая рука отца, издавна знакомая сыну. И все же ему казалось, что он только теперь почувствовал ее, как руку отца, как отцовскую руку. Карл Йозеф ощутил потребность прижать ее к своей груди.

— Видишь ли, этот Мозер, — начал окружной начальник, помолчал с минуту, подыскивая справедливое веское слово, и сказал наконец: — из него могло бы кое-что выйти.

— Да, папа.

— Когда он написал портрет твоего деда, ему было шестнадцать лет. Нам обоим было по шестнадцати лет. Он был моим единственным другом во всем классе! Затем он поступил в академию. Водка едва не сгубила его. Несмотря на это, он… — Окружной начальник помолчал и только через несколько минут закончил: — Среди всех, кого я снова увидал сегодня, только он, несмотря на все, мой друг!

— Да, отец.

Впервые Карл Йозеф произнес слово «отец».

— Так точно, папа! — быстро поправился он.

Стемнело. Вечер яростно обрушился на улицы.

— Тебе холодно, папа?

— Ничуть.

Однако окружной начальник зашагал быстрее. Вскоре они уже подходили к гостинице.

— Господин наместник! — послышался голос. Художник Мозер, видимо, шел вслед за ними. Они обернулись. Он стоял со шляпой в руке, опустив голову, смиренно и как бы желая сделать

небывшим свой иронический оклик. — Господа извинят меня, — произнес он, — я слишком поздно заметил, что мой портсигар пуст. — Он показал им пустую жестяную коробку. Окружной начальник вынул портсигар. — Сигар я не курю, — сказал художник.

Карл Йозеф протянул ему коробку папирос. Мозер положил папку у своих ног на мостовую, обстоятельно наполнил свою коробку, попросил спичку, обеими руками оградил от ветра маленькое голубое пламя. Его руки, красные и клейкие, чрезмерно большие по отношению к суставам, тихонько дрожали, напоминая какие-то бессмысленные инструменты. Его ногти походили на маленькие, плоские черные лопатки, которыми только что рылись в земле, в грязи, в вареве красок, в жидком никотине.

— Итак, мы больше не увидимся, — сказал он и наклонился, чтобы поднять папку. Когда он выпрямился, по его щекам текли обильные слезы. — Никогда не увидимся, — всхлипнул он.

— Мне нужно на минуту подняться к себе в номер, — сказал Карл Йозеф и вошел в здание гостиницы.

Он взбежал наверх по лестнице, высунулся из окна, боязливо наблюдая за отцом; увидел, как

старый Тротта вынул бумажник и как художник две минуты спустя уже с обновленными силами положил свою ужасающую руку на его плечо, восклицая:

— Итак, Франц, третьего, как обычно.

Карл Йозеф снова помчался вниз, ему казалось, что он должен защитить отца; профессор отсалютовал и, снова кивнув на прощанье, пошел с гордо поднятой головой, с уверенностью лунатика, прямо, как по нитке, через мостовую и еще раз кивнул им с противоположного тротуара, прежде чем исчезнуть за углом. Но через мгновенье он снова появился, крикнул: «Одну минуточку» — так громко, что эхо на пустынной улице повторило это слово, неправдоподобно решительными и большими прыжками перебежал улицу и уже стоял перед гостиницей с таким видом, будто только что пришел и даже не думал прощаться всего несколько минут тому назад. И, словно впервые увидев друга своей юности и его сына, он начал жалобным голосом:

— Как печально так свидеться! Помнишь ли ты еще, как мы вместе сидели на третьей парте? В греческом ты был слаб, я всегда давал тебе списывать. Если ты действительно честен, ты сам признаешься в этом перед твоим отпрыском!

Разве я не всегда давал тебе списывать? — Затем, обратившись к Карлу Йозефу: — Он был добрым малым, ваш господин отец, добрым, но Фомою неверным. И к девочкам он начал поздно ходить, мне пришлось придать ему куража, а то бы он, пожалуй, никогда не отыскал к ним дорогу. Будь честен, Тротта! Скажи, разве не я свел тебя?

Окружной начальник ухмыльнулся и промолчал. Художник Мозер, видимо, готовился произнести еще более пространную речь. Он положил папку на тротуар, снял шляпу, выставил вперед одну ногу и начал:

— Как я впервые встретился со стариком? Ты, верно, вспоминаешь, что это было во время каникул… — Внезапно он прервал свою речь и стал лихорадочно ощупывать карманы. Пот крупными каплями выступил у него на лбу. — Я их потерял, — крикнул он, задрожал и пошатнулся. — Я потерял деньги.

В этот момент из дверей гостиницы вышел портье. Приветствуя окружного начальника и лейтенанта, он ретиво взмахнул своей обшитой золотом фуражкой и сделал негодующее лицо. У него был такой вид, точно он собирался запретить художнику Мозеру шуметь здесь, задерживать и обижать постояльцев гостиницы. Старый Тротта

сунул руку во внутренний карман, художник замолчал.

— Можешь ты меня выручить? — спросил отец.

Лейтенант сказал:

— Я немного провожу господина профессора. До свидания, папа!

Окружной начальник приподнял котелок и вошел в гостиницу. Лейтенант дал профессору кредитный билет и последовал за отцом. Художник Мозер поднял папку и с достоинством удалился несколько покачивающейся походкой.

Поздний вечер уже спустился на улицы, и даже в холле гостиницы было темно. Окружной начальник сидел с ключом от номера в руках в кожаном кресле, как составная часть темноты, котелок и палка лежали рядом с ним. Сын остался стоять на почтительном расстоянии, как бы желая официально доложить об окончании истории с Мозером. Лампы еще не были зажжены. Из сумеречной тишины донесся голос старого Тротта:

— Мы едем завтра в два часа пятнадцать минут пополудни.

— Так точно, папа!

— Во время музыки мне пришло в голову, что тебе следовало бы навестить капельмейстера Не-

хваля. После посещения вахмистра Слама, само собой разумеется. Есть у тебя еще какие-нибудь дела в Вене?

— Надо послать за рейтузами и портсигаром.

— Что еще?

— Больше ничего, папа.

— Завтра утром ты нанесешь визит твоему дяде. Ты, видно, забыл об этом. Как часто ты гостил у него?

— Два раза в год, папа.

— Ну так! Передашь мой привет. Скажешь, что я прошу извинить меня. Как он выглядит теперь, этот добрый Странский?

— В последний раз, когда я видел его, очень хорошо.

Окружной начальник потянулся за своей тростью и положил вытянутую руку на серебряный набалдашник, как он привык это делать, стоя на ногах, словно и сидя нуждался в особой точке опоры, как только речь заходила об этом Странском.

— Я видел его в последний раз девятнадцать лет назад. Он еще был обер-лейтенантом. И уже был влюблен в эту Коппельман. Неизлечимо! История весьма фатальная. По уши влюблен в некую Коппельман. — Фамилию он произнес громче всего остального с отчетливой цезурой

между слогами. — У них, разумеется, не было денег на залог. Твоя мать едва не уговорила меня внести за него половину.

— Он подал в отставку?

— Да, он это сделал и поступил служить на северную железную дорогу. В каких он теперь чинах? Советник министерства путей сообщения, вероятно?

— Так точно, папа.

— Так! Из своего сына он, кажется, сделал аптекаря?

— Нет, папа, Александр еще учится в гимназии.

— Так. Немного прихрамывает, как я слышал?

— Одна нога у него короче другой.

— Ну да, — с удовлетворением закончил старик, словно он уже девятнадцать лет тому назад предвидел, что Александр будет прихрамывать.

Он поднялся, лампы в вестибюле вспыхнули и осветили его бледность.

— Пойду за деньгами, — сказал он и двинулся к лестнице.

— Я принесу их, папа, — предложил Карл Йозеф.

— Спасибо! — промолвил окружной начальник. — Рекомендую твоему вниманию, — сказал

он, покуда они ели пломбир, — Бахусовы залы — нечто весьма модное. Возможно, что ты там встретишь Смекаля.

— Благодарю, папа. Спокойной ночи!

На следующее утро, между одиннадцатью и двенадцатью, Карл Йозеф посетил дядюшку Странского. Советник еще не приходил из бюро, его жена, урожденная Коппельман, просила передать сердечный привет господину окружному начальнику. Карл Йозеф медленно направился в гостиницу через Корсо. Потом завернул в Тухлаубен и велел прислать рейтузы в гостиницу, после чего зашел и за портсигаром. Портсигар был холодный; его холод чувствовался сквозь карман тонкой гимнастерки. Он думал о визите к вахмистру Слама и решил ни в коем случае не входить в ее комнату. «Выражаю свое искреннее соболезнование!» — скажет он еще на веранде. Невидимые жаворонки заливаются под голубым сводом. Назойливо стрекочут кузнечики. Доносится запах сена, запоздалый аромат акаций и аромат распускающихся бутонов в саду жандармского управления. Фрау Слама мертва. Кати, Катерина Луиза, согласно метрическим записям. Она мертва.

Они поехали домой. Окружной начальник от-

ложил в сторону свои бумаги, прислонил голову к красной подушке в углу у окна и закрыл глаза.

Карл Йозеф как бы впервые видел голову окружного начальника, откинутую назад, раздувшиеся ноздри его узкого, костлявого носа, изящную расселину на гладко выбритом, припудренном подбородке и бакенбарды, спокойно разделенные на два широких черных крыла. Они серебрились на внешних углах, возраст уже коснулся их и висков тоже. «Он тоже умрет, — подумал Карл Йозеф. — Умрет и будет зарыт в землю. Я останусь».

Они были одни в купе. Дремлющее лицо отца мирно покачивалось в красном сумраке обивки. Под черными усами бледные узкие губы казались тонкой полоской. На худой шее, между двумя блестящими углами воротничка, выпячивалось обнажившееся адамово яблоко, опущенные синеватые веки с тысячью морщинок тихо и непрерывно дрожали, широкий, цвета красного вина, галстук равномерно поднимался и опускался, и кисти скрещенных на груди рук тоже спали, скрытые подмышками. Великая тишина исходила от дремлющего отца. Успокоенная и умиротворенная, дремала его суровость, прикорнувши в тихой продольной бороздке между носом и лбом, как буря, спящая в ущелье между

скал. Эта бороздка была знакома Карлу Йозефу, даже очень знакома. Лицо деда на портрете украшала та же самая бороздка, гневное убранство всех Тротта, наследие героя при Сольферино.

Отец раскрыл глаза.

— Долго еще?

— Два часа, папа.

Пошел дождь. Сегодня была среда, в четверг должен был состояться визит к вахмистру Слама. Дождь шел и в четверг с утра. Через четверть часа после еды, когда они еще сидели за кофе в кабинете, Карл Йозеф сказал:

— Я иду к Слама, папа.

— Он, к сожалению, один! — возразил окружной начальник. — Всего вернее ты его застанешь в четыре.

В этот момент послышались два звонких удара на церковной башне, окружной начальник поднял указательный палец и вытянул его в направлении колоколов, к окну. Карл Йозеф покраснел. Казалось, что отец, дождь, часы, люди, время и сама природа решили сделать его путь еще более тяжелым. В те дни, когда он мог еще идти к живой фрау Слама, он прислушивался к полнозвучным ударам колокола, нетерпеливо, как и сегодня, но надеясь не застать дома вах-

мистра. Казалось, те дни зарыты в грудах многих десятилетий. Смерть осеняла и прятала их, смерть стояла между «тогда» и «сегодня» и вклинивала весь свой безвременный мрак между прошлым и настоящим. И все же полнозвучный бой часов не стал иным, и, так же как тогда, сидели они сегодня в кабинете за черным кофе.

— Дождь идет, — сказал отец, словно только сейчас его заметил. — Может быть, ты возьмешь экипаж?

— Я люблю ходить под дождем, папа!

Он хотел сказать: «Длинным, длинным должен быть путь, которым я пойду. Может быть, мне тогда следовало брать экипаж, когда она была еще жива!» Было тихо, дождь барабанил в окна. Окружной начальник поднялся.

— Мне нужно через дорогу. — Он подразумевал — в присутствие. — Мы еще увидимся. — Он закрыл дверь мягче, чем это было в его привычках. Карлу Йозефу показалось, что отец еще стоял с минуту за дверью, прислушиваясь.

Теперь на башне пробило четверть, затем половину. Половина третьего. Еще полтора часа! Он вышел в коридор, взял в руку шинель, долго приводил в порядок обязательную складку на спине, продернул эфес сабли сквозь пройму кар-

мана, машинально надел перед зеркалом свой головной убор и вышел из дому.

Глава четвертая

Он шел знакомой дорогой — через открытый виадук, мимо спящего желтого казначейства. Отсюда уже была видна одинокая жандармская казарма. Он шел дальше. В десяти минутах ходу от жандармской казармы находилось маленькое кладбище с деревянным забором. Пелена дождя, казалось, сгущалась над мертвыми. Лейтенант дотронулся до мокрой железной щеколды и вошел. Незримая глазу, свистела какая-то птица. Где бы могла она прятаться? Не доносилось ли ее пение из могилы? Он отворил дверь в сторожку, старуха с очками на носу чистила картофель. Она выронила из подола в ведро шелуху, так же как и плоды, и встала.

— Я хотел бы пройти к могиле фрау Слама!

— Предпоследний ряд, четырнадцатый, могила седьмая, — отрезала старуха, словно давно ждала этого вопроса.

Могила была еще свежа, крохотный холмик, маленький деревянный крест и мокрый от дождя венок из стеклянных фиалок, напоминавших о кондитерских лавках и конфетах. «Катерина Луиза Слама, родилась… умерла». Внизу лежала

она, жирные кольчатые черви, пристроившись к округлым белым грудям, уже начинали точить их. Лейтенант закрыл глаза и снял шапку. Дождь с влажной ласковостью гладил его раздвоенные пробором волосы. Он не смотрел на могилу; разлагавшееся тело под этим холмом не имело никакого отношения к фрау Слама; она была мертва, мертва, а это значило: недостижима, хотя бы ты стоял у самой ее могилы. Ему было ближе тело, погребенное в его воспоминаниях, чем труп, лежавший под этим холмом. Карл Йозеф надел шапку и вынул часы из кармана. Еще полчаса. Он покинул кладбище.

Он добрался до жандармской казармы, надавил звонок, никто не шел. Вахмистра еще не было дома. Дождь шуршал по густой листве дикого винограда, обвивавшего веранду. Карл Йозеф принялся ходить взад и вперед, взад и вперед, закурил папиросу, снова бросил ее, думая о том, что напоминает часового, и каждый раз отворачивал голову, как только его взор падал на правое окно, из которого обычно выглядывала Катерина, смотрел на часы, нажимал белую кнопку звонка, дожидался.

Четыре глухих удара медленно донеслись из города, с церковной башни. Тогда вдруг от-

куда-то вынырнул вахмистр. Он машинально отдал честь, еще до того, как увидел, кто перед ним стоит. И Карл Йозеф, словно ему нужно было не поздороваться, а предупредить угрозу приближения жандарма, крикнул громче, чем намеревался: «Здравствуйте, господин Слама!» Он протянул руку, бросился в это приветствие, как бросаются в окоп, следя с тем нетерпением, с каким следишь за нападающим противником, за мешкотными движениями вахмистра, за его усилиями стянуть с руки мокрую перчатку, за тем усердием, которое он в это вкладывал, и его опущенным взглядом.

Наконец освобожденная рука, влажная, широкая, без пожатия легла в руку лейтенанта.

— Благодарю за посещение, господин барон, — сказал вахмистр, как будто лейтенант не только что пришел, а уже собирался уходить. Вахмистр достал из кармана ключ, отпер дверь. Порыв ветра дребезжащим дождем хлестнул по веранде. Казалось, он загонял лейтенанта в дом. В сенях брезжил слабый свет. Вахмистр открыл кухонную дверь, сумрак утонул в хлынувшем оттуда потоке света.

— Раздевайтесь, пожалуйста, — сказал Слама. Сам он еще стоял в шинели, подпоясанный.

«Мои искренние соболезнования, — думает лейтенант. — Сейчас я быстро скажу это и уйду». Но Слама уже протягивает руки, чтобы снять шинель с Карла Йозефа. Карл Йозеф подчиняется. Рука вахмистра на мгновение касается затылка лейтенанта, его загривка, над воротником, как раз на том месте, где обычно сплетались руки фрау Слама — нежные засовы любовных уз. Когда же, в какой момент можно будет наконец выпалить формулу соболезнования? Когда мы уже войдем в гостиную или только когда усядемся? Нужно ли тогда снова встать? Кажется, что не можешь выдавить ни единого звука, покуда не сказано это глупое слово, которое ты взял с собой в дорогу. Оно лежит на языке, тяжелое и бесплодное, с привкусом пошлости.

Вахмистр нажимает ручку, дверь в гостиную заперта. Он говорил «простите!», хотя и не виноват в этом. Снова хватается за карман шинели, которую уже успел снять, и звенит связкою ключей. Никогда эта дверь не бывала заперта при жизни фрау Слама. «Ее, значит, нет здесь!» — думает вдруг лейтенант, словно он не пришел сюда именно потому, что ее больше нет. Он только теперь замечает, что все время носился с тайной надеждой, что она может здесь быть, сидеть в од-

ной из комнат и ждать. Теперь он наверное знает, что ее нет, что она действительно лежит там, под холмиком, который он сейчас только видел.

В гостиной пахнет сыростью, одно из двух окон занавешено, через другое струится серый свет пасмурного дня.

— Прошу войти, — повторяет вахмистр. Он стоит вплотную за лейтенантом.

— Спасибо, — говорит Карл Йозеф, входит и идет к круглому столу, он знает в подробности выпуклый узор покрывающей его скатерти, и маленькое зубчатое пятнышко в середине, и коричневый лак, и завитки его ребристых ножек. Вот стоит сервант с застекленными дверками, за ними мельхиоровые бокалы, и маленькие фарфоровые куклы, и свинка из желтой глины с щелочкой, для опускания монет, на спине.

— Окажите мне честь, присядьте, — бормочет вахмистр. Он стоит за спинкой одного из кресел, обнимает ее руками и держит перед собою, как щит. Больше четырех лет прошло с тех пор, как Карл Йозеф видел его в последний раз. Тогда он нес службу. Его черная шляпа была украшена пучком переливчатых перьев, ремни крест-накрест стягивали его грудь, с ружьем у ноги стоял он подле дверей канцелярии. Он был тогда вах-

мистром Слама; имя соответствовало его званию, и пучок перьев, как и белокурые усы, неотделимо принадлежали к его физиономии. Теперь вахмистр стоял за спинкой кресла, простоволосый, без шашки, без ремней и кушака, и видно было, как залоснилась рубчатая материя мундира на небольшой выпуклости его живота. Это уже не был вахмистр Слама того времени, здесь стоял Слама, жандармский вахмистр, ранее — муж фрау Слама, теперь — вдовец и хозяин этого дома. Его коротко остриженные белокурые волосики с пробором посредине лежали, как раздвоенная щеточка, над гладким лбом с вертикальной полоской — следом от жесткой шапки. Осиротевшей казалась эта голова без каски и кивера. Лицо, не затененное козырьком, образовывало правильный овал, заполненный щеками, носом, бородой и маленькими голубыми, упрямыми и прямодушными глазами. Вот он ждет, пока сядет Карл Йозеф, затем придвигает кресло, тоже садится и вытаскивает свой портсигар с крышкой из пестрой эмали. Вахмистр кладет его на середину стола, между собой и лейтенантом, и предлагает: «Не угодно ли?» — «Сейчас время соболезновать», — думает Карл Йозеф, приподнимается и говорит: «Примите мое искреннее сочувствие,

господин Слама!» Вахмистр сидит, положив обе руки на край стола, видимо, не сразу соображает, о чем идет речь, пытается улыбнуться, в свою очередь приподнимается, слишком поздно, как раз в тот момент, когда Карл Йозеф собирается снова сесть, снимает руки со стола и кладет их на колени, склоняет голову, снова подымает ее, смотрит на Карла Йозефа, как бы спрашивая, что ему следует делать. Они снова усаживаются. Главное позади. Они молчат.

— Она была хорошей женщиной, покойная фрау Слама, — говорит лейтенант.

Вахмистр гладит усы и, держа тонкий кончик бороды между пальцами, произносит:

— Она была красива, господин барон ведь знали ее.

— Я ее знал, госпожу вашу супругу. Очень ли она страдала перед смертью?

— Это продолжалось два дня. Мы слишком поздно позвали врача. Иначе она бы осталась в живых. У меня было ночное дежурство. Когда я вернулся домой, она была уже мертва. При ней была женщина из казначейства напротив. — И тотчас же вслед за этим: — Не угодно ли малиновой воды?

— Пожалуйста, пожалуйста, — говорит Карл

Йозеф просветленным голосом, словно малиновая вода может в корне изменить положение, видит, как вахмистр встает и подходит к серванту. Карл Йозеф знает, что там нет малиновой воды. Она стоит в кухне, в белом застекленном шкафу, оттуда ее всегда доставала фрау Слама. Он внимательно следит за всеми движениями вахмистра, за его короткими сильными руками в узких рукавах, которые тянутся, чтобы достать бутылку с верхней полки, и тотчас же беспомощно опускаются, в то время как вытянутые ноги снова наступают на всю подошву, и Слама, как бы возвратившись из неведомых краев, куда он предпринимал ненужную и, к сожалению, безуспешную экспедицию, оборачивается и с трогательной безнадежностью в ярко-голубых глазах сообщает:

— Прошу прощения, я, к сожалению, не могу найти ее.

— Не существенно, господин Слама, — утешает его лейтенант.

Но вахмистр не слышит этого утешения и, как бы повинуясь приказу, полученному от высшего начальства и не подлежащему отмене, выходит из комнаты. Слышно, как он копошится в кухне, затем он возвращается с бутылкой в руке, достает

из серванта стакан с матовым орнаментом по краям, ставит на стол графин с водой и, выливая из темно-зеленой бутылки тягучую рубиново-красную жидкость, еще раз повторяет: «Окажите мне честь, господин барон». Лейтенант наливает из графина воду в малиновый сироп, они молчат, вода сильной струей льется из наклоненного горлышка графина, чуть-чуть плещется, как бы тихо вторя неустанному шуму дождя, который они слышат все время. Дождь окутывает одинокий дом и делает обоих мужчин еще более одинокими. Они одни. Карл Йозеф поднимает стакан, вахмистр следует его примеру, лейтенант смакует липкую сладкую жидкость. Слама залпом опустошает свой стакан. У него жажда, странная, необъяснимая жажда в этот холодный день.

— Вы поступаете в N-ский уланский полк? — спрашивает Слама.

— Да, но я еще не познакомился с ним.

— У меня есть там знакомый вахмистр, военный писарь Ценобер. Он служил со мной в егерском полку, а потом перевелся в уланский. Из весьма почтенной семьи, очень образованный человек! Он, наверное, выдержит экзамен на офицера. Наш брат остается, где был. В жандармерии никаких видов нет.

Порывы ветра сделались яростнее, и дождь еще сильнее, он неустанно стучит в окна. Карл Йозеф говорит:

— Наша с вами профессия вообще нелегкая, я имею в виду военную службу!

Вахмистр начинает смеяться непонятным смехом, по — видимому, его страшно радует, что дело, которым занимаются они с лейтенантом, так трудно. Он смеется несколько громче, чем ему бы хотелось. Это видно по его рту, который открыт шире, чем того требует смех, и остается открытым дольше, чем он продолжается. На минуту кажется даже, что вахмистру уже по чисто физическим причинам трудно вернуться к своей будничной серьезности. Уж не радует ли его действительно, что ему и Карлу Йозефу так трудно приходится в жизни.

— Господину барону угодно, — начинает он, — говорить о «нашей» профессии. Прошу не обижаться, но ведь у нашего брата все обстоит несколько по-другому.

Карл Йозеф не знает, что на это ответить. Он чувствует, что вахмистр питает к нему вражду, может быть, это просто относится к условиям службы в армии и жандармерии. В кадетском корпусе их не учили, как следует офицеру вести

себя в подобном положении. На всякий случай Карл Йозеф улыбается улыбкой, которая, как железная скоба, растягивает и снова сжимает его губы; кажется, что он скупится на выражение удовольствия, которое так необдуманно расточает вахмистр. Малиновая вода на языке, еще недавно казавшаяся сладкой, приобретает горький, приторный вкус, хочется запить ее коньяком. Ниже и меньше, чем обычно, выглядит сегодня красноватая гостиная фрау Слама, может быть, она придавлена дождем. На столе лежит хорошо знакомый ему альбом с твердыми и блестящими медными углами. Все картинки известны Карлу Йозефу. Вахмистр Слама спрашивает:

— Разрешите? — открывает альбом и держит его раскрытым перед лейтенантом. Здесь он в штатском, в качестве молодого мужа, снят рядом с женой.

— Тогда я еще был взводным, — с некоторой горечью объявляет вахмистр, словно желая сказать, что уже в те времена ему подобал более высокий чин. Фрау Слама сидит рядом с ним, с осиной талией, в летнем платье, узком и светлом, как в воздушном панцире, в плоской надетой набекрень шляпке. Что это? Разве Карл Йозеф еще никогда не видел этой карточки? Почему же она

сегодня кажется ему такой новой? И такой старомодной? И такой чужой? И такой комичной? Да, он улыбается, как улыбаешься, разглядывая смешную картинку из давно прошедших времен, словно фрау Слама никогда не была ему близка и дорога и словно она умерла не всего несколько месяцев, а уже много лет тому назад.

— Она была очень хорошенькой. Это видно, — говорит он уже не в смущении, как раньше, а из доброжелательного лицемерия. Ведь принято говорить лестное о покойнице вдовцу, которому выражаешь соболезнование.

Он тотчас же чувствует себя освободившимся и разобщенным с покойной, словно все, все теперь погашено. Все было самовнушением. Он выпивает малиновую воду, поднимается и говорит:

— Итак, я пошел, господин Слама! — Он не ждет ответа, поворачивается так, что вахмистр едва успевает встать, вот они уже и в сенях. Карл Йозеф надел шинель и медленно, с удовольствием натягивает перчатку на левую руку, на это у него вдруг оказывается достаточно времени, он едва успевает выговорить:

— Ну-с, всего хорошего, господин Слама! — Он с удовлетворением слышит чуждый, высокомерный тон в своем голосе. Слама стоит с опущенны-

ми глазами, не зная, куда девать руки, которые вдруг стали пустыми, точно до сих пор они что-то держали и вот только сейчас выронили и навеки утратили. Они пожимают друг другу руки. Кажется, Слама хочет еще что-то сказать? Не важно!

— Может быть, заглянете еще разок, господин лейтенант! — все же произносит он. Едва ли он думает это всерьез… Карл Йозеф уже забыл, как выглядит Слама. Он видит только желто-золотой кант на его воротнике и три золотых нашивки на черном рукаве жандармского мундира.

— Всего хорошего, вахмистр.

Дождь все еще идет, медленно, неустанно; изредка налетают порывы теплого ветра. Кажется, что вечер давно уже должен был настать, а все еще не настает. Все время эта серая мокрая сетка. Впервые, с тех пор как он надел военную форму, даже с тех пор, как он начал мыслить, Карл Йозеф чувствует, что нужно поставить воротник. Он уже поднимает руку; но, вдруг вспомнив, что на нем военная форма, снова опускает ее. Он как будто на секунду забыл о своем звании… Медленным звенящим шагом, радуясь этой медлительности, идет он по мокрому шуршащему гравию палисадника. Ему не нужно спешить, ничего не произошло, все было сновидением.

Который может быть час? Часы запрятаны слишком далеко, под мундиром, в маленьком кармане рейтуз. Не стоит расстегивать шинель. Все равно скоро пробьет на башне.

Он открывает калитку, выходит на улицу.

— Господин барон! — произносит вдруг за его спиной вахмистр. Непонятно, как мог он так неслышно идти за ним. Карл Йозеф пугается. Он останавливается, но не решается тотчас же обернуться. Может быть, дуло пистолета уже направлено прямо в промежуток между складками шинели. Страшная и ребяческая мысль! Не начинается ли все с начала?

— Да, — говорит он, все еще с высокомерной небрежностью, которая звучит как тягостное продолжение его прощания и стоит ему больших усилий, — он оборачивается. Без шинели, с непокрытой головой стоит вахмистр на дожде, с мокрой, разделенной надвое щеточкой волос и большими дождевыми каплями на гладком лбу. Он держит в руках голубой пакетик, накрест перевязанный серебряным шнурочком.

— Это для вас, господин барон, — говорит вахмистр, опустив глаза в землю. — Прошу прощения! Так распорядился господин окружной начальник. Я тотчас же принес их тогда. Господин

окружной начальник быстро просмотрел и сказал, чтобы я отдал их вам в собственные руки!

С минуту длится тишина, только дождь барабанит по бедному голубому пакетику, окрашивая его в совсем темный цвет, он не может больше ждать, этот пакетик. Карл Йозеф берет его, опускает в карман шинели, краснеет, намеревается снять перчатку с правой руки, передумывает, протягивает облитую лайкой руку вахмистру, говорит: «Большое спасибо», — и быстро удаляется.

Он ощущает этот пакетик в кармане. Оттуда вверх по руке струится неведомый жар и еще сильнее гонит краску на его лицо. Он чувствует теперь, что нужно расстегнуть воротник, так же как раньше чувствовал, что его следует поднять. Во рту снова появляется горьковатый привкус малиновой воды. Карл Йозеф вынимает пакетик из кармана. Да, без сомнения. Это его письма.

Уж должен бы наконец настать вечер и прекратиться дождь. Многое должно бы измениться на свете, может, вечернее солнце дошлет сюда еще один последний луч. Сквозь сетку дождя луга выдыхают хорошо знакомый аромат, и вот опять слышится одинокий крик неведомой птицы, никогда ее здесь не слыхали, вся местность словно чужая. На башне бьет пять, значит, прошел ровно

час — не больше часа. Как нужно идти, быстро или медленно? У времени чуждая, загадочная поступь, каждый час, как год. Вот бьет пять с четвертью. А пройдено едва несколько шагов. Карл Йозеф шагает быстрее. Он переходит через полотно, здесь начинаются первые домики города. Дорога ведет мимо кафе, единственного заведения в городишке с модной вертящейся дверью. Может быть, следует зайти, выпить коньяку, не присаживаясь, и снова уйти? Карл Йозеф входит.

— Поскорей, пожалуйста, коньяку, — говорит он у стойки. Он не снимает кивера и шинели. Несколько посетителей подымаются. Слышится стук биллиардных шаров и шахматных фигур. Гарнизонные офицеры сидят в полутьме ниш, Карл Йозеф не видит их и не здоровается с ними. Самое важное — это коньяк. Он бледен, белокурая кассирша по-матерински улыбается ему со своего возвышенного места, заботливой рукой кладет кусок пиленого сахара рядом со стопкой. Карл Йозеф залпом выпивает ее. Тотчас же заказывает следующую. Вместо лица кассирши он видит только мерцанье белокурых волос и две золотые пломбы в углах рта. У него такое ощущение, словно он делает что-то запретное, и он не знает, почему запретно — выпить две стопки коньяку.

В конце концов он уже не ученик кадетского корпуса. Почему кассирша так странно улыбается, глядя на него? Ее взгляд цвета морской воды и наведенная чернота бровей мучают его. Он отворачивается и смотрит в зал. В углу, подле окна, сидит его отец.

Да, это окружной начальник — и что тут удивительного? Каждый день, между пятью и семью, он сидит здесь, читает «Правительственный вестник» и курит «Виргинию». Всему городу это известно вот уже три десятка лет. Окружной начальник сидит там, смотрит на своего сына и, наверно, улыбается. Карл Йозеф снимает кивер и идет прямо к отцу. Старый господин Тротта взглядывает на него из-за газеты, не выпуская ее из рук, и говорит:

— Ты от Слама?

— Так точно, папа!

— Он отдал тебе твои письма?

— Так точно, папа!

— Садись, пожалуйста!

— Слушаюсь, папа.

Наконец окружной начальник перестает читать газету, кладет локти на стол, поворачивается к сыну и говорит:

— Она дала тебе дешевого коньяку. Я всегда

пью «Хеннесси».

— Буду иметь в виду, папа.

— Впрочем, пей пореже! Ты еще несколько бледен. Раздевайся! Там майор Кредль, он смотрит сюда!

Карл Йозеф поднимается и с поклоном приветствует майора.

— Он был неприятен, Слама?

— Нет, очень милый парень!

— Так-с!

Карл Йозеф снимает шинель.

— Где же у тебя эти письма? — спрашивает окружной начальник.

Сын достает пакетик из кармана. Старый Тротта берет его. Взвешивает на правой руке, снова кладет на стол и говорит:

— Довольно много писем…

— Так точно, папа!

Все тихо, слышится только стук бильярдных шаров и шахматных фигур, да за окном льет дождь.

— Послезавтра ты отбываешь в полк, — говорит окружной начальник, глядя в окно. Внезапно Карл Йозеф чувствует сухую руку отца на своей руке. Рука окружного начальника лежит на руке лейтенанта, холодная и костлявая. Карл Йозеф

опускает глаза на стол. Он краснеет. И говорит:

— Так точно, папа!

— Получите! — кричит окружной начальник и снимает свою руку. — Скажите барышне, — обращается он к кельнеру, — что мы пьем только «Хеннесси».

По ровной, как нитка, диагонали проходят они к двери, — отец, а позади него сын.

Они идут домой по влажному саду, теперь уже капает только с деревьев, мягко и певуче. Из ворот окружной управы выходит вахмистр Слама в шлеме, с винтовкой, к которой пригнан штык, и со служебной книгой под мышкой.

Глава пятая

Казарма была расположена в северной части города. Она замыкала собой широкую ухоженную дорогу, которая позади кирпичного здания принимала другое направление и уходила в голубые дали. Казалось, что казарма воздвигнута здесь, в славянской провинции, как символ габсбургского могущества. Она преграждала путь древней дороге, которая стала такой широкой от длившихся столетиями странствий славянских племен. Дороге пришлось посторониться. Она описывала дугу вокруг казармы. Даже остановившись на северном краю города, в конце улицы, там, где дома делались все меньше и, наконец, превращались в деревенские хижины, можно было видеть в ясные дни широкие, сводчатые черно-желтые ворота казармы. Полк стоял в Моравии. Но был укомплектован не чехами, как можно было бы предположить, а украинцами и румынами.

Два раза в неделю происходили маневры на южном пустыре. Два раза в неделю полк проезжал на рысях по улицам городка. Звонкие и гремящие звуки труб через равномерные промежутки времени прерывали равномерное цоканье

копыт, и красные рейтузы всадников по обе стороны блестящих коричневых боков лошадей наполняли город кровавым великолепием. На тротуарах останавливались горожане. Купцы покидали свои лавки, праздные посетители кафе — свои столики, городские полицейские — привычные посты, а крестьяне, привозившие из деревень на базар свежие овощи, — своих лошадей и телеги. Только возницы немногих дрожек, стоявших неподалеку от городского парка, оставались неподвижно сидеть на козлах. Со своей верхотуры они могли обозревать военный спектакль еще лучше, чем стоящие на тротуарах пешеходы. И казалось, что старые клячи с глухим равнодушием приветствовали великолепное появление своих более молодых и здоровых товарищей. Кавалерийские кони были дальними родственниками печальных лошадок, которые уже пятнадцать лет только и делали, что возили дрожки на вокзал и с вокзала.

Карлу Йозефу, барону фон Тротта, эти животные были безразличны. Иногда ему казалось, что он чувствует в себе кровь предков: они не были наездниками. С взрыхляющей бороной в огрубевших руках, шаг за шагом шли они по земле. Они врезали бороздящий плуг в сочные глыбы пашни

и, сгибая ноги в коленях, шли за медлительными волами. Ивовыми прутьями подгоняли они лошадей, а не шпорами и хлыстом. Отточенная коса, как молния, блистала в их высоко поднятых руках; они скашивали изобилие, которое сами посеяли. Отец деда был еще крестьянином. Сиполье — было название деревни, откуда они происходили. Сиполье — это слово имело старинный смысл. Нынешним словенцам оно едва ли было знакомо. Но Карлу Йозефу казалось, что он знает эту деревню. Он видел ее, когда вспоминал о портрете своего деда, меркнувшем под сводами кабинета. Она приютилась меж неведомых гор, под золотым блеском неведомого солнца, стаей мазанок, крытых соломой. Красивая деревня, милая деревня! Ради нее стоило пожертвовать офицерской карьерой.

Но увы, он был не крестьянин, а барон и лейтенант уланского полка! У него даже не было собственной комнаты в городе, как у других. Карл Йозеф жил в казарме. Окно его выходило на двор. Напротив были помещения для рядовых. Когда в полдень он возвращался в казарму и за ним закрывались большие, двухстворчатые ворота, ему чудилось, что он в плену; никогда они уже не откроются для него. Его шпоры зябко звенели

по голой каменной дорожке, и топот его сапог отдавался в буром деревянном, запачканном дегтем полу коридора. Белые известковые стены еще удерживали свет исчезающего дня и теперь вновь отбрасывали его в своей бережливой наготе, как бы заботясь о том, чтобы казенные керосиновые лампы не были зажжены раньше, чем окончательно стемнеет; словно они своевременно вобрали в себя день, чтобы теперь, в темноте, источать его. Карл Йозеф не зажег света. Прижавшись лбом к окну, — которое внешне как бы отделяло его от сумрака, на деле же было прохладной наружной стеною этого сумрака, — смотрел он в освещенные желтоватым светом помещения для рядовых. Он охотно поменялся бы с кем-нибудь из солдат. Там они сидели, полураздетые в грубых желтоватых казенных рубашках, болтали босыми ногами, свесившимися с коек, пели, разговаривали и играли на губной гармонике. В это время дня — осень уже давно наступила — через час после переклички и за полтора часа до отбоя казарма походила на гигантский корабль. Карлу Йозефу даже казалось, что она тихонько покачивается и что желтые керосиновые лампы с большими белыми абажурами движутся в ритм с волной какого-то неведомого

океана. Солдаты пели песни на незнакомом языке: по-словенски. Прежние крестьяне из Сиполья, верно, поняли бы их! Дед Карла Йозефа, возможно, тоже понял бы их! Его загадочный образ меркнул под сводами кабинета. За этот портрет цеплялись воспоминания Карла Йозефа, как за единственную и последнюю реликвию, завещанную ему длинным рядом неизвестных предков. Их потомком был он. С тех пор как он вступил в полк, он ощущал себя внуком своего деда, не сыном своего отца; да, он был как бы сыном своего удивительного деда. Без передышки дудели они там в губную гармонику. Он мог ясно видеть движения грубых коричневых рук, водивших жестяным инструментом перед красными ртами, а время от времени и поблескивание металла. Великая тоска этого инструмента лилась сквозь закрытые окна в черный прямоугольник двора и наполняла мрак ясным ощущением родины: и жены, и ребенка, и родного двора. Там жили они в низких хижинах, по ночам оплодотворяли женщин, а при дневном свете — свои поля! Зимой вокруг хижин высоко лежал белый снег. Летом же вокруг них волновалась высокая желтая рожь. Крестьянами были они, крестьянами!

Осень уже давно наступила. Когда уланы

вставали поутру, солнце, кроваво-красное, как королек, всплывало на восточном крае неба. И когда они приступали к гимнастическим упражнениям на заливном лугу, на широкой зеленоватой прогалине, окруженной черневшими елями, тяжеловесно поднимались серебряные туманы, разорванные сильными, равномерными движениями темно-синих мундиров. Бледное и хмурое вставало солнце. Сквозь черные сучья пробивалось его матовое серебро, холодноватое и чужое. Мороз, как жесткая скребница, чесал ржаво-рыжие шкуры коней; их ржание доносилось с соседней лужайки — тоскливый вопль по родине и конюшне. Сейчас делали «вольные упражнения с карабинами».

Карл Йозеф едва мог дождаться возвращения в казармы. Он боялся четверти часа «отдыха», наступавшего ровно в десять, и разговоров с товарищами, которые иногда собирались в соседней харчевне, чтобы выпить пива, в ожидании полковника Ковача. Еще мучительнее был вечер в казино. Скоро он наступит. Появляться там обязательно. Уже приближался час отбоя. Уже темно-синие звенящие тени возвращающихся солдат спешили по прямоугольнику казарменного двора. Там, напротив, вахмистр Резничек

появился у двери с желтоватым, мигающим фонарем в руках, и трубачи уже собирались в темноте. Желтые медные инструменты мерцали на фоне темной блестящей синевы мундиров. Из конюшен слышалось сонное ржание коней. На небе блестели звезды, золотые и серебряные.

В дверь постучали. Карл Йозеф не двинулся с места. Это его денщик, он и так войдет. Его зовут Онуфрий. Сколько потребовалось времени, чтобы затвердить это имя! Онуфрий! Деду это имя еще было привычным.

Онуфрий вошел. Карл Йозеф прижался лбом к стеклу. Он слышал, как за его спиной денщик щелкнул каблуками. Сегодня среда, и Онуфрию полагалось увольнение. Нужно было зажечь свет и подписать ему отпускное свидетельство.

— Зажгите свет! — приказал Карл Йозеф, не оборачиваясь. Напротив солдаты все еще играли на губной гармонике.

Онуфрий зажег свет. Карл Йозеф слышал, как повернулся выключатель на дверной раме. За его спиной стало совсем светло. В окно все еще упорно глядела темнота и блестел желтый уютный огонек из расположенных напротив помещений для рядовых. (Электричество было привилегией офицеров.)

— Куда ты пойдешь сегодня? — спросил Карл Йозеф, по-прежнему глядя в окно.

— К девочке, — ответил Онуфрий. Сегодня лейтенант впервые сказал ему «ты».

— К какой девочке? — осведомился Карл Йозеф.

— К Катерине. — Слышно было, что он стал навытяжку.

— Вольно, — скомандовал Карл Йозеф. Онуфрий (это тоже было слышно) выдвинул правую ногу.

Карл Йозеф обернулся. Перед ним стоял Онуфрий, его огромные лошадиные зубы блестели между толстыми красными губами. Он не мог стоять «вольно» не улыбаясь.

— Как она выглядит, твоя Катерина? — спросил Карл Йозеф.

— Господин лейтенант, дозвольте доложить: большая белая грудь!

Большая белая грудь! Лейтенант ощутил на ладони воспоминание о грудях Кати. Мертва была она, мертва!

— Увольнительную! — приказал Карл Йозеф. Онуфрий протянул ее.

— Где она живет, твоя Катерина? — спросил лейтенант.

— У господ, — отвечал Онуфрий.

— Дай сюда! — сказал Карл Йозеф. Он взял увольнительную, расправил ее, подписал. — Иди к своей Катерине, — сказал он. Онуфрий еще раз щелкнул каблуками. — Налево, кругом, марш, — скомандовал Карл Йозеф.

Он выключил свет. Ощупью, в темноте, отыскал шинель. Вышел в коридор. В момент, когда он закрывал за собой дверь, внизу трубачи в последний раз протрубили отбой. Звезды на небе блестели дрожащим светом. Часовой у ворот взял на караул. За Карлом Йозефом закрылись ворота. Серебряная от лунного света, мерцала улица. Желтые огни города кивали ему, как падающие звезды. Шаги гулко звучали по свежезамерзшей осенне-ночной почве.

За спиной он услышал топот сапог Онуфрия. Лейтенант пошел быстрее, чтобы не дать денщику обогнать себя. Но Онуфрий тоже ускорил шаги. Так бежали они друг за другом по пустынной, замерзшей и гулкой улице. Онуфрию, видимо, доставляло удовольствие догонять своего лейтенанта. Карл Йозеф остановился и стал ждать. Онуфрий явственно вырисовывался в лунном свете; казалось, что он растет, что он поднимает голову к звездам, точно хочет почерпнуть у них новые силы для встречи со своим господином. Он

отчетливо махал руками в ритм со своим шагом, казалось, что он и воздух попирает руками. За два шага до Карла Йозефа он остановился, снова выпятил грудь и, страшно щелкнув каблуками, отдал честь рукой с как бы сросшимися пальцами. Карл Йозеф беспомощно улыбнулся. Всякий другой, подумал он, сумел бы сказать ему что-нибудь приятное. Трогательно было, как Онуфрий следовал за ним. Собственно, он даже ни разу его хорошенько не разглядел. Покуда ему не удавалось запомнить имя, он не мог рассматривать и его лицо. Ему казалось, что каждый день его обслуживал новый денщик. Другие говорили о своих денщиках с видом знатоков, так же как о девочках, лошадях, одежде и любимых блюдах. Карл Йозеф, когда речь заходила о слугах, думал только о старом Жаке, там, дома, о старом Жаке, который служил еще его деду. Кроме старого Жака на свете не было ни одного слуги! Теперь перед ним, на освещенной луною улице, стоял Онуфрий, с мощно выпяченной грудной клеткой, с блестящими пуговицами и зеркально начищенными сапогами.

— Стоять вольно, — сказал Карл Йозеф.

Ему следовало бы сказать что-нибудь ласковое. Дед сумел бы так обратиться к Жаку. Онуфрий с

треском выдвинул правую ногу вперед. Его грудная клетка осталась выпяченной, приказ на него не подействовал.

— Стой вольно, — повторил Карл Йозеф немного грустно и нетерпеливо.

— Так точно, стою вольно, — отвечал Онуфрий.

— Далеко отсюда живет твоя девочка? — осведомился Карл Йозеф.

— Недалеко, осмелюсь доложить, всего час ходьбы, господин лейтенант!

Нет, ничего не получается! Карл Йозеф не находил ни единого слова. Его душила какая-то незнакомая нежность; он не умел обходиться с нижними чинами. А с кем он умел обходиться? Его беспомощность была велика, он едва находил слова и в общении с товарищами. Почему они все шептались, едва только он от них отворачивался или когда он подходил к ним? Почему он так плохо сидел на коне? Ах, он знал себя! Он видел свой силуэт, как в зеркале. И никто не мог бы его разубедить — за его спиной шушукались товарищи. Их ответы он понимал только после долгих объяснений; но и тогда не мог им смеяться, именно тогда-то и не мог! И все же полковник Ковач любил его. И у него, безусловно, был отличнейший послужной список. Он живет в тени

деда! Вот оно что! Он внук героя Сольферино, единственный внук. Темный, загадочный взгляд деда постоянно покоится на его затылке! Он внук героя Сольферино.

Несколько минут Карл Йозеф и его денщик Онуфрий молча стояли друг против друга на мерцающей молочным светом улице. Луна и безмолвие удлиняли минуты. Онуфрий не двигался. Он стоял, как монумент, облитый серебром луны. Карл Йозеф внезапно повернулся и зашагал вперед. Точно в трех шагах расстояния следовал за ним и Онуфрий. Карл Йозеф слышал равномерный стук тяжелых сапог и железное звякание шпор. Парень шел за ним; в такт его шагам. Лейтенант старался идти в ногу с сапогами за своей спиной. Он боялся разочаровать Онуфрия, невнимательно сменивши ногу.

Наконец они дошли до города. Карлу Йозефу пришло на ум удачное слово, пригодное для прощания: «Всяческих удовольствий, Онуфрий», — и он быстро завернул в боковую улицу. Благодарность денщика прозвучала для него уже как отдаленное эхо.

Он сделал вынужденный крюк и десятью минутами позже достиг казино. Казино помещалось в первом этаже одного из лучших домов старого

города. Все окна, как и каждый вечер, изливали поток света на площадь, на это Корсо местного населения. Было уже поздно, следовало ловко проскользнуть через густые толпы наслаждающихся гуляньем горожан с супругами. Изо дня в день лейтенанту причиняло невыразимые муки возникать в своей звенящей пестроте среди темной толпы штатских, чувствовать на себе любопытные, неприязненные и похотливые взоры и, наконец, подобно некоему божеству, исчезать в ярко освещенном подъезде казино. Он быстро протискивался через толпу гуляющих. Две минуты пришлось идти по довольно длинному Корсо, две отвратительные минуты. По лестнице он взбежал через две ступени. Встреч на лестнице следовало избегать — дурная примета. Тепло, свет и голоса встретили его в вестибюле. Он вошел, обменялся поклонами. Стал искать полковника Ковача в привычном углу. Там он каждый вечер с воодушевлением играл в домино, может быть, из безмерного страха перед картами. «Я еще никогда не держал карт в руках», — говаривал он. Не без брезгливости произносил он слово «карты»; и при этом бросал взгляд на свои руки, как бы показывая, что в них держит он свою безупречную нравственность. «Рекомендую

вам, господа, — иногда продолжал он, — домино! Это чистая игра, она воспитывает в вас умеренность». И он наудачу брал один из черно-белых многоглазых камней и поднимал его, как некое магическое орудие, при помощи которого можно исцелить одержимых бесом картежников.

Сегодня была очередь ротмистра Тайтингера нести службу по игре в домино. Лицо полковника отбрасывало синевато-красный свет на желтоватое худощавое лицо ротмистра. Карл Йозеф, мягко звякнув шпорами, остановился перед полковником. «Servus», — произнес тот, не поднимая глаз от домино. Он был покладистым человеком, этот полковник Ковач. Уж много лет, как он усвоил себе отеческие повадки. И только раз в месяц впадал в нарочитый гнев, перед которым сам испытывал больший страх, чем его подчиненные. Тут всякий повод был для него желанен. Он орал так, что сотрясались стены казармы и старые деревья вокруг заливного луга. Его сине-красное лицо бледнело вплоть до губ, а его нагайка судорожно и без устали била по голенищу сапога. Он кричал сплошь что-то непонятное, и вклинивающиеся сюда, постоянно повторяющиеся и бессвязно выкрикиваемые слова «Как? В моем полку?» звучали тише, чем

все остальное. Он умолкал так же внезапно, как начинал, и тотчас же удалялся из канцелярии, из казино, с плацдарма — словом, с места, которое на сей раз избирал ареной для своей грозы. Да, все знали его, полковника Ковача, этого добродушнейшего зверя! На регулярность взрывов его гнева можно было полагаться, как на стояния луны. Ротмистр Тайтингер, который уже дважды переводился из полка в полк и имел точные сведения о всем начальствующем составе, без устали доказывал каждому встречному, что во всей австро-венгерской армии нет более безвредного командира полка.

Полковник Ковач оторвался на мгновение от своей партии в домино и подал Тротта руку.

— Уже поужинали? Жаль, — добавил он. — Шницель сегодня был великолепен! Великолепен! — произнес он еще раз, немного спустя. Ему было жаль, что Тротта не отведал шницеля. Он охотно еще раз прожевал бы его на глазах у лейтенанта; пусть, по крайней мере, хоть посмотрит, как его уплетают. — Ну-с, желаю повеселиться, — сказал он наконец и снова обратился к домино.

Толчея в этот час была страшная, нельзя было уже сыскать уютного местечка. Ротмистр Тайтингер, с незапамятных времен заправлявший

офицерским собранием, — единственной его страстью было сладкое печенье, — мало-помалу преобразовал казино наподобие той кондитерской, где он ежедневно проводил послеобеденные часы. Его можно было видеть сквозь стеклянную дверь сидящим в мрачной неподвижности — оригинальная рекламная фигура в военной форме. Он был лучшим из постоянных посетителей кондитерской и, вероятно, самым голодным. Без малейшего следа жизни на скорбном лице поглощал он одну тарелку сладостей за другой, время от времени отпивая глоток воды, неподвижно смотрел сквозь стеклянную дверь на улицу, слегка кивая, когда проходящий солдат отдавал ему честь, и в его большой худощавой голове с реденькими волосами, по-видимому, ровно ничего не происходило. Он был кротким и очень ленивым офицером. Хлопоты по клубу, возня с кухней, поварами, вестовыми, винным погребом из всех служебных обязанностей единственно были ему приятны. А его обширная корреспонденция с виноторговцами и ликерными фабрикантами давала работу не менее чем двум писарям. За один год ему удалось уподобить обстановку казино обстановке своей любимой кондитерской, расставить изящные столики по

углам и прикрыть настольные лампочки красноватыми абажурами.

Карл Йозеф поглядел вокруг себя. Он искал сносного места. Место между прапорщиком запаса Бернштейном, рыцарем фон Залога, новопожалованным дворянином и богатым адвокатом, и розовым лейтенантом Киндерманом, уроженцем Германии, было относительно наиболее приемлемым. От прапорщика, к солидному возрасту и слегка выдававшемуся животу которого так мало шел этот юношеский чин, что он казался переряженным в военную форму бюргером, от его лица с маленькими черными как смоль усиками, которому явно недоставало соответственного его природе пенсне, веяло более, чем от кого-либо в этом казино, каким-то благонадежным достоинством. Бернштейн напоминал Карлу Йозефу то ли домашнего врача, то ли доброго дядюшку. Ему одному в этих двух больших залах можно было поверить, что он всерьез, честно сидит на своем месте. Все остальные словно бы подпрыгивали на стульях. Единственная уступка, которую прапорщик доктор Бернштейн, не считая ношения формы, делал своему военному званию во время повторных сборов, был монокль, ибо в частной жизни он действительно носил пенсне.

Благонадежнее других был, без сомнения, и лейтенант Киндерман. Он весь состоял из некой блондинистой, розовой и прозрачной субстанции. Казалось, что можно сквозь него просунуть руку, как сквозь освещенный вечерним солнцем легкий дымок. Все, что он говорил, легко и прозрачно испарялось из его существа, без того, чтобы он уменьшался в размере. И даже в серьезности, с которой он прислушивался к серьезным разговорам, было что-то солнечно-улыбающееся. Веселое ничто сидело за столиком. «Servus», — просвистел он своим высоким голосом, про который полковник Ковач говорил, что это один из духовых инструментов прусской армии. Прапорщик запаса Бернштейн приподнялся согласно правилам, но с важностью.

— Мое почтение, господин лейтенант! — произнес он. Карл Йозеф едва удержался, чтобы не ответить столь же почтительно «Добрый вечер, господин доктор!».

— Я не помешаю? — ограничился он вопросом и сел.

— Доктор Демант сегодня возвращается, — начал Бернштейн, — я случайно встретился с ним после обеда.

— Премилый малый, — просвистел на своей

флейте Киндерман. После густого судейского баритона Бернштейна это прозвучало как легкое дуновение ветерка по струнам арфы. Киндерман, постоянно озабоченный тем, чтобы маскировать свой весьма малый интерес к женщинам особым вниманием, которое он им уделял, объявил:

— А его жена — вы ее не знаете — прелестное существо, очаровательная женщина. — При слове «очаровательная» он поднял руку, так что его изящные пальцы заплясали в воздухе.

— Я знал ее еще молоденькой девушкой, — сказал прапорщик.

— Интересно, — заметил Киндерман. Он явно притворялся.

— Ее отец был прежде одним из богатейших шляпных фабрикантов, — продолжал прапорщик. Казалось, он зачитывает показания. Видимо, испугавшись своей фразы, он остановился. Слово «шляпный фабрикант» звучало слишком по-штатски, ведь он, в конце концов, сидел не с присяжными поверенными. Он про себя поклялся отныне точно обдумывать каждую фразу. Столько он мог все-таки сделать для кавалерии! Он попытался взглянуть на Карла Йозефа. Но тот сидел как раз слева, а Бернштейн носил монокль в правом глазу. Ясно он различал только

лейтенанта Киндермана: этот оставался безразличным. Чтобы проверить, не произвело ли фамильярное упоминание о шляпном фабриканте удручающего действия на лейтенанта Тротта, Бернштейн вытащил свой портсигар и протянул его налево, но тут же вспомнил, что Киндерман рангом выше, и, обернувшись направо, торопливо пробормотал: — Pardon.

Теперь все трое курили молча. Взор Карла Йозефа устремился на портрет императора, висевший на противоположной стене. Франц Иосиф был на нем изображен в белом, как цвет яблони, мундире, с кроваво-красным шарфом через плечо и орденом Золотого руна на шее. Большая черная фельдмаршальская шляпа с пышным зеленым султаном из павлиньих перьев лежала рядом с императором на выглядевшем весьма шатким столике. Портрет висел, казалось, очень далеко, много дальше стены. Карл Йозеф вспомнил, что в его первые дни в полку этот портрет, в известной мере, служил для него гордым утешением. В те дни он чувствовал, что император каждое мгновение может выйти из узкой черной рамы. Но постепенно император приобрел безразличный, знакомый, не привлекающий внимания облик — такой, какой он имел на почтовых марках

и монетах. Его портрет висел на стене казино — своеобразный род жертвы, которую божество само себе приносит… Глаза его — некогда они напоминали лейтенанту летнее небо каникулярного времени — теперь казались сделанными из твердого синего фарфора. И все-таки это был тот же самый император. Дома, в рабочей комнате окружного начальника, висел тот же портрет. Он висел в большом актовом зале кадетского корпуса. Он висел в канцелярии полковника в казарме. Сотни тысяч раз был размножен император Франц Иосиф в обширной стране. Ему спас жизнь герой Сольферино. Герой Сольферино состарился и умер. Теперь его пожирали черви. И его сын, окружной начальник, отец Карла Йозефа, тоже старился. Скоро и его будут пожирать черви. Только император, один император, казалось, состарился однажды раз и навсегда в определенный день и час, и с того часа навеки остался закованным в свою ледяную и вечную, серебряную и ужасную старость, как в панцирь из внушающего благоговение кристалла. Годы не смели к нему подступиться. Все синее и жестче становился его взгляд. Даже милость его, простертая на семейство Тротта, была бременем из колющего льда. И Карлу Йозефу становилось

холодно под синим взглядом своего императора.

Он не прослужил еще в полку и четырех месяцев. И вдруг оказалось, что император больше не нуждался в Тротта. Слишком долго царил мир. Смерть, как первая ступень обязательного продвижения по службе, была еще далека от юного лейтенанта кавалерии. Когда-нибудь ты сделаешься полковником и затем умрешь. А пока что приходится каждый вечер ходить в казино и смотреть на портрет императора. Чем больше лейтенант Тротта его разглядывал, тем дальше становился ему император.

— Посмотрите-ка, — просвистел голос лейтенанта Киндермана, — Тротта себе глаза проглядел, любуясь на старика!

Карл Йозеф улыбнулся Киндерману. Прапорщик Бернштейн, давно начавший партию в домино, уже собирался ее проигрывать. Он считал своим долгом проигрывать, играя с кадровыми офицерами. В цивильной жизни он всегда выигрывал и среди адвокатов даже слыл опасным партнером. Но, отбывая ежегодный поверочный сбор, он отказывался от своего превосходства и старался поглупеть.

— Этот проигрывает беспрерывно, — обратился Киндерман к Тротта. Лейтенант Киндерман был

убежден, что все штатские неполноценные существа. Даже в домино не умеют выигрывать.

Полковник все еще сидел в своем углу с ротмистром Тайтингером. Некоторые офицеры, скучая, прохаживались между столиками. Они не осмеливались покинуть казино, покуда играл полковник. Стенные часы каждые пятнадцать минут плакали медленно и отчетливо, их жалобная мелодия прерывала стук домино и шахмат. Временами кто-нибудь из ординарцев вытягивался в струнку, затем бежал в кухню и возвращался оттуда со стаканчиком коньяку на огромном до смешного подносе. Иногда слышался громкий смех, и, оглянувшись по направлению, откуда он шел, все видели четыре тесно сдвинутые головы и понимали, что там отпускают остроты. Ох уж эти остроты! Эти анекдоты, при которых все остальные сразу же замечали, что заставляет слушателей смеяться — угодливость или понимание! Эти анекдоты отличают своего от чужого. Кто их не понимает, тот не принадлежит к коренным военным. К ним не принадлежал и Карл Йозеф.

Он уже намеревался предложить новую партию втроем, когда дверь распахнулась и ординарец отдал честь, особенно громко стукнув ногой об

ногу. Мгновенно все стихло. Полковник Ковач вскочил со своего места и воззрился на дверь. Вошел не кто иной, как полковой врач Демант. Он сам испугался волнения, которое вызвал. Остановился в дверях и заулыбался. Ординарец все еще стоял навытяжку рядом с ним и явно мешал ему. Демант махнул ему рукой. Но парень этого не заметил. На толстых стеклах докторских очков туманился легкий осадок осеннего ночного воздуха. Он привык снимать очки, для того чтобы протереть их, когда с холодного воздуха входил в тепло. Но здесь он на это не решался. Прошло некоторое время, прежде чем он сдвинулся с порога.

— Ах, глядите, ведь это доктор, — воскликнул полковник. Он кричал изо всех сил, словно стараясь перекричать шум народного празднества. Он считал, этот добряк, что близорукие в то же время и глухи и что их очки становятся чище, когда лучше слышат уши. Голос полковника проложил себе дорогу. Офицеры отодвинулись. Те немногие, которые еще сидели за столиками, поднялись со своих мест. Полковой врач осторожно ставил одну ногу перед другой, словно ступая по льду. Стекла его очков, видимо, постепенно прочищались. Приветствия неслись к нему со

всех сторон. Он не без труда узнавал господ офицеров. Он наклонялся, чтобы читать на лицах, словно штудировал книги. Перед полковником Ковачем он наконец остановился с выпяченной грудью. То, как он откинул назад свою обычно склоненную голову и попытался резким движеньем вздернуть узкие, покатые плечи, выглядело странно-нарочито. За время длительного отпуска по болезни его почти забыли: его самого и его невоенный вид. Теперь его разглядывали не без удивления. Полковник поспешил положить конец непременному ритуалу приветствий. Он крикнул так, что задребезжали стаканы: «Он хорошо выглядит, доктор!» — словно хотел сообщить об этом всей армии. Сердцем полковник был безусловно расположен к доктору, но, черт побери, гром и молния, малый этот был очень уж невоенным. Будь он только чуточку повоеннее, не надо было бы всегда так напрягаться, чтобы быть к нему расположенным. Могли бы, черт побери, направить в его полк и другого доктора. Ведь вечные битвы, которые происходили между нравом полковника и его солдатским вкусом из-за этого милого доктора, могли и утомить старого воина. «Этот доктор меня еще погубит!» — думал полковник при виде полкового врача верхом на

коне. И в один прекрасный день даже попросил его — лучше уж не ездить по городу.

«Нужно сказать ему что-нибудь любезное», — взволнованно думал он. «Шницель был сегодня великолепен!» — в спешке осенило его. И он это произнес. Доктор улыбнулся. «Он улыбается совершенно по-штатски, этот тип!» — подумал полковник. И внезапно вспомнил, что среди них был еще один человек, незнакомый доктору. Тротта, конечно! Он вступил в полк, когда доктор ушел в отпуск. Полковник зашумел:

— Наш новичок, Тротта! Вы еще друг друга не знаете!

И Карл Йозеф приблизился к полковому врачу.

— Внук героя Сольферино? — спросил доктор Демант.

Никто бы не заподозрил в нем столь точного знания военной истории.

— Он все знает, наш доктор! — вскричал полковник. — Настоящий книжный червь!

И первый раз в жизни подозрительное слово «книжный червь» так отменно понравилось полковнику, что он еще раз повторил его: «книжный червь» — тем ласкающим тоном, каким обычно произносил только: «Настоящий улан!»

Все снова уселись, и вечер продолжался обыч-

ной чередой.

— Ваш дед, — сказал полковой врач, — был одним из замечательнейших людей в армии. Вы его еще знавали?

— Нет, я уже не знал его, — отвечал Карл Йозеф. — Его портрет висит у нас дома в кабинете отца. Когда я был маленьким, я часто его рассматривал. А его слуга, Жак, все еще у нас.

— Что это за портрет? — спросил полковой врач.

— Его писал один из друзей юности моего отца, — сказал Карл Йозеф. — Это удивительный портрет. Он висит довольно высоко. В детстве мне приходилось взбираться на стул, чтобы его рассмотреть.

Несколько секунд они молчали. Затем доктор сказал:

— Мой дед был шинкарем, евреем-шинкарем в Галиции. Слышали вы о Галиции? (Доктор Демант был евреем. Во всех анекдотах фигурировали полковые врачи-евреи. В кадетском корпусе тоже учились два еврея. Они потом поступили в пехоту.)

— К Рези, к тетке Рези, — вдруг крикнул кто-то.

И все повторили:

— К Рези! Идем к Рези!

— К тетке Рези!

Ничто не могло испугать Карла Йозефа больше, чем этот призыв. В течение недель, полный страха, он ждал его. Все подробности последнего посещения публичного дома фрау Хорват еще оставались у него в памяти. Все! Шампанское, которое, казалось, состояло из камфары и лимонада, рыхлое, мясистое тесто девушек, кричащая краснота и сумасшедшая желтизна обоев, запах мышей, кошек и ландышей в коридоре, потом изжога двенадцать часов подряд. Тогда не прошло еще и недели, как он вступил в полк, и это было его первое посещение борделя. «Любовные маневры!» — говаривал Тайтингер. Здесь он был вожаком. Это входило в обязанности офицера, с незапамятных времен заправлявшего клубом. Бледный и тощий, придерживая рукой саблю, длинными, осторожными и тихонько позвякивающими шагами ходил он от столика к столику по салону фрау Хорват, крадущийся заимодавец горьких радостей. Киндерман был близок к обмороку, слыша запах обнаженных женщин, — женский пол вызывал у него тошноту. Майор Прохазка, стоя в уборной, честно старался засунуть толстый, короткий палец себе в рот. Шелковые юбки фрау Рези Хорват шуршали

одновременно во всех углах дома. Ее большие черные глаза перекатывались без определенного направления и цели на широком, мучнистом лице; белые и крупные, как клавиши, блестели зубы ее вставной челюсти. Траутмансдорф из своего угла преследовал каждое ее движение малюсенькими, проворными зеленоватыми глазами. Наконец он встал и засунул руку в вырез платья фрау Хорват. Рука потерялась там, как белая мышь среди белых гор. А Полляк, тапер, сидел согнувшись, настоящий раб музыки, за черным отсвечивающим роялем, и на его руках, которые барабанили по клавишам, тихонько постукивали крахмальные манжеты; как охрипшие флейты, сопровождали они жестяные звуки рояля.

К тетке Рези! Идти к тетке Рези! Полковник внизу отстал от своих офицеров, пожелав им «всяческих удовольствий, господа», и на тихой улице двадцать голосов отозвались: «Почтение, господин полковник!» — и сорок шпор звякнули друг о дружку. Полковой врач доктор Демант сделал робкую попытку, в свою очередь, откланяться.

— Вам необходимо идти? — тихонько спросил он лейтенанта Тротта.

— По-видимому, да! — шепнул Карл Йозеф. И полковой врач, ни слова не говоря, к ним

присоединился. Они были последними в беспорядочном ряду офицеров, с шумом шагавших по тихим, освещенным луной улицам городка. Они не разговаривали друг с другом. Оба чувствовали, что прошептанный вопрос и прошептанный ответ связывал их, — ничего нельзя было поделать. Оба откололись от всего полка. А знакомы были не больше получаса.

Внезапно и не зная почему Карл Йозеф сказал:

— Я любил женщину по имени Кати. Она умерла.

Полковой врач остановился и, всем корпусом повернувшись к лейтенанту, ответил:

— Вы еще будете любить других женщин!

И они пошли дальше.

С далекого вокзала доносились гудки ночных поездов, и полковой врач сказал:

— Я хотел бы уехать, далеко уехать!

Теперь они уже стояли у синего фонаря тетки Рези. Ротмистр Тайтингер постучал в запертую дверь. Кто-то открыл. Внутри тотчас же забренчал рояль; марш Радецкого. Офицеры направились в салон.

— Рассыпаться поодиночке! — скомандовал Тайтингер. Полуобнаженные девушки с шумом поднялись им навстречу, хлопотливая стая бе-

лых клуш.

— Бог помочь! — произнес Прохазка.

Траутмансдорф на этот раз медленно и еще стоя на ногах запустил руку за декольте фрау Хорват. И уже больше не отпускал ее. Ей нужно было следить за кухней и погребом, она явно страдала, принимая ласки обер-лейтенанта. Но гостеприимство призывало к жертвам. Она давала себя соблазнять. Лейтенант Киндерман побледнел. Он был белее пудры на плечах девушек. Майор Прохазка заказал содовую воду. Всякий, кто близко знал его, мог предсказать, что сегодня он будет сильно пьян. Водой он расчищал путь алкоголю — так чистят улицы перед торжественным въездом.

— И доктор тоже пришел? — громко осведомился он.

— Он должен изучать болезни у их источника, — с ученой серьезностью, бледный и тощий, как всегда, изрек ротмистр Тайтингер.

Монокль прапорщика Бернштейна уже торчал в глазу одной белокурой девицы. Он сидел рядом и мигал своими маленькими черными глазками, его темные, волосатые руки, подобно диковинным зверькам, ползали по телу барышни. Постепенно все расселись по своим местам.

Между доктором и Карлом Йозефом, на красной софе, поместились две женщины, прямые, со сдвинутыми коленями, напуганные отчаянными лицами обоих мужчин. Когда появилось шампанское — строгая домоправительница в черной тафте торжественно внесла его, — фрау Хорват решительным движением вытащила руку оберлейтенанта из своего декольте и положила на его черные рейтузы, словно из любви к порядку, — так кладут на место одолженную вещь, — и затем поднялась, властная и могучая. Она потушила люстру. Только в нишах остались гореть маленькие лампочки. В красноватом полумраке светились напудренные белые тела, поблескивали золотые звездочки, сверкали серебряные сабли. Одна пара за другой поднималась и исчезала. Прохазка, давно уже не отрывавшийся от коньяка, подошел к полковому врачу и сказал:

— Вам они не нужны, я беру их с собой! — Он позвал обеих женщин и заковылял между ними к лестнице.

Так они вдруг остались одни. Карл Йозеф и доктор. Тапер Полляк только поглаживал клавиши в противоположном углу салона. Какой-то очень нежный вальс робко и еле слышно несся по комнате. Помимо этого, все было тихо, почти по-

домашнему, и стоячие часы тикали на камине.

— Я думаю, нам обоим здесь нечего делать, верно ведь? — спросил доктор. Он встал, Карл Йозеф бросил взгляд на каминные часы и тоже поднялся. В темноте он не мог разглядеть стрелки, подошел к ним поближе и тут же отступил назад. В бронзовой, засиженной мухами раме стоял император Франц Иосиф в уменьшенном размере, знакомый, вездесущий портрет его величества, в белом, как цвет яблони, одеянии с кроваво-красным шарфом и орденом Золотого руна. «Что-то следует предпринять, — подумал лейтенант быстро и по-ребячески. — Что-то следует предпринять». Он почувствовал, что бледнеет, сердце его заколотилось. Он схватил раму, оторвал заднюю стенку из черной бумаги и вынул портрет. Сложил его пополам, потом еще раз пополам, сунул в карман и обернулся. Позади него стоял полковой врач. Пальцем он показывал на карман, в который Карл Йозеф спрятал императорский портрет.

— И дед тоже спас его, — улыбнулся доктор Демант. Карл Йозеф покраснел.

— Свинство, — сказал он. — Что вы подумали?

— Ничего, — ответил доктор. — Я только вспомнил вашего деда!

— Я его внук, — произнес Карл Йозеф. — К сожалению, у меня нет случая спасти ему жизнь.

Они положили на стол четыре серебряные монеты и покинули дом фрау Хорват.

Глава шестая

Уже три года, как полковой врач Макс Демант служил в уланском полку. Он жил за городом, на южной окраине, там, где шоссе вело к обоим кладбищам, к «старому» и к «новому». Оба кладбищенских сторожа хорошо знали доктора. Раза два в неделю он приходил навещать мертвых, давно канувших в безвестность и только недавно схороненных и еще не позабытых. Иногда он долго блуждал среди могил, и слышалось, как то тут, то там его сабля с тихим звоном задевала надгробные камни. Он, без сомнения, был странным человеком — хорошим врачом, как говорили, и, следовательно, среди военных врачей во всех отношениях диковиной. Он избегал какого бы то ни было общения с людьми. Только долг службы повелевал ему изредка (но всегда чаще, чем ему бы хотелось) появляться среди товарищей. По своим годам и сроку службы он мог бы быть уже штабным врачом. Никто не знал, почему он им еще не был. Может быть, он не знал этого и сам. Бывают «карьеры с закорючками». Словцо это было изобретением ротмистра Тайтингера, который снабжал полк, помимо всего остального, еще

и меткими изречениями.

«Карьера с закорючкой», — часто думал и сам доктор. «Жизнь с закорючкой», — не раз говорил он лейтенанту Тротта. «У меня жизнь с закорючкой. Если бы судьба была ко мне милостивее, я мог бы сделаться ассистентом великого венского хирурга и даже профессором». В мрачную безысходность его детства громкое имя венского хирурга рано дослало свой блеск. Макс Демант еще мальчиком решил сделаться врачом. Он родился на восточной окраине империи. Его дед был набожным еврейским шинкарем, а его отец, после двенадцатилетней службы в ландвере, сделался почтовым чиновником средней руки в близлежащем пограничном городке. Он еще отчетливо помнил своего деда. У больших ворот пограничной харчевни в любое время дня сидел старик. Могучая борода из витого серебра закрывала его грудь и спускалась до колен. Вокруг него носился запах удобрений и молока, лошадей и сена. Он сидел перед своим шинком — старый король среди шинкарей. Когда крестьяне, возвращаясь с еженедельного свиного рынка, останавливались перед шинком, старик поднимался, мощно, как гора в образе человеческом. Так как он был уже глуховат, то низкорослые

крестьяне должны были кричать ему вверх свои желания, через сложенные трубкою руки. Он только кивал в знак понимания. Он удовлетворял желания своих клиентов так, словно оказывал им милости и словно за них не расплачивались наличной звонкой монетой. Сильными руками он сам распрягал лошадей и отводил их в стойла. И пока его дочери в широкой низкой зале шинка подавали гостям водку с сухим и посоленным горохом, он с ласковыми прибаутками кормил во дворе коней. По субботам он сидел, согнувшись над огромными, душеспасительными книгами. Его серебряная борода закрывала нижнюю половину испещренных черными буквами страниц. Знай он, что его внук в форме офицера, вооруженный для убийства, будет разгуливать по свету, он проклял бы свою старость и плод своего семени. Уже его сын, отец доктора Деманта, почтовый чиновник средней руки, был для старика только ласково терпимым страшилищем. Шинок, завещанный праотцами, должен был достаться дочерям и зятьям; тогда как мужские его потомки были обречены до бесконечно далекого будущего оставаться чиновниками, учеными, служащими и дураками. До бесконечно далекого будущего? Нет, слова эти были не к месту: у полкового врача

не было детей. Он и не стремился иметь их. Дело в том, что его жена…

На этом месте доктор Демант обычно обрывал свои воспоминания. Он вспоминал свою мать. Она жила в постоянных лихорадочных поисках какого-нибудь побочного дохода. Отец после службы сидит в маленьком кафе. Он играет в тарок, проигрывает и остается должен хозяину заведения. Он хочет, чтобы его сын окончил четыре класса средней школы и затем сделался чиновником — на почте, разумеется. «Ты всегда широко шагаешь!» — говорит он матери. Он содержит, как ни беспорядочна его частная жизнь, в смехотворном порядке весь реквизит, оставшийся у него после военной службы. Его форма, форма писаря «сверхсрочной службы» (мундир с золотыми угольничками на рукавах, черные штаны и пехотный кивер), висит в шкафу, как разделенное на три части, но все еще живое существо с блестящими, каждую неделю вновь начищаемыми пуговицами. И черная изогнутая сабля с зубчатой, тоже еженедельно освежаемой рукояткой, с небрежно болтающейся золотисто-желтой кисточкой, похожей на еще не раскрывшийся и слегка запыленный цветок подсолнечника, висит на двух гвоздях поперек

стены над никогда не используемым письменным столом.

— Если бы не появилась ты, — говорит отец матери, — я выдержал бы экзамен и был бы теперь капитаном интендантства.

В день рождения императора почтовый служитель Демант надевает свой чиновничий мундир, треуголку и шпагу. В этот день он не играет в тарок. Каждый год, в день рождения императора, он решает начать новую жизнь, жизнь без долгов. Он напивается. Возвращается домой поздно ночью, вытаскивает в кухне свою шпагу и начинает командовать целым полком. Горшки — у него взводы, чайные чашки — отряды, тарелки — роты. Симон Демант — полковник, полковник на службе Франца Иосифа I. Мать, в кружевном чепце, в сборчатой нижней юбке и развевающейся кофточке, встает с постели, чтобы утихомирить мужа.

Однажды, через день после рождения императора, отца в постели хватил удар. У него была легкая кончина и блестящие похороны. Все почтальоны шли за гробом. И в преданной памяти вдовы покойный остался образцовым супругом, умершим на службе императора и императорско-королевской почты. Обе формы, форма

унтер-офицера и форма почтового служителя, все еще рядом висели в шкафу, сохраняемые вдовой при помощи щетки, камфары и нафталина. Они походили на мумии, и, когда бы ни отворялся шкаф, сыну казалось, что он видит два трупа покойного отца.

Любой ценой надо было сделаться врачом. Приходилось давать уроки за несчастные шесть крон в месяц. Ходить в дырявых сапогах. В дождливые дни оставлять на добротных, натертых полах богатых домов мокрые и непомерно большие следы (когда подошвы продраны, ноги кажутся больше). И наконец сдать государственные экзамены. И вот он врач. Нищета все еще заслоняла собой будущее — черная стена, о которую все разбивалось. Пришлось без дальнейших околичностей броситься в объятия армии. Семь лет еды, семь лет питья, семь лет одежды, семь лет крова, семь, семь долгих лет! Он стал военным врачом. И остался им…

Жизнь, казалось, бежала быстрее, чем мысли. И прежде чем было принято решение, подошла старость.

И женитьба на фрейлейн Еве Кнопфмахер…

Здесь полковой врач, доктор Демант, еще раз оборвал ход своих воспоминаний. Он отправился

домой.

Вечер уже наступил, непривычно торжественный свет лился из всех комнат.

— Старый барин приехал, — сообщил денщик. Старый барин: это был его тесть, господин Кнопфмахер.

Он выходил в этот момент из ванной комнаты, в длинном мохнатом халате в цветочках, с бритвой в руках, с весело раскрасневшимися, свежевыбритыми и надушенными щеками, далеко отстоявшими друг от дружки. Его лицо как бы распадалось на две половины. И держалось только благодаря серой остроконечной бородке.

— Мой милый Макс! — произнес господин Кнопфмахер, бережно положил бритву на столик и растопырил руки, предоставив халату распахнуться. Они обнялись, два раза бегло поцеловались и вместе пошли в кабинет.

— Я выпил бы водочки, — заявил господин Кнопфмахер. Доктор Демант открыл шкафчик, посмотрел с минуту на бутылки и обернулся к тестю.

— Я не могу выбрать, — проговорил он, — не знаю, что тебе придется по вкусу.

Он заказывал себе набор алкогольных напитков, подобно тому, как невежда заказывает

библиотеку.

— Ты, видно, все еще не пьешь, — заметил господин Кнопфмахер. — Нет ли у тебя сливянки, арака, рома, коньяку, горькой настойки, водки? — спросил он так быстро, что это даже не гармонировало с его достоинством. Он поднялся, подошел (полы его халата развевались) к шкафу и уверенным движением выбрал бутылку.

— Я хотел сделать Еве сюрприз, — начал господин Кнопфмахер, — и должен тебе сейчас же сказать, мой милый Макс, тебя весь день не было, но вместо тебя… — Он сделал паузу и повторил: — вместо тебя я застал здесь одного лейтенанта, и преглупого.

— Это единственный друг, — возразил Макс Демант, — которого я приобрел за все время моей службы. Это лейтенант Тротта, прекрасный человек!

— Прекрасный человек! — повторил тесть. — Я тоже прекрасный человек. Но не советовал бы тебе оставлять меня даже на час наедине с хорошенькой женщиной, если ты хоть вот столько в ней заинтересован! — Кнопфмахер сложил кончики большого и указательного пальцев и немного спустя повторил: — Хоть вот столько.

Полковой врач побледнел. Он снял очки и долго

протирал их. Таким образом он окутывал весь окружающий мир благодетельным туманом, в котором и тесть в своем купальном халате казался неясным, хотя и весьма пространным белым пятном. Когда они были протерты, он не сразу надел их, а держал некоторое время в руке и наконец бросил в туман слова:

— У меня нет никаких оснований, милый папа, не доверять Еве или моему другу.

Полковой врач говорил нерешительно. Эти слова для него самого прозвучали совсем чуждым оборотом речи, заимствованным из какой-то давнишней книги или услышанным в давно забытой пьесе.

Он надел очки, и старый Кнопфмахер, с ясно видимыми объемом и очертаниями, немедленно приблизился к нему. Теперь оборот, которым он воспользовался, показался еще более далеким. В нем безусловно не было правды. Полковой врач знал это так же хорошо, как и его тесть.

— Никаких оснований! — повторил господин Кнопфмахер. — Но у меня есть основания! Я знаю свою дочь! А ты не знаешь своей жены! Господ лейтенантов я тоже знаю! И вообще мужчин! Не хочу ничего дурного говорить об армии. Не будем отклоняться. Когда моя жена, твоя теща, была

еще молода, у меня были случаи ознакомиться с молодыми людьми, штатскими и военными. Да, смешные вы люди, вы, вы…

Он искал какого-нибудь общего обозначения ему самому не так-то уж хорошо известной породы, к которой принадлежал его зять и другие дураки. Больше всего ему хотелось бы сказать: «Вы, люди с университетским образованием». Ибо он сделался смышленым, благосостоятельным и почитаемым, не получив такового. Как раз в эти дни ему собирались пожаловать титул коммерции советника. С будущим он связывал сладостные мечты, мечты о денежных пожертвованиях, крупных денежных пожертвованиях, непосредственным результатом которых должно было явиться дворянство. Если, например, перейти в венгерское подданство, можно и еще скорей сделаться дворянином. В Будапеште людям не затрудняют жизнь. Университанты же вообще склонны ее затруднять: все они дураки и фантазеры. Собственный зять и то затрудняет его. Если теперь разразится какой-нибудь скандал с его детьми, придется еще долго дожидаться титула коммерции советника! За всем надо следить самому, чтобы все шло правильно, за всем присматривать самолично! Добродетелью чужих

жен тоже приходится интересоваться.

— Мне хотелось бы, милый Макс, пока еще не слишком поздно, вывести все на чистую воду.

Полковой врач не любил этого выражения, он не любил слышать правду, купленную любой ценой. Ах, он знал свою жену так же хорошо, как господин Кнопфмахер свою дочь! Но он любил ее — что тут поделаешь! Он любил ее. В Ольмютце у нее был окружной комиссар Гердаль, в Граце — окружной судья Ледерер. Если это не были его однокашники, полковой врач уж и за то был благодарен богу и жене. О, если б можно было выйти из армии! Здесь тебе постоянно грозит смертельная опасность. Как часто он уже приступал к тому, чтобы предложить тестю… Он попытался еще раз.

— Я знаю, — сказал он, — что Ева находится в опасности. Всегда. В течение многих лет. Она легкомысленна, к сожалению. Но она не доводит дела до крайности. — Он остановился и повторил: — Не доводит до крайности! — Он убивал этим словом все свои сомнения, уже много лет не дававшие ему покоя. Выкорчевывал свою неуверенность и убеждался, что жена его не обманывает. — Ни в коем случае, — еще раз громко повторил он. Он приобрел полную уве-

ренность: — Ева порядочный человек, несмотря ни на что!

— Несомненно! — поддержал его тесть.

— Но такая жизнь, — продолжал полковой врач, — долго мы ее уже оба не вынесем. Меня эта профессия совершенно не удовлетворяет, как тебе известно. Чего бы я только ни добился, если бы не военная служба! Я занимал бы превосходное положение в свете, и честолюбие Евы было бы удовлетворено. А она честолюбива, к сожалению!

— Это у нее от меня, — не без удовольствия заметил господин Кнопфмахер.

— Она недовольна, — продолжал полковой доктор, покуда его тесть наполнял следующий стаканчик, — она недовольна и старается развлечься. Я не могу ее за это винить!

— Ты должен сам развлекать ее! — вставил тесть.

— Я… — Доктор Демант не мог найти нужного слова, помолчал с минуту и взглянул на водку.

— Ну, выпей же наконец, — поощрительно сказал господин Кнопфмахер. Он встал, принес стаканчик и наполнил его; халат распахнулся, и доктор Демант увидел его волосатую грудь и веселый живот, такой же розовый, как его щеки.

Он поднес налитый стаканчик к губам зятя. Макс Демант выпил.

— Есть и еще одна причина, вынуждающая меня оставить армию. Когда я вступил в полк, с глазами у меня все обстояло еще благополучно. Теперь они с каждым годом становятся хуже. Теперь я… теперь я не могу… теперь для меня невозможно ясно видеть что-нибудь без очков. И мне, собственно, следовало бы об этом сообщить по начальству и выйти в отставку.

— Да? — спросил господин Кнопфмахер.

— Но с чего…

— С чего жить? — Тесть закинул одну ногу на другую, его сразу пробрал холод. Он запахнулся поплотнее в халат, руками придерживая воротник. — Да, — сказал он, — и ты думаешь, я смогу это осилить. С тех пор как вы поженились, я выплачиваю вам (случайно мне это известно точно) триста крон в месяц. Но я уж знаю, знаю! Еве нужно много. И если вы начнете новую жизнь, ей нужно будет не меньше. И тебе тоже, мой сын! — Он становился нежным. — Да, мой милый, милый Макс! Дела теперь идут не так хорошо как прежде!

Макс молчал. Господин Кнопфмахер почувствовал, что отразил нападение, и перестал кутаться в

халат. Он выпил еще стаканчик. Его голова умела оставаться ясной. Он знал себя. Вот дуралей! И все же этот зять лучше того, Германа, мужа Елизабет. Шестьсот крон в месяц обходились ему дочери! Он «случайно» знал это совершенно точно. Если полковому врачу суждено ослепнуть — он внимательно посмотрел на его поблескивавшие очки… Пусть следит за своей женой! Для этого не надо быть дальнозорким!

— Который час? — спросил он очень дружелюбно и очень невинно.

— Скоро семь! — ответил доктор.

— Пойду одеваться! — решил тесть. Он поднялся, кивнул и медленно, с достоинством направился к двери.

Полковой врач остался сидеть. После знакомого одиночества кладбища, одиночество в его собственном доме казалось ему огромным, непривычным, почти враждебным. Впервые в жизни он сам налил себе водки. Похоже было на то, что он и пьет впервые в жизни. «Навести порядок, — подумал он, — надо навести порядок». Он решился переговорить с женой и вышел в коридор.

— Где моя жена?

— В спальне! — отвечал денщик.

«Постучаться?» — спросил себя доктор. Нет, повелело его железное сердце. Он нажал ручку и вошел. Его жена в голубых штанишках с большой розовато-красной пуховкой в руке стояла перед зеркальным шкафом.

— Ах! — вскрикнула она и прикрыла рукой грудь. Полковой врач остался стоять в дверях. — Это ты? — спросила жена. Вопрос ее прозвучал как зевок.

— Это я, — твердым голосом ответил доктор. Ему казалось, что говорит кто-то другой. Очки были у него на носу, но слова он бросал в туман.

— Твой отец, — начал он, — сказал мне, что здесь был лейтенант Тротта!

Она обернулась. В голубых штанишках с пуховкой в правой руке, как оружие обращенной на мужа, она прошептала:

— Твой друг Тротта был здесь! Приехал папа? Ты уже виделся с ним?

— Именно поэтому я… — сказал полковой доктор и понял, что его игра проиграна.

С минуту все было тихо.

— Почему ты не стучишься?

— Я хотел тебя обрадовать!

— Ты меня напугал!

— Я… — начал доктор. Он хотел сказать: «Я твой

муж». Но сказал: — Я люблю тебя!

Он действительно любил ее. Она стояла перед ним в голубых штанишках с розовато-красной пуховкой в руке. И он любил ее…

«Я ревнив», — думал он. И проговорил:

— Я не люблю, когда у нас в доме бывают люди, а я ничего об этом не знаю!

— Он славный малый, — заметила жена и стала медленно и тщательно пудриться перед зеркалом.

Полковой врач близко подошел к ней и взял ее за плечи. Он взглянул в зеркало. И увидел свои коричневые волосатые руки на ее белых плечах. Она улыбалась. В зеркале он видел стеклянное эхо ее улыбки…

— Скажи правду, — взмолился он. Казалось, что и его руки, лежащие на ее плечах, умоляли коленопреклоненно. Он тотчас же понял, что она не скажет правды. И повторил: — Скажи мне правду! — Он видел, как она проворными, бледными руками взбивала волосы на висках. Излишнее движение: оно взволновало его. Из зеркала на него упал ее взгляд — серый, холодный, сухой и быстрый, взгляд, как стальное копье. «Я люблю ее, — думал полковой врач. — Она причиняет мне страданья, а я люблю ее». Он спросил: — Ты

сердишься, что я весь день не был дома?

Она полуобернулась к нему. Теперь она сидела, повернув в бедрах верхнюю часть туловища — неживое существо, модель из воска и шелкового белья. Из-под завесы ее длинных черных ресниц показались светлые глаза, фальшивые, поддельные молнии из льда. Узкие руки лежали на штанишках, как белые птицы, вышитые по голубому шелку. И низким голосом, какого он, как ему казалось, никогда не слышал, голосом, словно выходившим из какого — то механизма в ее груди, она медленно произнесла:

— Я никогда не скучаю по тебе!

Он стал ходить взад и вперед, не глядя на жену. Отодвинул два стула, преграждавших ему дорогу. У него было чувство, что ему нужно многое убрать со своей дороги и, быть может, сдвинуть стены, разбить головой потолок, ногами втоптать пол в землю. Звяканье шпор отдавалось у него в ушах, оно шло издалека, словно они были надеты на ком-то другом. Одно-единственное слово жило у него в голове, шныряло взад и вперед, проносилось через его мозг беспрерывно: «Конец, конец, конец!» Маленькое слово. Юркое, легкое, как перышко, и в то же время весящее много центнеров. Его шаги становились все быстрее, ноги держали

один ритм с этим словом, раскачивавшимся, как маятник, в его голове. Внезапно он остановился.

— Ты, значит, меня не любишь? — спросил он. Он был уверен, что она не ответит на это. Смолчит. Она ответила:

— Нет! — приподняла черную завесу своих ресниц, смерила его с головы до ног обнаженным, ужасно обнаженным взглядом и добавила: — Ты пьян.

Он понял, что выпил слишком много. И удовлетворенно подумал: «Я пьян, да, и хочу быть пьяным». И произнес чужим голосом, словно обязан был быть пьяным и невменяемым:

— Ага, так!

Согласно его смутным представлениям, это были слова, которые в такой момент должен был процедить пьяный. Он так и поступил. И сделал все остальное:

— Я убью тебя, — медленно проговорил он.

— Убей меня! — прощебетала она своим прежним, звон — ким, привычным голосом. Она встала. Встала проворно и легко, держа пуховку в правой руке. Стремительный взлет ее шелковых ног чем-то напомнил ему составные конечности в витринах модных лавок. Вся женщина была составлена, составлена из отдельных частей.

Он больше не любил ее, он больше не любил ее. Он был преисполнен неприязни, которую сам ненавидел, злобой, которая, как неведомый враг, пришла из далеких краев и теперь поселилась в его сердце. Он произнес вслух то, что думал час назад:

— Навести порядок! Я наведу порядок.

Она рассмеялась полнозвучным голосом, которого он не знал. «Как на сцене», — мелькнуло у него в голове. Непреодолимое стремление доказать ей, что он может навести порядок, напрягло его мускулы, придало слабым глазам небывалую зоркость. Он сказал:

— Оставляю тебя с твоим отцом! Я пойду разыщу Тротта!

— Иди, иди, иди! — сказала жена.

Он ушел. Прежде чем оставить дом, он вернулся в кабинет выпить водки. Он вернулся к алкоголю, как к закадычному другу, — впервые в жизни. Налил себе стаканчик, еще один, третий. Звенящими шагами вышел из дому. Он отправился в казино. И там спросил денщика:

— Где лейтенант Тротта?

Лейтенанта Тротта в казино не было.

Полковой врач повернул на прямую, как нитка, улицу, ведущую к казарме. Луна уже была на

ущербе. Но светила еще серебряно и ярко, почти как полная.

Ничто не шелохнулось на тихой улице. Сухие ветки обнаженных каштанов рисовали мудреную сетку на чуть выпуклой мостовой. Резко и холодно звучали шаги доктора Деманта. Он шел к лейтенанту Тротта. Вдали, в голубоватой белизне, он видел мощную стену казармы и шел прямо на нее, на эту неприятельскую крепость. Навстречу ему понесся холодный, жестяный звук отбоя. Доктор Демант прямиком надвигался на замороженные, металлические звуки. Скоро, каждое мгновение мог появиться лейтенант Тротта. И действительно, темное пятно отделилось от мощной белизны казармы и двинулось ему навстречу. Лейтенант отдал честь. Доктор Демант, как из бесконечной дали, услышал свой голос:

— Вы были сегодня днем у моей жены, господин лейтенант?

Вопрос отдался в синем стеклянном своде неба.

Давно уже, несколько недель, говорили они друг другу «ты». Но теперь стояли лицом к лицу как враги.

— Я был сегодня днем у вашей жены, господин полковой врач, — сказал лейтенант.

Доктор Демант подошел вплотную к лейтенанту.

— Что у вас с моей женой? — Толстые стекла докторских очков сверкали. У него больше не было глаз, только очки.

Карл Йозеф молчал. Казалось, что во всем обширном белом свете не существовало ответа на вопрос доктора Деманта. Десятки лет можно было напрасно дожидаться ответа, словно язык людей исчерпался и высох на веки веков. Сердце колотилось о ребра частыми, сухими, жесткими ударами. Сухой и жесткий, прилипал язык к гортани. Из оледеневшей стеклянной дали послышались слова доктора Деманта:

— Отвечайте, господин лейтенант!

Лейтенант щелкает каблуками (по привычке, а также чтобы услышать какой-нибудь звук), и звон шпор успокаивает его. Он говорит совсем тихо:

— Господин полковой врач, между вашей женой и мною ничего нет!

«Он сошел с ума! — думает лейтенант и: — Разбито!» Что-то разбито. Кажется, он слышит сухой звук разлетающихся осколков. Разбитая верность! — приходит ему в голову, он где-то читал эту фразу. Разбитая дружба! Да, это разбитая

дружба.

Внезапно он понимает, что полковой врач уже много недель его друг; его друг! Они виделись ежедневно. Однажды он с полковым врачом гулял по кладбищу между могилами. «Так много на свете мертвых, — сказал полковой врач. — Разве ты тоже не чувствуешь, что можно жить мертвыми?» — «Я живу дедом», — отвечал Тротта. Он представил себе портрет героя Сольферино, меркнувший под сводом отчего дома. Да, что-то братское звучало в словах доктора. «Мой дед, — говорил полковой врач, — был старым, рослым евреем с седой бородой!» И Карл Йозеф видел старого, рослого еврея с седой бородой. Они оба были внуками. Когда полковой врач сидит на лошади, он выглядит немного смешным, маленький, он кажется еще миниатюрнее, и лошадь несет его на спине, как мешочек с овсом. Так же скверно ездит и Карл Йозеф. Он хорошо знает себя. Он видит себя, как в зеркале. Во всем полку имеются только два офицера, за спиной которых перешептываются другие: доктор Демант и внук героя битвы при Сольферино! Их двое во всем полку. Двое друзей.

— Вы даете слово, господин лейтенант? — спрашивает доктор. Тротта, не отвечая, протягивает

ему руку. Доктор говорит: «Спасибо!» — и пожимает эту руку. Они вместе идут по улице обратно, десять шагов, двадцать шагов, не проронив ни единого слова.

Внезапно полковой врач начинает:

— Ты не должен на меня сердиться. Сегодня приехал мой тесть. Он видел тебя. Она меня не любит. Не любит меня. Понимаешь ли ты?.. Ты еще молод, — добавляет он, помолчав, словно пожалев о своих словах. — Ты еще молод.

— Я понимаю, — говорит Карл Йозеф.

Они шагают в ногу, их шпоры звенят, сабли постукивают. Огни города, желтоватые и уютные, кивают им навстречу. Им обоим хочется, чтобы улица не имела конца. Долго, долго хочется им так вот шагать рядом. У каждого из них есть много, что сказать, и оба они молчат. Одно слово, одно слово так легко выговорить. Но оно не выговаривается. «В последний раз, — думает лейтенант, — в последний раз мы идем так вот, рядом».

Они уже подходят к городу: полковому врачу необходимо сказать еще несколько слов, прежде чем они в него войдут.

— Это не из-за моей жены, — говорит он. — Но это уже неважно. С этим я покончил. Это — из-за

тебя. — Он ждет ответа и знает, что ответа не последует. — Все хорошо, благодарю тебя, — быстро добавляет доктор. — Я еще зайду в казино. Ты тоже?

Нет. Лейтенант Тротта сегодня не идет в казино. Он поворачивает назад.

— Спокойной ночи, — говорит он и направляется в казарму.

Глава седьмая

Надвигалась зима. По утрам, когда полк отправлялся на учение, было еще сумрачно. Тонкий покров льда на мостовых раскалывался под копытами лошадей. Серый пар вырывался из их ноздрей и изо ртов всадников. На ножны тяжелых шашек и стволы легких карабинов жемчужинами оседало матовое дыхание мороза. Маленький городок казался еще меньше. Глухие, студеные зовы труб не привлекали никого из обычных зрителей. Только извозчики на старой стоянке каждое утро приподымали свои бородатые головы. Когда снегу наносило много, они выезжали на санях. Бубенчики на упряжи их лошаденок тихонько позвякивали, непрестанно приводимые в движение беспокойным топтанием дрогнущих животных. Дни походили друг на друга, как снежные хлопья. Офицеры уланского полка ждали какого-нибудь из ряда вон выходящего события, которое внесло бы разнообразие в монотонность их дней. Никто, правда, не знал, какого рода будет это событие. Но всем казалось, что эта зима таит какую-то страшную неожиданность в своем льдистом лоне. И в один прекрасный день

она вырвалась наружу, как красная молния из белого снега…

В этот день ротмистр Тайтингер, против обыкновения, не сидел в одиночестве за большой стеклянной дверью кондитерской. Он с полудня торчал здесь, в задней комнатке, окруженный младшими товарищами. Бледнее и худее, чем обычно, казался он сегодня господам офицерам. Впрочем, все они были бледны. Они без конца пили ликер, но их лица не краснели. Есть им ничего не хотелось. Только перед ротмистром сегодня, как и всегда, вздымалась гора сластей. Сегодня он, пожалуй, лакомился ими даже больше, чем в другие дни. Ибо горе снедало и опустошало его внутренности, а надо было поддерживать жизнь. Засовывая своими худыми пальцами одно печенье за другим в широко открытый рот, он уже в пятый раз повторял свой рассказ перед жадно внимающими слушателями.

— Итак, господа, самое главное, это полное молчание! Штатское население ни о чем не должно знать! Когда я еще служил в девятом драгунском, там был один такой болтун, из запасных, разумеется (тяжкая обуза, кстати сказать, эти запасные), и надо же было этой истории случиться, как раз когда он отбывал свой сбор. Как и следовало

ожидать, не успели мы еще схоронить бедного барона Зейделя, а уж весь город знал, отчего он так внезапно скончался. Надеюсь, господа, что на этот раз нам удастся устроить более дискретные… — он хотел сказать «похороны», запнулся, долго думал, не находил нужного слова, смотрел в потолок. Над его головой, как и над головами его слушателей, шуршала жуткая тишина. Наконец ротмистр закончил: —…Устроить все более дискретно. — Он передохнул, проглотил кусочек печенья и одним глотком выпил свою воду.

Все почувствовали, что он накликал смерть. Смерть витала над господами офицерами, а она была им всем еще непривычна. Они родились в мирное время и стали офицерами на мирных маневрах и плацпарадах. Тогда они еще не знали, что каждый из них, без исключения, двумя годами позднее лицом к лицу встретится со смертью. Тогда еще никто из них не обладал достаточно чутким слухом, чтобы уловить шум больших колес тех потайных мельниц, которые уже начинали молоть великую войну. Зимнее, белое и мирное настроение царило в маленьком гарнизоне. И вдруг в сумраке задней комнаты черная и красная прошелестела над ними смерть. «Я не могу этого постичь!» — сказал один из мо-

лодых людей. Пробормотали нечто подобное и остальные.

— Но я ведь рассказываю уже в сотый раз, — возразил Тайтингер. — Странствующая труппа! С этого все и началось! Черт дернул меня пойти в оперетку, на этого, ну, как его там, опять я позабыл название.

— «Щеточник», — подсказал кто-то.

— Правильно! Значит, со «Щеточника» все и началось! Выхожу я из театра и вижу: Тротта, один-одинешенек стоит на снегу посреди площади. Я ушел до конца, как всегда это делаю, господа! Не могу досиживать до конца. Что все кончится хорошо, можно узнать уже по третьему акту. Вот я и выхожу как можно тише из зала. Кроме того, я трижды видел эту вещь! — да-с — итак, значит, стоит этот несчастный Тротта один как перст на снегу. Я говорю: «Премилый спектакль». И заодно рассказываю ему о странном поведении Деманта! Он едва взглянул на меня, во время второго акта ушел, оставив свою жену одну, и больше уже не возвращался! Мог бы оставить жену на мое попечение. Но просто так уйти — это уже граничит со скандалом. Вот все это я и рассказываю Тротта. «Да, говорит он, я уже давно не разговаривал с Демантом»…

— Тротта и Демант были всегда неразлучны! — воскликнул кто-то.

— Отлично знаю, поэтому я и рассказал Тротта о курьезном поведении Деманта. Но я вообще не охотник вмешиваться в чужие дела и потому только предложил Тротта забежать со мной на минутку в кондитерскую. «Нет, — говорит он, — мне еще предстоит свидание». Итак, я удаляюсь. И надо же было, чтобы как раз в этот вечер кондитерская закрылась раньше времени. Судьба, милостивые государи! Я — ну, разумеется, в казино! Ничего не подозревая, рассказываю Таттенбаху и всем, кто там еще был, историю с Демантом и что Тротта назначил свидание посреди площади. Вдруг слышу, Таттенбах свистит. Спрашиваю: «Что ты там насвистываешь?» — «Не имеет значения», — говорит он. «Смотри, скажу я вам, смотри! Наш Тротта с душкой Евой! Наш Тротта с душкой Евой!» — поет он на мотив шансонетки. А я даже не подозреваю, что это за Ева, и уверен, что это та — из рая, наша праматерь — следовательно, воспринимаю все символически и обобщенно. Понятно, милостивые государи?

Все поняли и подтвердили это возгласами и кивками. Они не только поняли рассказ ротмистра, они уже знали его наизусть от начала

до конца. И все же они опять и опять заставляли рассказывать себе все события, ибо в безрассудных тайниках своих сердец уповали, что рассказ ротмистра вдруг примет другой оборот и создаст хотя бы малую надежду на благополучный конец. Они не уставали расспрашивать Тайтингера. Но рассказ звучал все так же. Ни одна, даже самая малая из всех печальных подробностей не изменялась.

— Ну и дальше? — спрашивал кто-нибудь.

— Вы же знаете все остальное! — говорил ротмистр. — В момент, когда мы уже выходили из казино, Таттенбах, Киндерман и я, нам навстречу попался Тротта с фрау Демант. «Обратите внимание, — говорит Таттенбах. — Ведь Тротта, кажется, сказал нам, что у него свидание?» — «Может быть, это случайное совпадение», — говорю я Таттенбаху. Да это и было совпадением, как теперь выяснилось. Фрау Демант вышла из театра одна. Тротта почувствовал себя обязанным проводить ее домой. Ему пришлось пожертвовать своим рандеву. Ничего бы не случилось, поручи мне Демант в антракте свою жену. Ровно ничего!

— Ровно ничего! — подтвердили и все остальные.

— На следующий вечер Таттенбах был в кази-

но, по обыкновению пьяный. И не успел Демант войти, как он поднимается и говорит: «Servus, докторишка!» С этого началось.

— Безобразие! — произносят двое одновременно.

— Конечно, безобразие, но он был пьян! Что с него взять? Я вежливо говорю: «Servus, господин полковой врач!» А Демант голосом, которого я и не подозревал в нем, обращается к Таттенбаху:

— Господин ротмистр, вам известно, что я полковой врач!

— Я бы на вашем месте сидел дома и приглядывал, — говорит Таттенбах, не вставая с кресла. — Да, ведь это был день его именин. Я вам, кажется, уже сказал?

— Нет! — вскричали все в один голос.

— Итак, знайте, это был как раз день его именин! — повторил Тайтингер.

Они жадно ухватились за эту новость. Им стало казаться, что именины Татенбаха смогут сообщить новый, благоприятный оборот этой печальной истории. Каждый прикидывал про себя, какую пользу можно извлечь из «именин Таттенбаха». И маленький граф Штернберг, в голове которого мысли проносились, как одинокая птица в облаках — без собратьев и следов, — тот-

час же с преждевременным ликованием в голосе заявил:

— Но ведь тогда все в порядке! Положение в корне изменилось! Ведь это же был день его именин!

Офицеры посмотрели на маленького Штернберга обалдело и безутешно, все же готовые ухватиться за эту нелепицу. В высшей степени глупо было то, что произнес Штернберг, но разве здесь не за что зацепиться, разве здесь не мелькает надежда на лучший исход? Глухой хохот, которым в ответ разразился Тайтингер, потряс их новым ужасом. С полуоткрытыми ртами, с нечленораздельными звуками на онемевших языках, с широко открытыми, бессмысленными глазами, как бы ослепнув, замерли все те, кто еще минуту назад думал, что слышит обнадеживающее слово, различает проблеск надежды. Тихо и мрачно было все вокруг. Во всем огромном, немом, заснеженном зимнем мире не существовало ничего, кроме уже пять раз повторенного, вечно неизменного рассказа Тайтингера. Он продолжал:

— Итак, я бы на вашем месте лучше сидел дома и приглядывал, — говорит Татгенбах. А доктор, понимаете, как на осмотре, словно Таттенбах его пациент, наклоняется над ним и говорит:

— Господин ротмистр, вы пьяны!

— Я бы на вашем месте приглядывал за женой! — продолжает лопотать Таттенбах. — Наш брат не позволяет своей жене прогуливаться по ночам с лейтенантами.

— Вы пьяны и к тому же подлец! — произносит Демант. Я хотел вскочить, но не успел еще пошевельнуться, как Таттенбах заорал: «Жид, жид, жид!» Восемь раз подряд крикнул он «жид». У меня хватило присутствия духа сосчитать точно.

— Браво! — восклицает маленький Штернберг. Тайтингер кивает ему головой.

— Но у меня хватило духу еще и на то, чтобы скомандовать: «Вестовым удалиться!» Нечего им это слушать, парнягам!

— Браво! — опять воскликнул Штернберг. И все одобрительно закивали.

Снова все стихло. Из кухни кондитерской слышался стук посуды, а с улицы — пронзительный звон бубенчиков. Тайтингер засунул в рот еще одно печенье.

— Плохо дело! — воскликнул маленький Штернберг.

Тайтингер проглотил остаток печенья и сказал просто:

— Завтра, в семь двадцать.

Завтра, в семь двадцать! Они знали условия: стрелять одновременно на десяти шагах расстояния. Дуэль на рапирах в случае с доктором Демантом отпадала. Он не умел фехтовать. Завтра в семь часов полк выйдет для учения на луг. От луга до так называемого «зеленого уголка», за старым дворцом, где состоится дуэль, не более двухсот шагов. Каждый из офицеров знает, что завтра, еще во время гимнастики, услышит два выстрела. Каждый слышал их уже теперь, эти два выстрела. На черных и красных крыльях парила смерть над их головами.

— Получите! — крикнул Тайтингер, и они вышли из кондитерской.

Опять замела метель. Молчаливой темно-синей стайкой шли они по безмолвному белому снегу, по двое и поодиночке. Каждый из них боялся остаться один; но и быть вместе казалось невозможным. Они мечтали разойтись по улочкам крохотного городка, но волей-неволей через несколько минут опять сходились. Кривые улицы сгоняли их в кучу. Они были в плену у маленького города и у своей великой растерянности. И всякий раз, как один встречался с другим, оба пугались, заражая друг друга страхом. Они нетерпеливо ждали часа ужина и в то же время

боялись надвигающегося вечера в казино, где сегодня, уже сегодня, они будут не все в сборе.

И правда, не все собрались там. Не было Таттенбаха, майора Прохазки, доктора, обер-лейтенанта Цандера и лейтенанта Криста — вообще всех секундантов. Тайтингер ничего не ел. Он сидел за шахматами и играл сам с собой. Никто не болтал, как обычно. Вестовые безмолвно и неподвижно стояли у дверей, слышно было медленное, суровое тиканье больших часов. Никто не осмеливался уйти один, но не смел позвать другого. Так они и оставались сидеть, каждый на своем месте. Там, где разместились по двое или по трое, слова падали с уст единичными тяжелыми каплями и между словом и ответом тяготела долгая тишина. Каждый, как бремя на своих плечах, ощущал эту тишину.

Они думали о тех, кого здесь не было, словно отсутствующие были уже мертвецами. Всем вспоминалось появление доктора Деманта несколько недель назад, по его возвращении из отпуска. Они видели его неуверенную походку и блестящие очки. Они видели графа Таттенбаха, его приземистое, полное туловище на кривых кавалерийских ногах, всегда красный череп с белокурыми волосами, коротко остриженными и разделенными

посередине пробором, его маленькие, светлые глаза с красноватыми веками. Им слышался тихий голос доктора и крикливый ротмистра. И хотя их сердцам и чувствам с тех самых пор, как они начали думать и чувствовать, были ведомы слова: честь и гибель, стрелять и биться, смерть и могила, — сегодня им казалось непостижимым, что для них, может быть, навеки замолк крикливый голос ротмистра и ласковый говорок доктора. Каждый раз, как слышался тоскливый бой часов, им казалось, что пробил их собственный час. Они не хотели верить своим ушам и взглядывали на стену. Сомнения нет: время не останавливается. Семь двадцать, семь двадцать, семь двадцать — стучало у них в мозгу.

Они поднялись, один за другим, конфузливо и нерешительно; им чудилось, что, расставаясь, они предают друг друга. Вышли они почти бесшумно. Их шпоры не звенели, сабли не стучали, подошвы глухо ступали по глухому полу. Еще до полуночи казино опустело. И за четверть часа до полуночи обер-лейтенант Шлегель и лейтенант Киндерман вошли в казарму, где они жили. Из первого этажа — там были расположены офицерские комнаты — единственное освещенное окно отбрасывало желтый прямоугольник в квадрат-

ный мрак двора. Оба одновременно взглянули наверх.

— Это Тротта! — сказал Киндерман.

— Это Тротта! — повторил Шлегель.

— Нам следовало бы заглянуть к нему!

— Ему это будет неприятно!

Они со звоном прошли по коридору, замедлили шаги у двери лейтенанта Тротта и прислушались. Ни звука. Обер-лейтенант Шлегель схватился за ручку, но не нажал ее. Он отнял руку, и они удалились. Затем кивнули друг другу и разошлись по своим комнатам.

Лейтенант Тротта и вправду не слышал их. Уже четыре часа силился он написать подробное письмо отцу, но дальше первых строчек дело не шло. «Милый отец! — так начиналось письмо. — Я невольно и невинно послужил причиной трагического дела чести». Его рука тяжелела; как мертвый, бесполезный инструмент, парило перо над бумагой. Это письмо было первым трудным письмом в его жизни. Лейтенанту казалось невозможным дождаться исхода дела и лишь тогда написать окружному начальнику. Со времени той злосчастной ссоры между Таттенбахом и Де — мантом он со дня на день откладывал письмо. Не отослать его сегодня было немыслимо. Еще

сегодня, перед дуэлью. Как поступил бы герой Сольферино в подобном положении? Карл Йозеф ощущал повелительный взгляд деда на своем затылке. Герой Сольферино предписывал робкому внуку смелую решительность и храбрость. Нужно было писать, немедленно, не вставая с места. Более того, вероятно, нужно было поехать к отцу. Между почившим героем Сольферино и растерянным внуком стоял отец, окружной начальник, блюститель чести, хранитель семейных заветов. В жилах окружного начальника струилась живая и алая кровь героя Сольферино. Вовремя не сообщить обо всем отцу — значило таиться от деда.

Это письмо страшным образом обрывало длинный ряд еженедельных, всегда одинаково звучащих отчетов, которые сыновья в семействе Тротта писали своим отцам. Кровавое письмо! И его необходимо написать.

Лейтенант продолжал: «Я совершил невинную прогулку, правда, это было около полуночи, с женой нашего полкового врача. Обстоятельства не позволили мне уклониться от нее. Товарищи видели нас. Ротмистр Таттенбах, который, к сожалению, слишком часто напивается, позволил себе гнусный, оскорбительный для доктора намек. Завтра в семь часов двадцать минут утра они стреляются. Мне, по-видимому, придется вызвать Таттенбаха, если он, как я надеюсь, останется жив. Условия дуэли очень тяжелые.

Твой преданный сын
Карл Йозеф Тротта, лейтенант.

P. S. Возможно, что мне придется выйти из полка».

Теперь лейтенанту казалось, что самое трудное позади.

Но когда он случайно взглянул вверх, на затемненные своды, ему вспомнилось наставительное лицо деда. Рядом с героем Сольферино ему почудился и белобородый лик еврейского шинкаря, внуком которого был полковой врач, доктор Демант. И ему показалось, что мертвецы призывали живых и что уже завтра, в семь двадцать, он сам пойдет на дуэль. Выйти на дуэль и пасть. Пасть!

Умереть!

В те давно прошедшие воскресные дни, когда Карл Йозеф стоял на отцовском балконе, а военный оркестр капельмейстера Нехваля играл марш Радецкого, умереть казалось пустяком. Питомцу императорско-королевского кавалерийского кадетского корпуса смерть была с детства привычным представлением. Но то была очень далекая смерть! Завтра утром, в семь двадцать, смерть ждала друга — доктора Деманта. Послезавтра, или через несколько дней, лейтенанта Карла Йозефа фон Тротга. О ужас, о мрак! Вызвать ее черное прибытие и под конец стать ее жертвой! А если сам не станешь ее жертвой, сколько мертвых тел еще будут лежать на твоем пути? Как верстовые столбы на путях других, стоят надгробные камни на пути Тротта! Он, наверное, больше не увидит друга, как никогда больше не увидел Катерины. Никогда! Перед глазами Карла Йозефа это слово расстилалось без берегов и без границ, мертвое море глухой вечности. Маленький лейтенант сжал слабый белый кулак перед большим черным законом, который катил гробовые камни, не преграждая пути этого неумолимого «никогда», не желая прояснить вечный сумрак. Он сжал кулак, подошел к окну, чтобы погрозить

небу. Но только поднял глаза. Он увидел холодное мерцание зимних звезд, вспомнил ночь, когда в последний раз шел с доктором Демантом из казармы в город.

Внезапно его охватила тоска по другу и надежда на возможность еще спасти его! Было час двадцать минут. Шесть часов жизни еще наверняка предстояли доктору, шесть долгих часов. Этот срок показался теперь лейтенанту почти таким же огромным, как раньше безбрежная вечность. Он бросился к вешалке, опоясался саблей, накинул шинель, пробежал по коридору, почти слетел вниз по лестнице, промчался по темному четырехугольнику двора к воротам, мимо караула, пустился бежать по улице, в десять минут достиг городка и, минутой позднее, единственного извозчика, одиноко дежурившего в ночи, вскочил в сани и, под вселяющий надежду звон колокольчика, понесся на южную окраину города, к дому доктора. За забором спал домик со слепыми окнами. Тротта нажал звонок. Все оставалось недвижно. Он выкрикнул имя доктора Деманта. Ничто не шевелилось. Он подождал. Велел кучеру пощелкать кнутом. Никто не отзывался.

Если б дело шло о графе Таттенбахе, его найти было бы нетрудно. В ночь перед дуэлью он, веро-

ятно, сидел у Рези и пил за собственное здоровье. Но угадать, где был теперь Демант, невозможно. Может быть, полковой врач бродит по улицам города. Может быть, ходит меж знакомых могил, уже выискивая свою. «На кладбище!» — приказал лейтенант испуганному вознице. Неподалеку отсюда находились оба кладбища. Сани остановились перед старинной оградой с запертой калиткой. Тротта вылез. Подошел к решетке. Следуя безумной мысли, приведшей его сюда, сложил руки трубой и выкрикнул в направлении могил чужим голосом, как вой выходившим из его сердца, имя доктора Деманта. Пока он кричал, ему казалось, что он зовет уже мертвого, а не живого; ему стало страшно, и он начал дрожать, как один из мокрых кладбищенских кустов, над которым теперь свистела ночная пурга.

Возницу на козлах саней охватил ужас перед своим седоком. В простоте душевной он подумал, что офицер — призрак или сумасшедший. Но он также боялся подхлестнуть лошадь и уехать. Его зубы стучали, сердце громко билось под толстым кошачьим мехом.

— Садитесь же, господин офицер, — взмолился он.

Лейтенант повиновался.

— Обратно в город, — приказал Карл Йозеф. В городе он вылез из саней и добросовестно обегал все искривленные улочки и крохотные площади. Жестяные мелодии музыкального автомата, задребезжавшего где-то в ночной тишине, показались ему неким подобием цели; он поспешил навстречу металлическому звуку. Этот звук выбивался из слабо освещенной двери трактира, расположенного неподалеку от заведения фрау Рези, трактира, часто посещаемого рядовыми, в котором офицеру появляться считалось зазорным. Лейтенант приблизился к ярко освещенному окну и поверх красной занавески заглянул в шинок. Он увидел стойку и тощего хозяина в одной жилетке. За одним из столов трое мужчин, тоже в жилетках, играли в карты. За другим сидел капрал с девушкой; перед ними стояли кружки с пивом. В углу одиноко сидел какой-то человек, в руках у него был карандаш. Он склонился над листом бумаги, что-то записывая, отрывался от письма, тянул из стаканчика и смотрел куда-то вверх. Внезапно он уставился стеклами своих очков на окно. Карл Йозеф узнал его. Это был доктор Демант в штатском.

Карл Йозеф постучал в стеклянную дверь. Появился хозяин. Лейтенант попросил его вызвать

одинокого господина. Полковой врач вышел на улицу.

— Это я, Тротта! — воскликнул лейтенант и протянул руку.

— Ты отыскал меня? — удивился доктор. Он говорил так же тихо, но отчетливее, чем обыкновенно. Так, по крайней мере, казалось лейтенанту, ибо тихие слова доктора каким-то непонятным образом заглушали грохот музыкального автомата. Тротта впервые видел его в штатском. Знакомый голос доносился до лейтенанта, как привет с родины. Чем более чуждым казался Демант, тем роднее звучал его голос. Все ужасы этой ночи, смущавшие душу лейтенанта, рассеялись теперь при звуках дружеского голоса, которого Карл Йозеф давно не слышал и по которому тосковал. Да, тосковал, теперь он знал это. Музыкальный автомат перестал греметь. Время от времени слышалось, как взвывает ночной ветер, и снежная пыль, которую он поднимал, колола лицо. Лейтенант еще на шаг приблизился к доктору. «Ты не должен умереть!» — хотел он сказать. Его мозг пронзила мысль, что доктор Демант без пальто стоит перед ним, в мороз, на ветру. «Когда человек в штатском, это не сразу заметно», — подумал он. И ласково сказал:

— Ты еще, пожалуй, простудишься!

На лице доктора Деманта тотчас же засветилась прежняя, хорошо знакомая улыбка, слегка морщившая губы и чуть-чуть приподымавшая черные усы. Карл Йозеф вспыхнул. «Он ведь больше вообще не может простудиться», — подумал лейтенант. И тут же услышал мягкий голос доктора Деманта:

— У меня больше нет времени хворать, друг мой.

Он умел говорить, улыбаясь. Сквозь знакомую улыбку проходили слова доктора, она же оставалась неизменной.

— Но все-таки войдем, — предложил Демант. Он стоял черной, неподвижной тенью на фоне слабо освещенной двери и отбрасывал вторую, более бледную, на заснеженную улицу. На его черных волосах лежала серебряная снежная пыль, слабо освещенная проникавшим из шинка светом. Тротта казалось, что над головой доктора уже реет сияние небес. Лейтенант почти готов был повернуться и уйти. «Спокойной ночи!» — хотелось ему сказать и быстро удалиться…

— Войдем же! — повторил доктор. — Я спрошу, можно ли тебе пройти незамеченным.

Он ушел, оставив Тротта на улице. Затем вер-

нулся вместе с хозяином. Миновав сени, они вышли в кухню трактира.

— Тебя здесь знают? — спросил Тротта.

— Я иногда прихожу сюда, — отвечал доктор, — вернее, приходил!

Карл Йозеф взглянул на него.

— Ты удивлен? У меня были свои привычки, — добавил доктор.

«Почему он говорит: были? — подумал лейтенант и вспомнил, что в школе на уроках немецкого языка это называлось “прошедшим совершенным”. — Были? Почему он сказал: были?»

Хозяин внес в кухню столик и два стула, зажег зеленоватую газовую лампу и удалился. В трактирной зале снова загрохотал музыкальный автомат; теперь это было попурри из известных маршей, среди которых, через определенные промежутки времени, звучали первые барабанные такты марша Радецкого, правда, сильно искаженные посторонними хрипами. В зеленоватой тени, отбрасываемой абажуром на выбеленные стены кухни, между двух гигантских сковородок из красной меди вырисовывался знакомый портрет коронованного шефа в белом, как цвет яблони, мундире. Белое одеяние императора, густо засиженное мухами, казалось пробитым

бесчисленными дробинками, да и глаза Франца Иосифа I, выдержанные и на этом портрете в само собой разумеющихся фарфорово-голубых тонах, здесь, в тени абажура, выглядели потухшими. Доктор вытянутым пальцем указал на императорский портрет.

— Еще год тому назад он висел в трактирной зале! — сказал он. — Теперь у хозяина прошла охота доказывать, что он лояльный верноподданный!

Автомат смолк. В то же мгновение послышались два жестких удара стенных часов.

— Уже два! — сказал лейтенант.

— Еще пять часов! — возразил полковой врач. Трактирщик принес сливянку.

«Семь двадцать!» — стучало в мозгу лейтенанта.

Он потянулся к стаканчику, поднял его в руке и громким, заученным голосом, которым обычно выкрикиваются команды, произнес:

— За твое здоровье! Ты должен жить!

— За легкую смерть! — поправил доктор и осушил стакан, тогда как Карл Йозеф свой поставил обратно на стол нетронутым.

— Эта смерть — бессмыслица! — продолжал доктор. — Такая же бессмыслица, какой была моя жизнь!

— Я не хочу, чтобы ты умирал! — закричал лейтенант и топнул ногой о каменную плиту пола. — И я тоже не хочу умирать! И моя жизнь бессмыслица!

— Спокойнее! — сказал доктор Демант. — Ты внук героя Сольферино. Он едва не умер такой же бессмысленной смертью, хотя, конечно, это не одно и то же: идти на смерть с такой верой, как он, или с таким малодушием, как мы оба.

Он замолчал.

— Да, мы оба, — продолжал он немного спустя, — наши деды оставили нам не много сил — слишком мало сил для жизни. Их может хватить разве на то, чтобы бессмысленно умереть. Ах, — доктор отодвинул от себя стаканчик так, словно далеко отодвигал весь мир и заодно своего друга. — Ах! Я устал, давно уже устал! Завтра я умру геройской смертью, так называемой геройской смертью, вопреки моим убеждениям, вопреки убеждениям моих отцов, моего племени и противно воле моего деда. В больших старинных книгах, которые он читал, сказано: «Поднявший руку на себе подобного — убийца». Завтра человек подымет на меня пистолет, а я подыму пистолет на него. Я буду убийцей. Но я близорук. Я не стану целиться. При мне останется

моя маленькая месть. Когда я снимаю очки, я ничего не вижу, ровно ничего. И я буду стрелять, не видя! Так будет естественнее, честнее, так будет самое лучшее!

До лейтенанта Тротта не вполне доходило то, что говорил доктор. Голос друга был ему знаком, и после того как он привык к его штатскому платью, фигура и лицо — также. Тротта напрягал свой мозг, как некогда в кадетском корпусе на уроках тригонометрии, но понимал все меньше и меньше. Он только чувствовал, как его наивная вера в возможность еще все спасти постепенно тускнеет, как его надежда медленно догорает, превращаясь в белую невесомую золу. Сердце лейтенанта стучало так громко, как пустые жестяные удары стенных часов. Он не понимал своего друга. К тому же он, вероятно, пришел слишком поздно. Ему еще многое надо было сказать. Но его язык тяжело ворочался во рту, нагруженный непосильной тяжестью. Он пошевелил губами. Они запеклись и тихонько дрожали, ему с трудом удалось снова сжать их.

— У тебя, видимо, жар! — заметил полковой врач, точно таким тоном, каким он говорил с пациентами. Он постучал о стол. Вошел трактирщик с полными стаканами. — А ты еще не выпил

и первого!

Тротта покорно осушил первый стакан.

— Я слишком поздно открыл алкоголь. Жаль! — произнес доктор. — Ты не поверишь, но мне досадно, что я никогда не пил.

Лейтенант сделал чудовищное усилие, поднял глаза и несколько секунд, не отрываясь, смотрел в лицо доктору. Он поднял второй стакан, стакан был тяжел, рука лейтенанта дрожала, и несколько капель пролилось на стол. Затем он залпом осушил его; злоба вскипела в его груди, ударила в голову, нагнала краску на его лицо.

— Итак, я ухожу! — сказал он. — Я не могу переносить твоих шуток. Я был так рад, что нашел тебя. Я был у тебя дома. Звонил. Поехал на кладбище. Я кричал твое имя у ворот, как сумасшедший. Я…

Он остановился. В его трепещущих губах формировались беззвучные глухие слова. Внезапно его глаза наполнились теплой влагой и громкий стон вырвался из его груди. Ему хотелось вскочить и убежать, ибо он стыдился. «Я ведь плачу! — думал он, — я плачу!» Он чувствовал себя беспомощным, совершенно беспомощным перед лицом той непостижимой силы, которая заставляла его плакать. Он покорно подчинился

ей! Он предался блаженству своего бессилия. Он слышал свои стоны и упивался ими, стыдился и радовался своему стыду. Он бросался в объятия сладостной боли и среди всхлипываний бессмысленно повторял:

— Я не хочу, чтобы ты умирал, не хочу, чтобы ты умирал, не хочу, не хочу.

Доктор Демант встал, прошелся по кухне, остановился у портрета императора и сделал попытку сосчитать черные мушиные точки на его мундире, затем прервал свое странное занятие, подошел к Карлу Йозефу, ласково положил руки на его вздрагивающие плечи и приблизил сверкающие стекла очков к русой голове лейтенанта. Он, умный доктор Демант, уже покончил счеты с миром, отослал жену к ее отцу в Вену, дал отпуск своему вестовому, запер дом. С того момента, как разыгралась эта злосчастная история, он жил в гостинице «Золотой медведь». Он был готов. С тех пор как он начал пить непривычное ему вино, он даже умудрялся находить какой-то тайный смысл в этой бессмысленной дуэли и желал смерти, как закономерного финала своей исполненной ошибок жизни. Теперь потухла и его ребяческая любовь к жене. Ревность, еще несколько недель тому назад пылавшая изнурительным пожаром

в его сердце, стала кучкой остывшей золы. Завещание, только что написанное и адресованное полковнику, лежало в кармане его сюртука. Ему нечего было завещать, мало людей упоминалось в нем и, следовательно, ничего не было позабыто. Алкоголь все делал легким, только ожидание досаждало ему. Семь двадцать — час, который уже много дней так мучительно бился в мозгах его товарищей, — в его собственном раскачивался легким серебряным колокольчиком. Впервые с тех пор, как он надел форму, он чувствовал себя легким, сильным и мужественным. Он наслаждался близостью смерти, как выздоравливающий наслаждается близостью жизни. Он покончил все счеты, он был готов ко всему.

А теперь он опять стоял, близорукий и беспомощный, как всегда, перед своим юным другом. Да, еще были на свете и юность, и дружба, и слезы, которые по нем проливают. Он вдруг ощутил тоску по своей жалкой жизни, по отвратительному гарнизону, по ненавистной форме, по ежедневному обходу больных, по противному запаху согнанного в одно помещение и раздетого рядового состава, по бесконечным оспопрививаниям и карболовой вони госпиталя, по нелепым капризам жены, по скаредной обеспеченности своего

дома, по пепельно-серым будням и скучнейшим воскресеньям, по мучительным урокам верховой езды, по тупоумным маневрам и по собственным огорчениям при столкновении со всей этой пустотой. Сквозь всхлипывания и стоны лейтенанта с силой прорвался громкий призыв жизни, и покуда доктор подыскивал нужное слово, чтобы успокоить лейтенанта, сострадание залило его сердце, любовь тысячью огней вспыхнула в нем, и уже далеко позади осталось безразличие, в котором он пребывал последние дни.

Но вот прозвучало три жестких удара стенных часов. Тротта внезапно стих. Отзвук этих трех ударов медленно растворялся в гудении газовой лампы. Лейтенант начал спокойным голосом:

— Ты должен понять, до какой степени глупа вся эта история! Тайтингер надоел мне, как и всем остальным. Поэтому в тот вечер, у театра, я и сказал ему, что у меня свидание. Затем вышла твоя жена, совершенно одна, я не мог не проводить ее. И как раз когда мы проходили мимо казино, они всей гурьбой высыпали на улицу!

Доктор снял руки с плеч Тротта и снова начал свое странствие по комнате. Он передвигался почти неслышно, мягкими и крадущимися шагами.

— Не буду скрывать, — продолжал лейтенант. — Я тотчас же почувствовал, что должно случиться что-то скверное. Мне стоило больших трудов поддерживать беседу с твоей женой. Когда я стоял перед вашим садом и у тебя на доме горел фонарь, мне — помню твердо — померещились на снегу, между калиткой и входной дверью, отчетливые следы твоих шагов, и вдруг мне пришла на ум странная мысль, нелепая мысль…

— Да? — произнес доктор и остановился.

— Смешная мысль: мне вдруг показалось, что твои следы что-то вроде стражей, я не умею это выразить, но мне почти казалось, что они смотрят со снега на меня и на твою жену.

Доктор Демант снова сел, пристально поглядел на Тротта и медленно сказал:

— Может быть, ты любишь мою жену и только сам этого не сознаешь?

— Моей вины во всей этой истории нет! — промолвил Карл Йозеф.

— Да, твоей вины тут нет, — подтвердил доктор.

— И все же у меня такое чувство, точно я виноват, — сказал Карл Йозеф. — Ты знаешь, я рассказывал тебе, как было с фрау Слама! — Он умолк. И затем прошептал: — Мне страшно, мне

повсюду страшно!

Полковой врач расправил руки, пожал плечами и заметил:

— На то ты и внук!

В это мгновение он думал не о страхах лейтенанта. Теперь ему казалось вполне возможным избегнуть всего, ему угрожающего. «Исчезнуть! — думал он. — Обесчестить себя, быть разжалованным, три года прослужить в нижних чинах или бежать за границу! Не дать застрелить себя!» И лейтенант Тротта, внук героя битвы при Сольферино, стал для него уже человеком другого мира, совершенно чуждым. Он весело и насмешливо сказал:

— Какая ерунда! Честь, которая, как эта дурацкая кисточка, болтается на шпаге. Нельзя проводить женщину домой. Разве ты не видишь, как это глупо? Разве ты не спас этого, — он показал на портрет императора, — из борделя? Идиотство! — вдруг вскричал он, — чудовищное идиотство!

Он постучал, вошел трактирщик с двумя полными стаканами. Доктор выпил.

— Пей! — сказал он.

Карл Йозеф стал пить. Он не совсем понимал слова доктора, но ему казалось, что Демант уже не

хочет умирать. Часы отстукивали свои жестяные секунды. Время не останавливалось. Семь двадцать, семь двадцать! Только чудо может спасти от смерти доктора Деманта! Но чудес не бывает, это лейтенант уже знал. Он сам — фантастическая мысль — завтра в семь двадцать появится там и скажет: «Милостивые государи, Демант сошел с ума этой ночью, я стреляюсь за него!» Ребячество! Нелепость! Он снова беспомощно взглянул на доктора. Время не останавливалось, часы непрестанно строчили свои секунды. Скоро четыре: еще три часа!

— Итак! — произнес наконец Демант. Это звучало, словно он принял какое-то решение и теперь точно знал, что следует делать. Но он ничего точно не знал! Его мысли бессвязно, на ощупь катились извилистыми путями, в сплошном тумане. Он ничего не знал! Ничего не стоящий, чудовищный, глупый, железный, могущественный закон сковывал его и, скованным, посылал навстречу дурацкой смерти. До него доносились поздние звуки из трактирной залы. Там, видимо, уже никого не было. Хозяин опускал пивные стаканы в всплескивающую воду, гремел стульями, сдвигал столы и звенел ключами. Пора было уходить. Может быть, улица, зима, ночное

небо с его звездами, снег ниспошлют ему совет и успокоение. Он прошел к трактирщику, расплатился, вернулся обратно уже в пальто; черный, в черной широкополой шляпе, стоял он, словно замаскированный и вторично перевоплощенный, перед лейтенантом. Карлу Йозефу он казался вооруженным, лучше вооруженным, чем некогда в мундире и при шпаге.

Они прошли через сени и вышли в ночь. Доктор взглянул на небо, спокойные звезды не ниспосылали ему совета, более холодные, чем этот снег вокруг. Темны были дома, глухи и немы улицы, ночной ветер раздувал снежную пыль, мягко звенели шпоры лейтенанта, и в такт им поскрипывали башмаки доктора. Они шли быстро, словно перед ними была определенная цель. В их головах проносились обрывки понятий, мыслей, образов. Как тяжелые и быстрые молоты, стучали их сердца. Сам того не зная, полковой врач шел правильной дорогой, сам того не зная, лейтенант следовал за ним. Они приближались к гостинице «Золотой медведь». Вот они уже стоят перед ее сводчатой дверью. В воображении Карла Йозефа возник образ деда доктора Деманта, сребробородого короля еврейских шинкарей. Перед такими воротами, но, вероятно, гораздо большими, про-

сидел он положенный ему срок. Он вставал, когда подъезжали телеги. Так как он уже плохо слышал, то низкорослые крестьяне, сложив руки трубой, выкрикивали ему наверх свои желания. Семь двадцать, семь двадцать, зазвучало снова. В семь двадцать внук этого деда будет мертв.

— Мертв! — произнес вслух лейтенант. О, он больше не был умен, этот умный доктор Демант. Напрасно был он свободным и смелым несколько дней; теперь выяснилось, что он не покончил счеты с жизнью. Нелегко быть готовым к встрече со смертью. Его умная голова, унаследованная от длинного, длинного ряда умных отцов, так же мало смыслила в этом, как и простая голова лейтенанта, предками которого были простые крестьяне из Сиполья. Нелепый, железный закон не оставлял выхода.

— Я глупец, мой милый друг! — сказал доктор. — Мне следовало давно расстаться с Евой. У меня нет сил уклониться от этой дурацкой дуэли. По слабоумию я стану героем, согласно кодексу чести и служебному регламенту! Героем! — Он рассмеялся. Смех отдался в ночной тишине. — Героем, — повторил он, продолжая переминаться с ноги на ногу у ворот заезжего дома.

В юном и легко отыскивающем утешение моз-

гу лейтенанта молнией блеснула ребячливая надежда: они не станут стрелять друг в друга и помирятся! Все будет хорошо! Их переведут в разные полки! Меня тоже! Нелепо, смешно, невозможно! — тут же подумал он. И, опять растерянный, отчаявшийся, с пустой головой, пересохшим горлом и отяжелевшими членами, неподвижно стоял он перед расхаживающим взад и вперед доктором.

— Сколько теперь времени?

Он не отважился взглянуть на часы. Все равно, скоро пробьет на башне. Он решил ждать.

— Если нам не суждено будет свидеться, — сказал доктор, передохнул и спустя несколько секунд добавил: — Советую тебе, оставь армию! — Затем протянул ему руку. — Будь здоров! Иди домой! Я справлюсь один! Servus! — Он дернул проволоку звонка. Изнутри послышалось громкое дребезжание. Уже приближались шаги. Дверь открылась. Лейтенант Тротта схватил руку доктора. И обычным голосом, удивившим его самого, произнес обычное: «Servus!» Он даже не снял перчатки. Уже захлопнулась дверь. Уже не существовало доктора Деманта. Как бы влекомый незримой рукой, лейтенант Тротта привычной дорогой направился в казарму. Он уже не слышал, как

позади него, во втором этаже, раскрылось окно. Доктор высунулся оттуда, увидел, как его друг исчезает за углом, закрыл окно, зажег все лампы в комнате, подошел к умывальнику, наточил бритву, попробовал ее о ноготь большого пальца, намылил лицо, спокойно, как каждое утро. Затем он умылся. Вынул из шкафа мундир, пристегнул саблю и стал ждать. Голова его поникла. Он уснул спокойно, без снов, в широком кресле у окна.

Когда он проснулся, небо над крышами было уже светлым. Легкое мерцание голубело на снегу. Скоро должны постучать. Вдали он уже слышал колокольчики саней. Они звенели все ближе и вот умолкли. Задребезжал звонок. Теперь заскрипела лестница. Вот уже звякнули шпоры. Вот постучали в дверь.

Они стояли в комнате, обер-лейгенант Крист и полковник Вангерт из пехотного полка гарнизона. Они остановились в дверях, лейтенант на полшага позади полковника. Полковой врач бросил взгляд на небо.

— Я готов, милостивые государи, — объявил он.

Им было немного тесно в маленьких санках, бубенчики бодро звенели, каурые лошади поднимали хвосты и роняли на землю большие,

желтые, дымящиеся яблоки. Полковой врач, всю жизнь равнодушный к животным, вдруг ощутил тоску по своей лошади. «Она переживет меня!» — подумал он. Лицо его ничего не выдало. Спутники молчали.

Они остановились приблизительно в сотне шагов от лужайки. До «зеленого уголка» дошли пешком. Было уже утро, но солнце еще не всходило. Тихо стояли ели, гордые и стройные, неся снег на своих ветвях. Вдали закаркала ворона, затем послышалось ответное карканье. Таттенбах громко переговаривался со своими спутниками. Старший врач, доктор Мангель, прохаживался между обеими партиями. «Господа!!» — произнес чей-то голос. В этот момент полковой врач, доктор Демант, обстоятельно, как это было в его привычке, снял очки и бережно положил их на широкий пень.

Удивительно все же, что он и теперь видел дорогу, указанное ему место, дистанцию между собой и графом Таттенбахом и самого противника. Он ждал. До последней минуты ждал он тумана. Но все вокруг виделось так отчетливо, словно полковой врач никогда и не был близоруким. Какой-то голос начал считать: «Раз!» Полковой врач поднял револьвер. Он снова чувствовал

себя свободным, даже задорным, первый раз в жизни задорным. Он прицелился, вспоминая, как некогда, служа одногодичником, выполнял стрелковое задание (хотя он и тогда был плохим стрелком). «Ведь я же не так близорук, — подумал он. — Мне никогда больше не понадобятся очки». С медицинской точки зрения это трудно объяснимо. Полковой врач решил полистать в офтальмологии. В минуту, когда ему пришло в голову имя крупного специалиста в этой области, голос сказал: «Два». Доктор все еще видел хорошо. Защебетала робкая птица какой-то неизвестной породы, издалека донеслись звуки труб. В этот час уланский полк выходил на плац-парад.

Во втором эскадроне, как всегда, ехал лейтенант Тротта. На ножны тяжелых шашек и стволы легких карабинов жемчужинами оседало матовое дыхание мороза.

Студеные трубы пробуждали спящий городок Возницы, в толстых шубах, на обычной стоянке поднимали бородатые головы. Когда полк достиг луга, остановился и солдаты, как обычно, выстроились в две шеренги для гимнастических упражнений, лейтенант Киндерман подошел к Карлу Йозефу и спросил:

— Ты болен? Посмотри, на кого ты похож!

Он достал из кармана кокетливое зеркальце и поднес его к глазам Тротта. В маленьком блестящем прямоугольнике лейтенант увидел лицо, давно и хорошо ему знакомое: пылающие узкие черные глаза, острый, костистый крупный нос, пепельно-серые впалые щеки и узкий, большой, плотно сомкнутый бледный рот, который, как давно заживший след сабельного удара, отделял усы от подбородка. Только эти маленькие русые усики показались Карлу Йозефу чужими. Дома, под сводами отцовского кабинета, меркнущее лицо деда было гладко выбрито.

— Спасибо! — сказал лейтенант. — Я не спал эту ночь!

Он пошел между стволами деревьев налево, туда, где тропинка сворачивала на широкое шоссе. Было семь часов сорок минут. Он не слыхал выстрела. Все хорошо, все хорошо, говорил он себе, свершилось чудо! Самое большое через десять минут должен подъехать майор Прохазка, тогда они все узнают. До него доносились шорохи просыпающегося городка и протяжные гудки паровозов с вокзала. Когда лейтенант подходил к тому месту, где тропинка сливалась с шоссе, показался майор на своем гнедом. Лейтенант Тротта поздоровался. «Доброе утро» — ответил

майор. Всадник и пешеход не умещались рядом на узкой тропинке. Поэтому лейтенант Тротта шел позади коня майора. Минуты за две до луга (уже была слышна команда унтер-офицера) майор остановил лошадь, полуобернулся в седле и сказал только:

— Оба! — И затем, уже продолжая свой путь и скорее про себя, чем обращаясь к лейтенанту: — Ничего нельзя было поделать!

В этот день полк добрым часом раньше вернулся в казармы. Трубы звучали, как и во все другие дни. После обеда дежурные унтер-офицеры прочли солдатам приказ, в котором полковник Ковач сообщал, что ротмистр граф Таттенбах и полковой врач доктор Демант, как подобает солдатам, положили жизнь свою за честь полка.

Глава восьмая

В те времена, до европейской войны, когда происходили события, подобные тем, о которых рассказывалось на этих страницах, еще не было безразлично, жив или умер человек. Когда угасал один из толпы смертных, другой не заступал тотчас же его места, спеша изгладить память об умершем. Напротив, там, где его теперь недоставало, зияла брешь, и все близкие, равно как и далекие свидетели его кончины, каждый раз, завидев эту брешь, торжественно умолкали. Когда огонь выхватывал дом из ряда домов, расположенных по улице, пожарище еще долго оставалось заметным. Ибо каменщики работали медленно и с прохладцей, а ближайшие соседи и случайные прохожие, увидев пустое место, не могли не вспоминать об общем виде и стенах исчезнувшего дома. Так было тогда! Все, что росло, требовало много времени для произрастания, и всему, что разрушалось, требовалось долгое время, чтобы быть забытым. Зато все существовавшее оставляло свой след, и люди жили воспоминаниями, как теперь живут уменьем быстро и навсегда забывать.

Смерть доктора Деманта и графа Таттенбаха долгое время смущала и тревожила умы офицеров и солдат уланского полка, так же как и умы штатского населения. Покойников похоронили по всем правилам военных и религиозных обрядов. И хотя никто из товарищей вне своего круга ни единым словом не обмолвился о причине их смерти, горожане все же пронюхали, что оба они пали жертвой своих строгих понятий о «сословной чести». И отныне стало казаться, что каждый из офицеров нес на себе знак близкой и насильственной смерти, купцам и ремесленникам городка эти чуждые им господа офицеры стали еще более чуждыми. Вслед им смотрели, покачивая головами. О них даже сожалели. У них много преимуществ, говорили себе люди. Они могут расхаживать с саблями и нравиться женщинам, император лично заботится о них. Но раз, два, три — не успеешь оглянуться, и один наносит оскорбление другому, а оно может быть смыто только красною кровью!..

Тем, о ком так говорили, и правда не стоило завидовать. Даже ротмистр Тайтингер, который, по слухам, был участником нескольких дуэлей со смертельным исходом в других полках, изменил свое обычное поведение. В то время как

другие, шумные и легкомысленные, становились смирными и неслышными, этим тихим и тощим сластеной-ротмистром завладевало странное беспокойство. Он уже больше не мог часами сидеть за стеклянной дверью маленькой кондитерской, поглощая печенье, или безмолвно играть в домино и шахматы с полковником, а то и с самим собой. Он страшился одиночества. Он прямо-таки цеплялся за людей. Если поблизости не оказывалось товарища, он входил в лавку и покупал что-нибудь совершенно ненужное. Он долго торчал там, болтал о всякой ерунде с продавцом и не мог решиться выйти из лавки. Это удавалось ему, только когда он замечал на улице какого-нибудь безразличного знакомого, на которого он тотчас же и набрасывался. Вот насколько переменился мир! Казино пустовало. Веселые наезды к фрау Рези были отставлены. Вестовые слонялись без дела. Если кто-нибудь заказывал водку, то при взгляде на стакан ему сейчас же приходило в голову: не тот ли это, из которого несколько дней назад пил Таттенбах. Старые анекдоты, правда, еще рассказывались, но громко им уже не смеялись, разве что улыбались про себя. Лейтенанта Тротта во внеслужебные часы нигде не было видно.

Казалось, что какая-то волшебная рука мигом стерла с лица Карла Йозефа краску юности. Нигде во всей императорско-королевской армии нельзя было найти другого такого лейтенанта. Ему все казалось, что он должен сделать что-то особенное, но нигде ничего особенного не находилось! Само собой разумелось, что он должен был выйти из этого полка и перевестись в другой, но он все словно искал какого-нибудь трудного дела. В действительности же он искал добровольного искупления. Он не умел это выразить, но мы-то можем о нем это сказать: его несказанно угнетало, что он был орудием в руках несчастья.

В таком состоянии находился он, когда сообщал отцу о результатах дуэли и о своем неизбежном переводе в другой полк. Он промолчал о том, что при этом ему полагался кратковременный отпуск, так как боялся показаться на глаза отцу. Выяснилось, однако, что он мало знал старика. Окружной начальник, образцовый имперский чиновник, был знаком и с военными порядками. И странно, но он, видимо, также разбирался в горестях и смятениях сына; это можно было ясно прочесть между строк его ответа; ибо письмо окружного начальника гласило:

«Милый сын,

Спасибо тебе за подробные сообщения и за доверие. Судьба, постигшая твоих товарищей, очень огорчила меня. Они умерли, как подобает честным мужам.

В мое время дуэли были еще чаще и честь ценилась много дороже жизни. В мое время, сдается мне, и офицеры были сделаны из более крепкого дерева. Ты офицер, мой сын, и внук героя Сольферино, ты сумеешь с достоинством перенести то, что невольно и невинно участвовал в этом печальном событии. Тебе, конечно, жаль расстаться с полком, но помни, в любом полку, в любом военном округе ты служишь нашему государю.

Твой отец
Франц фон Тротта.

P. S. Двухнедельный отпуск, полагающийся тебе при переводе, ты можешь, по своему усмотрению, провести либо в моем доме, либо, что еще лучше, в новом гарнизоне, дабы скорее свыкнуться с тамошними условиями. Вышеподписавшийся».

Это письмо лейтенант Тротта читал не без чувства стыда. Отец угадал все. Образ окружного начальника вырос в глазах лейтенанта до величины, почти устрашающей. Он почти сравнялся с дедом. И если лейтенант уже до того страшился предстать перед отцом, то теперь для него было совершенно немыслимо провести отпуск дома. Потом, потом, когда у меня будет очередной отпуск, говорил себе лейтенант, сделанный из совсем другого дерева, чем лейтенанты времен юности его отца.

«Тебе, конечно, жаль покинуть полк», — писал отец. Неужто он написал это, потому что хорошо знал обратное? О чем здесь мог пожалеть Карл Йозеф? Разве что об этом окне, виде на солдатские казармы, об этих солдатах, сгорбившись сидевших на койках, о тоскливом звуке их губных гармоник и напевов, об их песнях, звучавших как непонятное эхо подобных же песен, распевавшихся крестьянами Сиполья! «Может быть, нужно поехать в Сиполье», — думал лейтенант. Он подошел к карте генерального штаба, единственному украшению на стенах его комнаты. Даже во сне мог бы он отыскать Сиполье. На южном крае монархии лежала эта тихая, безмятежная деревушка. В середине слегка заштрихованного

светло-коричневого пространства находились крохотные тонкие черные буквы, из которых составлялось слово Сиполье. Вблизи были нанесены: колодезь, водяная мельница, маленький вокзал одноколейной лесной дороги, церковь и мечеть, молодой лиственный лес, узкие лесные тропинки, проселочные дороги и одинокие домики. В Сиполье теперь вечер. У колодца стоят женщины в пестрых платках, обданные золотом пылающего заката. Мусульмане возносят молитвы, простершись на стареньких коврах мечети. Малюсенький локомотив лесной одноколейки свистит в густой темной зелени бора. Стучит мельница, журчат ручейки. То была старая игра, еще со времен кадетского корпуса. Привычные картины возникали по первому знаку. И над всем этим сиял загадочный взор деда. Вблизи, по всей вероятности, не было кавалерийского гарнизона. Следовательно, нужно переводиться в пехоту. Не без сострадания взирали товарищи со своих коней на пешие войска, не без сострадания будут они впредь взирать и на Тротта. Дед тоже был только простым пехотным капитаном.

Нет! Лейтенанту, безусловно, не жаль покинуть свой полк. И, пожалуй, даже кавалерию! Отец должен дать на это согласие. Придется,

скорее всего, пройти еще немного скучный курс пехотного строя. Надо будет проститься с товарищами. Небольшой вечер в казино. Всем по стопке водки. Короткая речь полковника. Бутылка вина. Сердечные рукопожатия товарищей. Они уже перешептываются за его спиной. Бутылка шампанского. Под конец, кто знает, может воспоследовать поход в заведение фрау Рези. Еще по стопке водки. Ах, если бы это прощание было уже позади! Денщика Онуфрия он возьмет с собой. Немыслимо опять с таким трудом привыкать к новому имени! Поездки к отцу можно будет избегнуть. И вообще надо будет постараться избегнуть всех тяжких обязанностей, связанных с переводом в другую часть. Но как-никак остается еще трудный, трудный путь к вдове доктора Деманта.

Какой путь! Лейтенант пытался уговорить себя, что фрау Ева Демант после похорон мужа опять уехала к отцу в Вену. Тогда он будет стоять перед домом, долго и напрасно звонить, затем узнает адрес и напишет коротенькое, по возможности сердечное письмо. Как хорошо, что можно будет ограничиться письмом. «У меня мало мужества», — думает лейтенант. Если бы не чувствовать постоянно темного, загадочного

взгляда деда на своем затылке, как плачевно пришлось бы ковылять по этой трудной жизни! Мужественным становишься, только вспоминая о старом герое Сольферино. Необходимо постоянно обращаться к деду за подкреплением.

И лейтенант стал медленно собираться в тяжелый путь. Было три часа пополудни. Торговцы мерзли у своих ларьков, дожидаясь редких клиентов. Из мастерских ремесленников слышались привычные и плодовитые звуки. Весело стучал молот в кузнице, из мастерской жестянщика доносилось полое громыхание жести, проворно постукивало что-то в подвале сапожника, а у столяра жужжали пилы. Все лица и все шумы мастерских были знакомы лейтенанту. Дважды в день верхом на своей лошади он проезжал мимо них. С седла он мог видеть все, что творилось за старыми сине-белыми вывесками. Каждый день он видел внутренность комнат первого этажа, постели, кофейники, мужчин в рубашках и женщин с распущенными волосами, горшки с цветами на подоконниках, сушеные фрукты и соленые огурцы за решетчатыми окнами кухонь.

Вот он уже стоит перед домом доктора Деманта. Скрипнули ворота. Он вошел. Вестовой открыл ему дверь. Лейтенант дожидался. Вышла фрау

Демант. Его слегка знобило. Он вспомнил свой траурный визит к вахмистру Слама. Ощутил тяжелую, влажную, холодную руку вахмистра, увидел темную переднюю и красноватую гостиную. Почувствовал во рту приторный вкус малиновой воды. «Значит, она не в Вене», — подумал лейтенант, увидев вдову. Ее черное платье удивило его. Казалось, он только теперь понял, что фрау Демант вдова полкового врача. И комната, в которую они вошли, выглядела теперь не так, как при жизни друга. На стене, обвитый черным крепом, висел портрет покойного. Он отодвигался все дальше, как император в казино, словно был не тут же перед глазами, доступный осязанию, а где-то далеко за стеной, видимый в окно.

— Спасибо, что вы пришли, — проговорила фрау Демант.

— Я пришел проститься, — ответил Тротта.

Фрау Демант подняла голову. Лейтенант увидел красивый, светло-серый блеск ее глаз. Они уставились ему прямо в лицо. В зимних сумерках светились только ее глаза. Лейтенант перевел взор на ее узкий белый лоб, затем на стену, где висел далекий портрет покойного мужа. Обмен приветствиями продолжался слишком долго,

пора бы уже и сесть. Но фрау Демант ничего не говорила. В это время стало чувствоваться, как темнота приближающегося вечера проникает через окно и как в душу заползает ребяческое опасение, что в этом доме свет уже никогда не зажжется. Ни одно подходящее слово не приходило на помощь лейтенанту. Он слышал тихое дыхание женщины.

— Что мы стоим здесь? — промолвила она наконец, — давайте сядем. — Они сели друг против друга у стола. Карл Йозеф сидел, как когда-то у вахмистра Слама, спиной к двери. И эта дверь, как и та, казалась ему угрожающей. Ему чудилось, что она может вдруг бесшумно приоткрыться и так же бесшумно замкнуться. Окраска сумерек становилась более темной. В них растворялось черное платье фрау Евы Демант. Ее белое лицо, нагое, неприкрытое, парило над темной поверхностью вечера. Исчез портрет покойного на стене напротив.

— Мой муж, — послышался сквозь сумрак голос фрау Демант. Лейтенант видел, как сверкнули ее зубы; они были еще белее лица. Постепенно он начал различать и холодный блеск ее глаз. — Вы были его единственным другом! Он часто говорил это! Да, и как часто он вообще говорил о вас! Если

б вы знали! Я не могу уяснить себе, что он мертв! И, — прошептала она, — что я в этом виновата!

— Я виноват в этом! — произнес лейтенант. Голос его звучал громко, жестоко и непривычно для собственных ушей. Он не мог служить утешением вдове Деманта. — Вина моя! — повторил он. — Мне следовало осторожней провожать вас домой, не мимо казино!

Женщина начала всхлипывать. Он видел, как ее бледное лицо все ниже и ниже склонялось к столу, подобно большому, белому, овальному, медленно поникающему цветку. Внезапно справа и слева взметнулись белые руки, подхватили никнущее лицо и удержали его. И минуту-другую ничего не было слышно, кроме всхлипываний. Вечностью казалось это лейтенанту. «Встать, уйти, оставив ее плачущей», — подумал он. И действительно поднялся. Мгновенно упали ее руки на стол. Спокойным голосом, как бы исходившим из другого горла, она спросила:

— Куда же вы?

— Зажечь свет! — сказал Тротта.

Она встала, обошла вокруг стола и чуть задела лейтенанта. Он почувствовал нежную волну духов, которая тут же развеялась. Свет оказался резким; Тротта принуждал себя смотреть прямо

на лампу. Фрау Демант закрывала глаза рукой.

— Зажгите свет над консолью, — приказала она.

Лейтенант повиновался. Она ждала у двери. Когда зажглась маленькая лампа под золотисто-желтым абажуром, она выключила верхний свет. Потом сняла руку с глаз, как снимают забрало. Она выглядела очень смелой в черном платье, с белым повернутым к Тротта лицом. Злой и храброй была она. На ее щеках виднелись маленькие осушенные ручейки слез. Глаза блестели как обычно.

— Сядьте там, на диване! — приказала фрау Демант. Карл Йозеф сел. Приятная мягкость со всех сторон, со спинки, из углов, коварно и тихо окружила лейтенанта. Он почувствовал, что здесь сидеть опасно, пересел на край, оперся на рукоятку сабли и увидел, как приближается фрау Ева. Она казалась опасным повелителем всех этих подушек и диванов. На стене, справа, висел портрет покойного друга. Фрау Демант села рядом. Мягкая маленькая подушечка лежала между ними. Тротта остался неподвижен. Как обычно, когда Карл Йозеф не видел выхода из многочисленных мучительных положений, в которые попадал, он вообразил, что в состоянии

подняться и уйти.

— Итак, вас переводят? — осведомилась фрау Демант.

— Я прошу о переводе! — сказал он, опустив глаза на ковер, положив подбородок на руки, покоившиеся на рукоятке сабли.

— Это необходимо?

— Так точно, необходимо!

— Жаль, — сказала она, — очень жаль!

Фрау Демант сидела, как и он, опершись локтями в колени, поддерживая руками подбородок и глядя на ковер. Она, вероятно, ждала слова утешения, милостыни. Он молчал. Он упивался блаженным чувством — мстить за смерть друга жестокосердным молчанием. Ему пришли на ум рассказы об опасных, маленьких женщинах, убивающих своих мужей, часто повторявшиеся в разговорах офицеров. К опасному племени слабосильных убийц, видимо, принадлежала и она. Нужно во что бы то ни стало вырваться из ее власти. Он вооружился для наступления. В этот момент фрау Демант переменила позу Она отняла руки от подбородка, левой рукой принялась легко и тщательно разглаживать шелковый борт дивана. Ее пальцы двигались взад и вперед по блестящей полосе, ведущей от нее к лейтенанту,

равномерно и медленно. Они прокрадывались в поле его зрения. Белые пальцы втягивали его в молчаливый разговор, который невозможно было прервать. Закурить папиросу! Счастливая мысль! Он достал портсигар, спички.

— Дайте и мне! — сказала фрау Демант.

Ему пришлось посмотреть ей в лицо, подавая огонь. Он считал неподобающим то, что она курит; словно траур не допускает радостей никотина. И манера, с которой она сделала первую затяжку, и то, как она сложила губы в маленькое красное кольцо, из которого вырвалось легкое голубоватое облако, тоже казались ему вызывающими и порочными.

— Имеете ли вы понятие о том, куда вас переводят?

— Нет, — сказал лейтенант, — но я постараюсь уехать очень далеко!

— Очень далеко? Куда же, например?

— Возможно, что в Боснию!

— Вы думаете, будете там счастливы?

— Не думаю, чтобы я где бы то ни было был счастлив!

— Я вам от души желаю счастья! — ввернула она проворно, слишком проворно, как показалось Тротта.

Она встала, принесла пепельницу, поставила ее на пол между собой и лейтенантом и сказала:

— Значит, мы, вероятно, никогда больше не увидимся!

Никогда! Это слово, это страшное безбрежное море глухой вечности! Никогда нельзя уже увидеть Катерину, доктора Деманта, эту женщину! Карл Йозеф произнес:

— По-видимому, к сожалению! — Он хотел добавить: «И Макса Деманта я никогда не увижу!» Вдов надлежит сжигать — тут же вспомнилось ему одно из смелых изречений Тайтингера.

Послышался звонок и вслед за тем шум в коридоре.

— Это мой отец! — сказала фрау Демант. Господин Кнопфмахер уже входил, внося с собой свежий запах снега.

— Ах, это вы, это вы! — воскликнул он. Он развернул большой белый платок, громко высморкался, бережно сложил его и спрятал в карман, как прячут какую-нибудь ценную вещь, протянул руку к выключателю на дверной раме, зажег свет, затем приблизился к Тротта, который поднялся с места при появлении Кнопфмахера и теперь стоя дожидался, и молча пожал ему руку. В это рукопожатие господин Кнопфмахер вло-

жил все, что должно было продемонстрировать его скорбь о смерти доктора. И уже, указывая на люстру, обратился к дочери:

— Извини, но я не переношу столь грустного освещения! — Казалось, что в обвитый крепом портрет Деманта бросили камнем.

— У вас, однако, скверный вид! — заметил через секунду Кнопфмахер веселым голосом. — На вас страшно подействовало это несчастье, не так ли?

— Он был моим единственным другом!

— Вот видите. — Кнопфмахер присел к столу и, улыбаясь, сказал: — Сидите, сидите, пожалуйста! — И продолжал, когда лейтенант занял свое место: — Совершенно то же говорил он о вас, когда был жив. Какая беда! — Он покачал несколько раз головой, от чего его полные румяные щеки слегка затряслись.

Фрау Демант вытащила платочек из рукава, поднесла его к глазам, встала и вышла из комнаты.

— Кто знает, как она это перенесет! — сказал Кнопфмахер. — Ну, я немало уговаривал ее в свое время! Она ничего не желала слушать! Дело в том, милый господин лейтенант, что каждое звание сопряжено с известными опасностями. Но офицерское! Офицеру, извините меня, соб-

ственно, вовсе не следует жениться. Между нами говоря, впрочем, он верно сам вам это рассказывал, ему хотелось выйти в отставку и целиком посвятить себя науке. А как я был рад этому, и сказать нельзя! Он, несомненно, стал бы знаменитым врачом! Милый, добрый Макс! — Господин Кнопфмахер поднял глаза к портрету и, не отводя от него взгляда, закончил свой некролог: — Какие способности!

Фрау Демант внесла сливянку, которую любил отец.

— Вы ведь пьете? — осведомился Кнопфмахер, наливая. Он осторожно протянул гостю наполненный стаканчик. Лейтенант поднялся. Он чувствовал терпкий вкус во рту, как некогда после малиновой воды. Залпом осушил он стакан.

— Когда вы видели его в последний раз? — поинтересовался Кнопфмахер.

— Накануне! — сказал лейтенант.

— Он упросил Еву поехать в Вену, ни слова ей не сказав об этом. Она уехала, ничего не подозревая. Затем пришло его прощальное письмо, и я сразу понял, что здесь уже ничем не поможешь!

— Да, ничем нельзя было помочь!

— Уж извините меня, этот ваш кодекс чести весьма несовременен. Мы как-никак живем в два-

дцатом столетии, представьте это себе! У нас есть граммофоны, мы телефонируем за сотни миль, а Блерио и другие уже поднимаются в воздух. Я не знаю, читаете ли вы газеты и разбираетесь ли в политике, но поговаривают, что конституция будет в корне изменена. С тех пор как введено общее, равное и тайное голосование, чего только не произошло у нас, да и во всем мире. Наш император, Господь да продлит ему жизнь, мыслит вовсе не так старомодно, как думают некоторые. Разумеется, так называемые консервативные круги тоже не так уж не правы. Действовать нужно медленно, с оглядкой, осторожно. Только не рубить сплеча!

— Я ничего не понимаю в политике! — вставил Тротта.

Кнопфмахер ощутил досаду в своем сердце. Он негодовал на эту дурацкую армию и ее сумасшедшие обычаи. Его дочь была теперь вдовой, зять умер, нужно было искать нового, штатского на этот раз, и получение звания коммерции советника тоже, может быть, отодвигалось. Самое время было прекратить эти бесчинства! А таким молодым ничтожествам, как эти лейтенанты, нечего особенно задаваться в двадцатом столетии. Нации самоопределяются, бюргер есть

бюргер, никаких дворянских привилегий! Социал-демократия, конечно, опасна, но зато она хороший противовес. О войне говорят все время, но ее не будет. Им еще покажут! Времена теперь просвещенные! В Англии, например, король уже ничего не значит.

— Конечно! — произнес он. — В армии политика неуместна. Правда, он, — Кнопфмахер указал на портрет, — отлично в ней разбирался.

— Он был очень умен! — тихо произнес Тротта.

— Ничем нельзя было помочь! — повторил Кнопф-махер.

— Он, может быть, — сказал лейтенант, и ему самому показалось, что из него вещает чужая мудрость, то, что заключалось в старинных толстых книгах сребробородого короля еврейских шинкарей, — он, может быть, был очень умен и совсем одинок.

Тротта побледнел. Он почувствовал на себе блестящий взор фрау Демант. Пора было уходить. Воцарилась тишина. Больше говорить было не о чем.

— И барона Тротта мы тоже больше не увидим, папа! Его переводят в другую часть! — проговорила наконец фрау Демант.

— Но вы подадите нам весточку! — сказал

Кнопфмахер.

— Вы напишете мне! — повторила фрау Демант.

Лейтенант поднялся.

— Всего хорошего! — сказал Кнопфмахер. Его рука, большая и мягкая, на ощупь напоминала разогретый бархат. Фрау Демант пошла вперед. Появился вестовой и подал лейтенанту шинель. Фрау Демант стояла рядом. Тротта щелкнул каблуками. Она быстро проговорила:

— Напишите мне! Я хочу знать, где вы находитесь. — Это было как теплое, быстрое дуновение, тотчас же рассеявшееся. Уже вестовой открывал дверь. Мелькнули ступени. Вот растворилась калитка, как тогда, когда он уходил от вахмистра.

Быстрым шагом он отправился в город, вошел в первое попавшееся ему на пути кафе, стоя у буфета, выпил рюмку коньяку, вторую. «Мы пьем только “Хеннесси!”» — послышались ему слова окружного начальника. Он заторопился в казарму.

У дверей его комнаты, синей полоской среди сплошной белизны, дожидается Онуфрий. Дежурный канцелярист по поручению полковника принес пакет для лейтенанта. Узкий, завернутый в коричневую бумагу, он был прислонен к стене

в углу. На столе лежало письмо.

Лейтенант прочел:

«Мой милый друг, оставляю тебе мою саблю и карманные часы. Макс Демант».

Тротта вынул саблю. На рукоятке висели простые серебряные часы доктора Деманта. Они не шли. Стрелки показывали без десяти двенадцать. Лейтенант завел их и поднес к уху. Они успокоительно затикали нежным, тихим голоском. Он открыл крышку перочинным ножом, как любопытный играющий мальчик. На внутренней стороне были выгравированы инициалы: «М. Д.» Он выцарапал несколько корявых, беспомощных букв. «Будь здоров и свободен!» — гласила надпись. Лейтенант повесил саблю в шкаф. Портупею он еще держал в руке. Обшитый металлическими нитями, шелк заструился между пальцев прохладным золотым дождем. Тротта закрыл ящик. Закрыл крышку гроба.

Выключив свет, он одетым растянулся на постели. Желтоватое мерцание из солдатских казарм плавало на белом лаке двери, отражалось в блестящей щеколде. Напротив вздыхала гармоника, хрипло и тоскливо, заглушаемая низкими мужскими голосами. Они пели украинскую песню об императоре и императрице:

Наш государь – богом взысканный храбрец, —

Всем уланам своим обожаемый отец.

От супруги своей отправляется в поход,

А она во дворце его ждет,

Все горюет о нем, все тревожится о нем,

О лихом государе своем…

Императрица, правда, давно уже умерла. Но крестьяне думали, что она еще жива.

Часть вторая

Глава девятая

Лучи габсбургского солнца достигали на востоке границ русского царства. Это было то самое солнце, под которым семья Тротта расцвела и достигла дворянства и знатности. Благодарность Франца Иосифа имела долгую память, а милость — длинные руки. Когда кто-либо из его предпочтенных детей намеревался совершить какую-нибудь глупость, министры и слуги императора своевременным вмешательством направляли глупца на путь разума и осмотрительности. Единственному отпрыску нового дворянского рода, фон Тротта и Сиполье, было не к лицу служить в той провинции, откуда происходил герой битвы при Сольферино, внук неграмотных словенских крестьян и сын жандармского вахмистра. Пускай потомку угодно было сменять службу в уланском полку на скромную долю пехотинца; это значило только, что он верен памяти деда, который в качестве простого пехотного лейтенанта спас жизнь императору. Но осмотрительность не дозволяла военному министерству послать носителя дворянского имени, точно совпадавшего с названием словенской деревни, откуда

происходил основатель рода, в окрестности этой деревни. Такого же мнения придерживался и окружной начальник, сын героя битвы при Сольферино. Правда, он дал согласие — с тяжелым сердцем, конечно, — на переход сына в пехоту. Но стремление Карла Йозефа попасть в словенскую провинцию он никак не мог одобрить. Сам он, окружной начальник, никогда не испытывал желания увидать родину своих отцов. Он был австриец, слуга и чиновник Габсбургов, и отчизной для него являлся императорский дворец в Вене. Доведись ему представить свои политические взгляды касательно полезного переустройства разноплеменного австрийского государства, он признал бы желательным превратить все имперские земли в большие, пестрые сады и дворы императорского замка и все народы, населяющие монархию, в верных слуг Габсбургской династии. Он был окружным начальником и в своем округе представлял австрийского императора. Он носил мундир с золотым воротником, треуголку и шпагу. Он не испытывал ни малейшего желания ходить за плугом по благословенной словенской земле. В его решительном письме к сыну стояла следующая фраза: «Судьба из нашей семьи пограничных крестьян сделала австрийцев, и мы ими

останемся».

В силу этого для его сына Карла Йозефа, барона фон Тротта и Сиполье, южная граница осталась недосягаемой, ему предоставлялся выбор между службой внутри страны и службой на восточном ее рубеже. Он избрал егерский батальон, квартировавший в двух милях от русской границы. Вблизи находилась деревня Бурдлаки, родина Онуфрия. Этот край был родной страной украинских крестьян, их тоскливых гармоник и незабываемых песен: северной сестрой Словении.

Семнадцать часов сидел лейтенант Тротта в поезде. На восемнадцатом промелькнула последняя станция австрийской монархии. Здесь он сошел. Вестовой Онуфрий сопровождал его. Егерская казарма находилась в центре городка. Перед тем как войти во двор казармы, Онуфрий трижды перекрестился. Было утро. Весна, давно уже воцарившаяся в глубине страны, только недавно пришла сюда. Уже золотился ракитник по склонам железнодорожной насыпи. Уже цвели фиалки в сыром лесу. Уже квакали лягушки в нескончаемых болотах. Уже аисты кружились над низкими соломенными крышами хаток в поисках старых колес, фундаментов их летних

обиталищ.

Пограничная полоса между Австрией и Россией, на северо-востоке империи, была в то время одним из удивительнейших краев. Егерский батальон Карла Йозефа стоял в городке с десятью тысячами жителей. Там имелась обширная площадь, в центре которой скрещивались две большие улицы. Одна шла с запада на восток, другая с севера на юг. Одна вела от вокзала на кладбище, другая от развалин дворца к паровой мельнице. Из десяти тысяч жителей города около трети кормилось различными ремеслами. Вторая треть сводила концы с концами, возделывая свои скудные земельные участки. А остальные занимались неким подобием торговли.

Мы сказали подобием торговли, ибо ни их товар, ни коммерческие обычаи не соответствовали представлениям цивилизованного мира о торговле. Торговцы в том краю жили скорее случаем, чем перспективами, скорее неучтимым предвидением, чем деловыми соображениями, и каждый из купцов готов был в любую минуту схватить любой товар, время от времени посылаемый ему судьбой, или же выдумать таковой, когда Бог ему в нем отказывал. И вправду, жизнь этих торговцев являлась загадкой. У них не было

лавок. У них не было имен. Не было кредитов. Но они почти сверхъестественным нюхом чуяли все тайные и таинственные источники Денег. Они жили трудом других, но они создавали для других этот труд. Они были скромны и жили так скудно, словно кормились трудом своих рук. Но это был труд других людей. Всегда в движении, всегда в пути, с бойким языком и светлыми мозгами, они могли бы завладеть половиной мира, если б знали, что такое мир. Но они этого не знали. Ибо жили вдали от него, между востоком и западом, зажатые между днем и ночью, сами уподобившиеся неким живым призракам, которые ночь рождает и пускает бродить днем.

Мы, кажется, сказали, что они жили «зажатыми». Но природа страны не давала им это чувствовать. Природа ковала нескончаемый горизонт вокруг людей на границе и окружала их благородным кольцом зеленых лесов и голубых пригорков. А проходя еловым мраком, они могли даже чувствовать себя избранниками Бога; если б только ежедневная забота о пропитании жены и детей оставляла им веру в благость Господню. Но они проходили по еловому бору, чтобы напасти дров и с наступлением зимы сбыть их горожанам, ибо они торговали также и дровами. Кроме того,

они сбывали бусы крестьянкам из окрестных деревень и крестьянкам, живущим по ту сторону границы, на русской земле. Они торговали перинами, конским волосом, табаком, драгоценными камнями, китайским чаем и южными фруктами, лошадьми и рогатым скотом, птицей и яйцами, рыбой и овощами, войлоком и шерстью, маслом и сыром, лесами и земельными участками, мрамором, привезенным из Италии, и человеческими волосами из Китая, нужными для производства париков, шелковичными червями и готовым шелком, тканями из Манчестера, брюссельскими кружевами и московскими калошами, полотном из Вены и жестью из Богемии. Ни один из тех диковинных, ни один из тех дешевых товаров, которыми так богат мир, не проходил мимо рук торговцев и маклеров этой местности. То, что они не могли раздобыть или продать в силу существующих законов, они раздобывали вопреки всякому закону и сбывали из-под полы, проворно, расчетливо и коварно, хитроумно и смело. Более того, многие из них торговали людьми, живыми людьми. Они переправляли дезертиров русской армии в Соединенные Штаты и молодых крестьянок в Бразилию и Аргентину. Они были агентами пароходных компаний и представи-

телями чужеземных борделей. И несмотря на все, барыши их оставались грошовыми и они не имели ни малейшего понятия о широком и пышном великолепии, в котором может жить человек. Их чувства, отшлифованные и изощренные отысканием наживы, их руки, умеющие выбивать золото из шлака, как выбивают искры из камней, не в состоянии были добыть радость для их сердец и здоровье для тел. Эти люди были порождены болотами, ибо наводящие ужас топи простирались по всему краю, по обе стороны шоссейной дороги, топи с лягушками, бациллами и коварной травой, страшной приманкой страшной смерти для всех беспечных и не знающих этих мест странников. Многие погибали там, и никто не слыхал их криков о помощи. Зато все, кто родился в этом краю, знали коварство болот и сами обладали некоторой долей этого коварства. Весной и летом воздух был полон непрестанным, сытым кваканьем лягушек. Под облаками ликовали такие же сытые песни жаворонков. Так, без устали, переговаривались небо и болото.

Среди торговцев, о которых мы говорили, было много евреев: каприз природы или же таинственный закон неведомого происхождения от легендарных хазаров снабдил большинство

пограничных евреев рыжими волосами. Волосы пылали на их головах. Бороды их были как пожары. На внешней стороне их проворных рук торчала, как тысячи маленьких копий, красная и жесткая щетина. А в ушах разрасталась нежная красноватая шерсть, похожая на дым от тех красных огней, которые все еще горели в их головах.

Каждый чужой в этом крае человек был обречен на постепенную гибель. Никто не был так силен, как болото.

Как раз в это время высокие господа в Вене и в Петербурге начинали подготовлять великую войну. Люди на границе чувствовали ее приближение раньше других, не только потому, что они привыкли угадывать приближающееся, но потому, что они каждый день собственными глазами видели симптомы распада. И из этих приготовлений извлекали посильную прибыль. Многие жили шпионажем и контршпионажем, получали австрийские гульдены от австрийской полиции и русские рубли от русской. А в удаленной от мира болотистой пустыне гарнизонные офицеры, доведенные до отчаяния, нередко становились игроками, запутывались в долгах и попадали в сети темных дельцов. Кладбища гарнизона таили множество юных тел слабовольных людей.

Но и здесь солдаты проходили учение, как во всех других гарнизонах страны. Егерский батальон ежедневно возвращался в казарму, обрызганный весенней грязью, с серой тиной на сапогах. Майор Цоглауэр ехал впереди. Второй взвод первой роты вел лейтенант Тротта. Такт, в котором маршировал батальон, устанавливался звучным, бодрым сигналом горниста, а не высокомерным зовом фанфар, упорядочивавшим цокот копыт в уланском полку. Карл Йозеф шел пешком и внушал себе, что так ему лучше. Вокруг него подбитые гвоздями сапоги егерей шуршали по острым камешкам гравия, который время от времени, а весною по требованию военного округа, приносился в жертву болотистым дорогам. Но все камни, миллионы камней, поглощала ненасытная почва улиц. И новые победоносные, серебристо-серые, переливчатые слои ила непрестанно выбивались из глубин, пожирали камни, и глина с хлюпанием облепляла топочущие солдатские сапоги.

Казарма стояла за городским парком. Налево от нее помещался окружной суд, напротив — окружная управа, а за ее величественными обветшалыми стенами — две церкви, католическая и православная, правее высилось здание

гимназии. Городок был так мал, что его можно было пройти насквозь за двадцать минут. Все его главнейшие здания теснились друг к другу в излишне близком соседстве. Как арестанты в тюремном дворе, шествовали вечерами гуляющие по правильному кругу парка. Чтобы дойти до вокзала, требовалось добрых полчаса. Клуб егерских офицеров нашел себе приют в двух маленьких комнатках частного дома. Большинство офицеров столовалось в вокзальном ресторане. Среди них и Карл Йозеф. Он охотно шлепал по грязи, чтобы только увидеть вокзал. Это был последний из всех вокзалов империи, но все же и здесь были видны блестящие рельсы, непрерывной полосой уходившие в глубь страны. И на этом вокзале вспыхивали светлые, веселые, стеклянные сигналы, в которых звенело эхо родных голосов, и здесь непрестанно, как назойливая швейная машина, строчил аппарат Морзе, и в его стуке звучали прекрасные взволнованные голоса утраченного мира. И на этом вокзале имелся швейцар, и этот швейцар раскачивал гудящий колокол, а гудение колокола означало: отправляется, отправляется! Занимайте свои места! Один раз в день, как раз во время обеда, швейцар раскачивал свой колокол перед поездом, отправлявшимся на запад — в

Краков, Одерберг, Вену. Милый, хороший поезд! Он стоял перед окнами зала первого класса, в котором сидели офицеры, почти столько, сколько продолжался обед. Паровоз свистел, когда уже подавали кофе. Серый дым ударял в окна. А когда он начинал влажными жемчужинами сбегать по стеклам, поезда уже не было. Они допивали свой кофе и медлительным, печальным стадом шли обратно по серебристо-серому илу. Даже инспектирующие генералы остерегались заезжать в эту глухомань. Они не появлялись здесь, никто сюда не показывался. В единственной гостинице города, где в качестве постоянных жильцов обитало большинство офицеров, только дважды в год останавливались богатые торговцы хмелем из Нюрнберга и Праги. Если их непонятные дела были удачны, они заказывали оркестр и играли в карты в единственном кафе при гостинице.

Весь городок виден был Карлу Йозефу из второго этажа гостиницы Бродницера. Он видел фронтон окружного суда, белую башенку окружной управы, черно-желтый флаг над казармой, двойной крест греческой церкви, флюгер над зданием магистрата и все темно-серые тесовые крыши одноэтажных домишек. Улицы здесь не имели названий, дома не имели номеров,

и если кто-нибудь осведомлялся, как пройти к определенному лицу, то ему приходилось руководствоваться только той неопределенностью, с которой ему отвечали. Тот, мол, живет за церковью, этот — напротив городской тюрьмы, третий — по правую руку от окружного суда. Словом, жили, как в деревне. И все тайны людей, живших в маленьких домиках, под темно-серыми тесовыми крышами, за крохотными квадратными окнами и деревянными дверями, просачивались сквозь щели и отверстия на грязные улицы и даже в постоянно закрытый двор казармы. Этот обманул жену, а тот продал дочь русскому капитану, этот торгует тухлыми яйцами, а тот живет, изо дня в день сбывая контрабанду; этот сидел в тюрьме, а тот убежал из долговой ямы; этот давал взаймы офицерам, не взимая процентов, а тот, его сосед, получает с них треть их жалованья. Офицеры, в большей части своей разночинцы немецкого происхождения, долгие годы жили в этом гарнизоне, с ним связали свою судьбу и в нем увязли. Отвыкшие от родных обычаев и родного языка, ставшего здесь языком только служебным, предоставленные нескончаемой безутешности болот, они со страстью предавались азартным играм и крепкой водке, которую гнали

в этих местах и продавали под названием «девяностоградусной». Из бесцветной заурядности, которую вырабатывали в них кадетские корпуса и традиционная муштровка, они скатывались в гиблые болота этого края, которого уже касалось дыхание огромной враждебной страны русского царя. Меньше чем в четырнадцати километрах от них начиналась Россия. Русские офицеры из пограничного полка нередко наведывались сюда в своих длинных песочно-желтых и сизых шинелях, с массивными серебряными и золотыми эполетами на широких плечах и в блестящих калошах, в любую погоду надетых поверх ярко начищенных сапог с высокими голенищами. Оба гарнизона даже поддерживали известное дружеское общение. Иногда австрийские офицеры, усевшись в крытые багажные повозки, ехали полюбоваться джигитовкой казаков и попить русской водки. Там, в русском гарнизоне, бочонки с водкой стояли по краям деревянных тротуаров, охраняемые солдатами, вооруженными винтовками с привинченными к ним трехреберными штыками. С наступлением вечера бочонки, подталкиваемые солдатскими сапогами, со стуком катились по ухабистым мостовым к русскому казино, а легкие всплески и переливы выдавали

населению тайну их содержимого. Царские офицеры демонстрировали офицерам австрийским русское гостеприимство. И никто из царских офицеров, и никто из офицеров австрийских не знал тогда, что над стеклянным горлышком бутылки, из которой они пили, смерть уже скрестила свои тощие невидимые руки.

По большой равнине, между обоими пограничными лесами, австрийским и русским, как ветры, облаченные в военную форму и выстроенные в боевой порядок, носились казацкие сотни на маленьких быстрых лошадках своих родных степей, в высоких меховых папахах, размахивая пиками, словно молниями, насаженными на деревянные рукоятки, кокетливыми молниями, в изящных фартучках-флажках. Стук копыт по мягкой, как перина, болотистой почве был едва слышен. Мокрая земля отвечала летучему прикосновению копыт только тихими, влажными вздохами. Даже темно-зеленые травинки едва успевали пригнуться. Казаки как бы парили над полем. А когда они пускались вскачь по желтой песчаной дороге, на ней подымался большой светло-золотистый столб мелкой пыли, переливающейся на солнце, широко разлетающейся и снова упадающей на землю тысячью мелких

облачков. Приглашенные гости рассаживались на наспех сколоченных деревянных трибунах. Движения всадников были почти что быстрее взглядов зрителей. Обнажая сильные, желтые, крупные, как у лошадей, зубы, казаки на лету, с седла, поднимали брошенные на землю красные и синие платки, тела их соскальзывали под брюхо лошадям, а ноги в ярко начищенных сапогах продолжали сжимать бока животных. Другие — высоко в воздух — подбрасывали копья. Те вертелись и затем покорно падали в поднятую руку всадника; как живые охотничьи соколы, возвращались они в руки своих хозяев. Другие в это время, низко склонившись, почти плашмя лежа на лошади, в братском поцелуе прижав губы к морде животного, прыгали в поразительно маленькие железные обручи, которые едва могли охватить небольшой бочонок. Кони вытягивали все четыре ноги. Их гривы вздымались, как крылья, хвосты стояли вертикально, как руль, их узкие головы походили на стройный нос быстро несущегося челна. А в это время другие уже перескакивали через двадцать пивных бочонков, дном к дну положенных на земле. Кони ржали, прежде чем сделать прыжок. Всадник скакал из бесконечной дали, сначала он казался крохотной

серой точкой, с неимоверной быстротой превращался в полоску, в тело, во всадника, становился огромной сказочной птицей с человеческим и лошадиным телом, крылатым циклопом, и затем, после прыжка, застывал неподвижно в сотне шагов от бочек, как изваяние, как монумент из неживой материи. А другие, несясь с быстротой стрелы, уже палили по летящим целям (и сами они, стрелки, казались выстрелами) — по летящим целям, которые держали на больших белых дисках мчавшиеся сбоку от них всадники: стрелки галопировали, стреляли и попадали. Иной из них падал с лошади. Товарищи, летевшие за ним, переносились через тело упавшего, ни одно копыто его не задевало. Были и такие всадники, которые галопом пускали рядом с собой другую лошадь и на всем скаку перепрыгивали из одного седла в другое, возвращались в прежнее, затем снова падали на несущегося рядом коня, опирались руками на оба седла, свесив ноги между крупами скакунов, и порывисто замирали, останавливая обоих у цели, и те стояли недвижно, словно кони из бронзы.

Эти казачьи празднества были их единственными празднествами в пограничной полосе между Австрийской империей и Россией. В

городке стоял еще и драгунский полк. Между офицерами егерского батальона, драгунского полка и русских пограничных частей установились сердечнейшие отношения благодаря графу Хойницкому, одному из богатейших польских землевладельцев в этих краях. Граф Войцех Хойницкий, связанный родственными узами с Ледоховскими и Потоцкими, свойственник Штернбергов, друг Тунсов, светский человек сорока лет от роду, без выраженного возраста, ротмистр запаса, холостяк, легкомысленный и в то же время склонный к меланхолии, любил лошадей, алкоголь, общество, фривольность и в то же время серьезность. Зиму он проводил в больших городах и в игорных залах Ривьеры. Как перелетная птица, возвращался он, едва только зацветал ракитник по склонам железнодорожной насыпи, в отчизну своих предков. Хойницкий принадлежал к людям, у которых не бывает врагов, но не бывает и друзей, а разве что собутыльники, приятели и знакомые. Со своими светлыми, слегка выпуклыми глазами, своей блестящей круглой, как шар, лысиной, белокурыми усиками, узкими плечами и несоразмерно длинными ногами он приобретал расположение всех людей, на пути которых возникал случайно

или преднамеренно.

Он жил попеременно в двух домах, известных среди населения под названиями «старого» и «нового» дворцов. Так называемый старый дворец был довольно большой и ветхий охотничий павильон, который граф, по никому не ведомым причинам, не желал реставрировать; «новый дворец» — просторным одноэтажным строением, в мезонине которого постоянно обитали странные, иной раз довольно подозрительные люди. Это были «бедные родственники» графа. Сам он, даже при ретивом изучении истории своего рода, не мог бы установить степень родства с этими гостями. Постепенно вошло в обычай в качестве «сородича Хойницкого» приезжать в «новый дворец» и проводить там лето. Сытые, отдохнувшие, иногда даже снабженные платьем от домашнего портного графа, гости возвращались, едва только раздавался первый крик улетающих грачей и с полей начинали убирать кукурузу, в те далекие края, которые, быть может, были их родиной. Хозяин равно не замечал ни приезда, ни пребывания, ни отбытия своих гостей. Раз и навсегда распорядился он, чтобы еврей-управляющий проверял родственные отношения прибывших, регулировал их издержки и до наступления зимы

отправлял гостей восвояси. Дом имел два входа. Граф и не сопричисленные к его семейству гости пользовались передним, родственникам же приходилось делать большой крюк по фруктовому саду, чтобы входить и выходить через маленькие ворота в садовой стене. В остальном непрошеные гости могли делать все, что им заблагорассудится.

Дважды в неделю, по понедельникам и четвергам, у графа имели место так называемые малые вечера и раз в месяц так называемый праздник. На «малых вечерах» освещалось только шесть комнат, предназначенных для приема гостей, на «праздниках» — двенадцать. На «малых вечерах» лакеи прислуживали без перчаток и в темно-желтых ливреях, на «праздники» они надевали белые перчатки и кирпичного цвета сюртуки, с воротниками из черного бархата и серебряными пуговицами. Пить начинали всегда с вермута и терпкого испанского вина. Затем переходили на бургундское и бордо. Потом подавалось шампанское. За ним следовал коньяк. И под конец, как дань отечеству, появлялась на столе «девяностоградусная».

Офицеры сугубо феодального драгунского полка и в большей своей части разночинные

офицеры егерского батальона заключали у графа Хойницкого трогательные дружеские союзы до гроба. Занимающиеся утра видели сквозь широкие и сводчатые окна дворца пеструю мешанину пехотных и кавалерийских мундиров. Спящие храпом встречали золотое солнце. Около пяти часов утра толпа испуганных денщиков мчалась во дворец будить господ, ибо в шесть часов полки начинали экзерцировать. Хозяин, на которого алкоголь не действовал, в это время давно уже сидел в своем маленьком охотничьем павильоне. Он возился там с диковинными колбами, огоньками, аппаратами. В округе ходил слух, что граф пытается делать золото. Он и в самом деле предавался каким-то сумасбродным алхимическим опытам. Но если сделать золото ему и не удавалось, он умел выигрывать его в рулетку. Иногда он давал основания предполагать, что пользуется некоей таинственной, завещанной ему каким-то давно умершим игроком «системой».

Уже многие годы он был депутатом рейхсрата, регулярно переизбираемый своим округом, неизменно побивающий всех соперников деньгами, могуществом и насилием. Баловень правительства, презирающий парламентскую корпорацию, к которой сам принадлежал, он не произнес ни

одной речи, не издал ни одного восклицания с места. Ни во что не верящий, насмешливый, бесстрашный, он называл императора безмозглым стариком, правительство — бандой бездельников, рейхсрат — собранием доверчивых и патетических идиотов, а государственные учреждения — продажными, трусливыми и бездельными. Немецкие австрийцы были у него вальсерами и хористами из оперетки, венгры воняли, чехи были прирожденными чистильщиками сапог, русины — переодетыми русскими шпионами, кроаты и словенцы — щеточниками и продавцами каштанов, поляки, к которым он принадлежал и сам, — ухажерами, парикмахерами и модными фотографами. После каждого своего возвращения из Вены или из другой столицы, где он вращался в высшем свете, чувствуя себя, как дома, он имел обыкновение держать речь, гласившую приблизительно следующее:

«Это государство должно погибнуть. Не успеет наш император закрыть глаза, как мы распадемся на сотни кусков. Балканцы будут могущественнее нас. Все народы укрепят свои пакостные маленькие государства, и даже евреи провозгласят своего короля в Палестине. В Вене уже воняет демократическим потом, так что по Рингштрассе

становится невозможным ходить. Рабочие обзавелись красными флагами и не хотят больше повиноваться. Венский бургомистр — набожный домашний учитель, попы уже снюхались с народом, в церквах читаются проповеди по-чешски. В придворном театре играют еврейские пьесы, и каждую неделю какой-нибудь венгерский клозетный фабрикант становится бароном. Говорю вам, господа, если теперь не начнут стрелять, дело гиблое. Мы еще доживем до этого!»

Слушатели графа смеялись и чокались. Они его не понимали. При случае, правда, постреливали и теперь, особенно во время выборов, для того, например, чтобы обеспечить мандат графу Хойницкому, и этим показывали, что мир даром не сдастся. Император еще жил. Жив был и наследник престола. Армия экзерцировала и светилась всеми предписанными ей красками. Шутник этот Хойницкий!

Но лейтенант Тротта, более впечатлительный, чем его товарищи, более меланхоличный и всегда слышавший в душе эхо шуршащих темных крыльев смерти, с которой он уже дважды соприкоснулся, лейтенант чувствовал иногда мрачную весомость этих пророчеств.

Глава десятая

Каждую неделю, во время дежурства, лейтенант Тротта писал свои однообразные письма окружному начальнику. В казарме не было электрического света. В караульных помещениях, согласно регламента, жгли старинные служебные свечи, как во времена героя Сольферино. Правда, теперь это были свечи «Аполло», из белоснежного и более стойкого стеарина с добротным фитилем, горевшие ровным пламенем. Письма лейтенанта не выдавали перемен в его образе жизни и умалчивали о необычных условиях пограничной полосы. Окружной начальник избегал каких бы то ни было расспросов. Ответы, которые он регулярно, каждое четвертое воскресенье, отсылал сыну, были не менее однообразны, чем письма лейтенанта.

Каждое утро старый Жак приносил почту в комнату, где окружной начальник в течение многих лет имел обыкновение завтракать. Эта комната была несколько на отлете и днем стояла пустой. Окно ее, обращенное на восток, гостеприимно впускало все утра, ясные, пасмурные, теплые, прохладные и дождливые: зимою и ле-

том оно стояло открытым во время завтрака. Зимой окружной начальник сидел с ногами, завернутыми в плед, у стола, пододвинутого к печке, в которой потрескивали дрова, за полчаса до этого зажженные старым Жаком. Каждый год пятнадцатого апреля Жак переставал топить печку. Каждый год пятнадцатого апреля окружной начальник, независимо от погоды, начинал свои утренние прогулки. Ровно в шесть часов парикмахерский подмастерье, заспанный и сам еще не бритый, входил в спальню Тротта. В четверть седьмого подбородок окружного начальника, гладко выбритый и напудренный, лежал между уже слегка посеребренными крыльями бакенбардов. Голый череп, после массажа и втирания нескольких капель одеколона, был слегка красен, а все излишние волоски, растущие из ноздрей и ушей и случайно торчавшие на затылке, над высоким крахмальным воротником, бесследно удалены. Тогда окружной начальник брал трость, надевал серый котелок и отправлялся в городской сад. На нем был белый, почти наглухо закрытый жилет с серыми пуговицами и сизый сюртук, облегающие панталоны без заглаженной складки, с темно-серыми штрипками, охватывающими узкие, остроконечные сапоги без

нашивных носков, из тончайшего шевро. Улицы были еще пусты. Городской омнибус, влекомый двумя тяжеловесными гнедыми конями, тарахтел по ухабистой мостовой. Возница на высоких козлах, завидев окружного начальника, тотчас же опускал кнут, клал вожжи на тормоз и стягивал шапку так низко, что она касалась его колен. Это был единственный человек в городке и даже во всем округе, приветствуя которого господин фон Тротта весело и даже резво помахивал рукой. У входа в городской парк господину фон Тротта отдавал честь муниципальный полицейский. Этому окружной начальник говорил сердечное «добрый день», но уже не помахивал рукой. Далее он направлялся к белокурой владелице павильона содовой воды. Приподнимал слегка котелок, выпивал стакан желудочной воды; не снимая перчаток, вынимал монету из жилетного кармана и шествовал дальше. Булочники, трубочисты, зеленщики и мясоторговцы попадались ему навстречу. Все его приветствовали. Окружной начальник отвечал им, дотрагиваясь большим пальцем до полей котелка. Только перед аптекарем Кронауэром, таким же любителем утренних прогулок, да к тому же еще и муниципальным советником, господин фон Тротта

снимал шляпу. Иногда он говорил: «Доброе утро, господин аптекарь! — останавливался и спрашивал: «Как дела?» — «Превосходно!» — отвечал аптекарь. «Приятно слышать!» — говорил окружной начальник, еще раз приподымал шляпу и продолжал свое странствие.

Он возвращался домой не раньше восьми часов. Иногда в сенях или на лестнице ему попадался навстречу почтальон. Тогда он еще заходил на минутку в канцелярию, ибо любил находить письма рядом с завтраком. Он не выносил видеть кого-нибудь или говорить с кем-нибудь во время завтрака. Старому Жаку еще дозволялось неслышно появляться в зимние дни, чтобы помешать в печке, в летние — чтобы закрыть окно, если шел сильный дождь. О фрейлейн Гиршвитц не могло быть и речи. До часу дня вид ее внушал ужас окружному начальнику.

Однажды, это было в конце мая, господин фон Тротта возвратился со своей прогулки в пять минут девятого. В это время почтальон уже давно должен был доставить письма. Господин фон Тротта сел за стол в комнате, где он обычно завтракал. Яйцо, сваренное в «мешочек», как всегда, стояло в серебряной рюмке. Золотом переливался мед, булочки, как и каждый день, пахли

огнем и дрожжами; на огромном зеленом листе желтым светом светилось масло, в фарфоровом кофейнике с золотой каемкой дымился кофе. Все было на своем месте; по крайней мере, с первого взгляда господину фон Тротта это так показалось. Но вдруг он поднялся, положил салфетку и еще раз испытующим взором окинул стол. На обычном месте не было писем. До сих пор, поскольку память не изменяла окружному начальнику, еще ни один день не проходил без служебной почты. Господин фон Тротта подошел сначала к окну, словно желая убедиться, что мир еще существует. Да, старые каштаны в городском парке вздымали свои темно-зеленые кроны. В них, как и каждое утро, щебетали невидимые птицы. Даже тележка молочника, всегда в это время останавливавшаяся у окружной управы, и сегодня, как ни в чем не бывало, стояла на обычном месте, словно день был таким же, как и все другие. «Значит, вовне ничего не переменилось!» — констатировал окружной начальник. Возможно ли, что сегодня не было писем? Возможно ли, что Жак забыл подать их? Господин фон Тротта позвонил в колокольчик. Его серебристый звон юрко пробежал по тихому дому. Никто не шел. Окружной начальник все еще не дотрагивался до завтрака.

Он позвонил вторично. Наконец в дверь постучали. Он удивился, испугался и обиделся, увидев, что входит фрейлейн Гиршвитц, его домоправительница. На ней было нечто вроде утреннего вооружения, в котором он еще никогда ее не видел. Большой передник из темно-синей клеенки закрывал ее от шеи до самых пяток, белый чепец туго обтягивал ее голову, оставляя открытыми большие уши с мягкими, мясистыми широкими мочками. Вид ее показался господину фон Тротта необыкновенно противным — запах клеенки был для него нестерпим.

— Весьма странно! — произнес он, не отвечая на ее приветствие. — Где Жак?

— Жака постигла внезапная немощь.

— Постигла? — повторил, не сразу понявший ее окружной начальник. — Что, он болен? — переспросил господин фон Тротта.

— У него жар! — сказала фрейлейн Гиршвитц.

— Благодарю! — произнес господин фон Тротта и махнул рукой.

Он сел за стол и выпил кофе. Яйцо, мед, масло и булочки нетронутыми остались на подносе. Он понял только, что Жак болен и, следовательно, не в состоянии подать ему письма. Но с чего он вдруг заболел? Он был всегда так же здоров, как поч-

та, к примеру. Если бы она внезапно перестала доставлять письма, это было бы ничуть не более удивительно. Окружной начальник сам никогда не хворал. Если человек заболевал, он должен был умереть. Болезнь была не чем иным, как попыткой природы приучить человека к смерти. Эпидемическим болезням — в молодые годы господина фон Тротта люди еще боялись холеры — тот или иной мог противостоять. Но с другими болезнями, коварно и тихо подкрадывавшимися к человеку, бороться было бесполезно, как бы там они ни назывались. Врачи, которых окружной начальник называл «фельдшерами», уверяли, что умеют лечить, но это для того, чтобы не умереть с голоду. Может быть, и правда существовали исключения — люди, продолжавшие жить после болезни, но, поскольку господин Тротта помнил, среди его окружающих, близких и дальних, таких исключений не замечалось.

Он опять позвонил.

— Я хотел бы получить письма, — обратился он к фрейлейн Гиршвитц, — но, пожалуйста, пришлите их с кем-нибудь другим! Что же такое, собственно, с Жаком?

— У него жар! — сказала фрейлейн Гиршвитц. — По-видимому, он простудился.

— Простудился? В мае?

— Он уже не молод!

— Пригласите доктора Срибни!

Этот доктор был окружным врачом. Он ежедневно отправлял службу в окружной управе от девяти до двенадцати. Вскоре он должен был прийти. По мнению окружного начальника, доктор Срибни был «порядочным человеком».

В это время служитель из управы принес почту. Окружной начальник взглянул только на конверты, отдал их обратно и велел положить в канцелярии. Он стоял у окна и не мог надивиться, что мир там, за окном, видимо, ничего не знал о переменах в его доме. Он сегодня не ел и не читал почты. Какая-то загадочная болезнь свалила Жака. А жизнь шла дальше своей обычной чредой.

Медленно, углубленный в какие-то неясные мысли, господин фон Тротта отправился на службу и двадцатью минутами позже, чем обыкновенно, сел за свой письменный стол. Явился с докладом первый окружной комиссар. Вчера снова состоялось собрание чешских рабочих. Назначен был праздник «соколов», делегаты славянских государств (под ними подразумевались Сербия и Россия, но на служебном диалекте имена эти не произносились) должны были съехаться

уже завтра. Социал-демократы немецкой речи тоже зашевелились. Все это заботило окружного начальника, досаждало ему, расстраивало и уязвляло. Все, что предпринимали непокорные слои населения, чтобы оскорбить, косвенно или непосредственно, его величество императора, сделать закон еще более немощным, чем он был и без того, нарушить спокойствие, уязвить благоприличие, высмеять достойное уважения, насадить чешские школы и провести оппозиционных депутатов, — все это были действия, направленные лично против него, окружного начальника. Прежде он только пренебрежительно относился к отдельным национальностям, к «автономии» и «народу», требовавшему «расширения прав». Постепенно он начал их ненавидеть, этих «крикунов, поджигателей, предвыборных агитаторов». Он вменял в обязанность окружному комиссару немедленно разгонять всякое собрание, коль скоро оно намеревалось «принять резолюцию». Из всех слов, вошедших за последнее время в моду, слово «резолюция» он ненавидел всего сильнее; может быть, потому, что стоило только заменить в нем одну маленькую буковку другой, и оно превращалось в ненавистнейшее ему слово «революция». Это последнее он искоренял вся-

чески. В его лексиконе, домашнем и служебном, оно не встречалось; и если в докладе кого-нибудь из подчиненных ему попадалось обозначение «революционный агитатор», относящееся к активному социал-демократу, он зачеркивал это слово и красными чернилами надписывал «подозрительный субъект». Может быть, где-нибудь в империи и существовали революционеры, в округе господина фон Тротта их не имелось.

— Пришлите мне потом вахмистра Слама! — сказал господин фон Тротта комиссару. — Потребуйте для этих «соколов» жандармское подкрепление. Напишите краткий доклад в городскую управу и представьте мне его завтра. Может быть, нам придется связаться с военным округом. Во всяком случае, жандармский наряд должен с завтрашнего дня быть наготове. Я хотел бы получить краткую выписку из последнего распоряжения министерства о мерах предосторожности.

— Слушаюсь, господин окружной начальник.

— Все. Что, доктор Срибни уже пришел?

— Его только что позвали к Жаку.

— Мне хотелось бы с ним переговорить.

Окружной начальник больше не дотрагивался сегодня до деловых бумаг. В те времена, в те спокойные времена, когда он вступил в должность

окружного начальника, еще не существовало автономистов и социал-демократов, да и «подозрительных субъектов» было немного. В медленном течении лет они как-то незаметно вырастали, распространялись и становились опасными. И теперь окружному начальнику казалось, что только болезнь Жака открыла ему глаза на грозные перемены в существующем мире, словно смерть, присевшая на край постели старого слуги, угрожала не ему одному. Если Жак умрет, внезапно мелькнуло в голове окружного начальника, значит — как бы вторично умрет и герой Сольферино и, может быть, — здесь сердце господина фон Тротта на секунду перестало биться, — и тот, которого герой Сольферино спас от смерти. О! Не только Жак захворал сегодня! Нераспечатанными лежали письма на столе перед окружным начальником: кто знает, что написано в них! На глазах у властей и жандармерии, в самом сердце страны, собирались «соколы». Эти «соколы», которых окружной начальник про себя называл «соколистами», как бы желая сделать из этой довольно значительной группировки славянских народностей нечто вроде небольшой партии, заверяли, что они только гимнасты, тренирующие свои мускулы. Окружного началь-

ника пробрала дрожь. И впервые с тех пор, как он начал работать в своей канцелярии, он подошел к окну и в этот бесспорно теплый весенний день закрыл его.

В этот момент вошел окружной врач. Господин фон Тротта осведомился у него о самочувствии старого Жака. Доктор Срибни сказал:

— Если болезнь осложнится воспалением легких, он не выдержит. Он очень стар. У него сейчас температура выше сорока, и он просил позвать священника.

Окружной начальник склонился над столом. Он боялся, чтобы доктор Срибни не заметил перемены в его лице, и почувствовал, как на самом деле что-то начало в нем изменяться. Он открыл ящик, достал сигары и предложил их доктору. Затем молча указал на кресло. Оба закурили.

— Итак, у вас мало надежды? — спросил наконец господин фон Тротта.

— Если говорить правду, очень мало! — отвечал доктор. — В этом возрасте… — Он не закончил фразы и взглянул на окружного начальника, как бы желая узнать, на много ли хозяин моложе слуги.

— Он никогда не болел! — сказал окружной начальник, словно это являлось смягчающим

обстоятельством, а доктор — инстанцией, от которой зависела жизнь Жака.

— Да, да, — произнес доктор. — Это случается. Сколько ему может быть лет?

Окружной начальник подумал и сказал:

— От семидесяти восьми до восьмидесяти.

— Да, — заметил доктор, — так я и думал. То есть с сегодняшнего дня. Покуда человек на ногах, кажется, что он будет жить вечно!

С этими словами окружной врач встал и пошел заниматься своими делами.

Господин фон Тротта написал на записке: «Я в квартире Жака», — положил бумагу под пресс-папье и пошел во двор.

Он еще никогда не бывал в жилище Жака. Это был крохотный домик, пристроенный к стене, отгораживающей соседний двор, с непомерно большой трубой на крыше. У него было три стены из желтоватого кирпича и коричневая дверь в середине. Вход был через малюсенькую кухню, из которой стеклянная дверь вела в комнату. Ручная канарейка Жака сидела на куполе клетки, рядом с окном, на котором висела несколько короткая белая гардина. У стены стоял гладко обструганный стол. Над ним — голубая керосиновая лампа с круглым светоусилителем. Божья матерь в

большой раме стояла на столе, прислоненная к стенке, так ставят портреты родственников. На кровати, головой к окну, под большой горой платков и перин лежал Жак. Он подумал, что пришел священник, и вздохнул свободно в облегченно.

— Ах, господин барон, — пробормотал он, увидев входящего.

Окружной начальник приблизился к старику. Старик приподнялся на локте. На нем был вязаный ночной колпак из темно-синей шерсти, сквозь частые петли которого поблескивали серебряные волосы. Его гладко выбритое лицо, раскрасневшееся от жара, напоминало крашеную слоновую кость. Окружной начальник опустился на стул подле кровати и сказал:

— Ну, ну, все это не так страшно, я сейчас только говорил с доктором, это, по-видимому, катар!

— Так точно, господин барон, — согласился Жак и сделал попытку под одеялом шаркнуть ногой. Он сел совершенно прямо и добавил: — Прошу прощения! К завтрашнему дню, думается мне, все пройдет!

— А через несколько дней уже наверное!

— Я жду духовника, господин барон!

— Да-да, — сказал господин фон Тротта, — он придет. Времени еще достаточно!

— Он уже в пути, — возразил Жак таким тоном, как будто собственными глазами видел его приближение. — Он уже идет! — продолжал старик и вдруг, по-видимому, перестал понимать, что возле него сидит окружной начальник. — Как умер покойный господин барон, — говорил он, — никто из нас не знал. Утром или, может быть, это было накануне, он вышел во двор и спросил: «Жак, где мои сапоги?» Да, это было накануне. А утром они ему уже не понадобились. Зима тогда встала сразу, очень суровая зима. До зимы, думается мне, я еще доживу. До зимы уже совсем недалеко, нужно только набраться терпения. Теперь у нас июль, значит, июль, июнь, май, апрель, август, ноябрь, а к Рождеству можно уж и отправляться! Рота, стройся! — Он умолк, смотря большими блестящими синими глазами куда-то сквозь окружного начальника, как сквозь стекло.

Голова Жака тряслась, и вместе с ней непрерывно трясся темно-синий колпак. На желтом, высоком и костлявом лбу блестели мелкие капли пота. Окружной начальник пошел обратно в канцелярию, послал тамошнего служителя за священником и сестрой милосердия, а фрейлейн Гиршвитц велел пока что дежурить у Жака, потом

приказал подать себе шляпу, трость и перчатки и в этот необычный час, ко всеобщему удивлению горожан, отправился в парк.

Но скоро что-то погнало его из густой тени каштанов обратно домой. Подходя к двери, он услышал серебристый звон колокольчика, возвещавший близость священника. Священник уже покидал дом. Прохожие дождались, покуда окружной начальник скрылся в дверях, вошли в сени окружной управы и узнали от служителя, что Жак при смерти. Его знали в городке. И старику, расставшемуся с этим миром, посвятили несколько минут благоговейного молчания.

Окружной начальник прямо отправился во двор и вошел в комнату умирающего. В кухне он долго осматривался в поисках места для шляпы, трости и перчаток и наконец пристроил их на полке среди горшков и тарелок. Он выслал фрейлейн Гиршвитц и сел возле постели. Солнце стояло уже так высоко на небе, что заливало весь обширный двор окружной управы и через окно проникало в комнату Жака. Короткая белая гардина висела теперь перед окном, как веселый, освещенный солнцем фартучек. Канарейка резво и неустанно щебетала; некрашеные светлые половицы желтели в солнечном сиянии; широ-

кий серебряный солнечный луч блестел в ногах постели, и нижняя половина одеяла от этого белела какой-то небесной белизной, и вот этот солнечный луч вскарабкался на стену, у которой стояла кровать. Время от времени легкий ветерок пробегал по двум старым деревьям, растущим во дворе у стены, которые были так же стары, как Жак, или еще старше, и каждый день давали ему приют в своей тени. Ветер пробегал по их кронам, они шелестели, и Жак, казалось, слышал это, ибо он приподнялся и сказал:

— Пожалуйста, господин барон, окно!

Окружной начальник распахнул его, и веселые майские шумы тотчас же ворвались в комнату. Слышен стал шелест деревьев, легкое дыхание ветерка, задорное жужжание сверкающих испанских мух и песни жаворонков в бесконечных голубых высях. Канарейка выпорхнула в окно, но только для того, чтобы показать, что летать еще не разучилась. Ибо через мгновение она вернулась, села на подоконник и начала заливаться с удвоенной силой. Радостен был мир снаружи и внутри. И Жак перегнулся с кровати и застыл, прислушиваясь. Капельки пота блестели на его костлявом лбу, и узкий рот медленно открывался. Сначала он только молча улыбнулся. Потом при-

щурил глаза, его худые раскрасневшиеся щеки образовали складку под самыми скулами, теперь он походил на старого плута, и едва слышное хихиканье вырвалось из его глотки. Он смеялся, смеялся, не переставая, подушки тихонько вздрагивали, и кровать слегка поскрипывала. Окружной начальник тоже улыбнулся. Да, смерть приближалась к старому Жаку, как резвая девушка весной, и Жак открыл свой старый рот и показал ей редкие желтые зубы. Он поднял руку, указал на окно и, не переставая смеяться, покачал головой.

— Хороший денек сегодня! — заметил окружной начальник.

— Вот, вот же он! — воскликнул Жак. — На коне, весь в белом, почему же он так медленно движется? Смотри, смотри, как он медленно движется. Доброго здоровья, доброго здоровья! Почему же вы не хотите поближе подъехать? Подъезжайте же, подъезжайте! Хорошо сегодня, а? — Он опустил руку, вперив взгляд в окружного начальника и произнес: — Как медленно он едет! Это потому, что он уже давно умер и отвык ездить здесь по камням! А бывало! Помнишь ты, как он выглядел? Я хочу взглянуть на портрет! Правда ли он так изменился? Принеси сюда портрет, будь

так добр, принеси! Пожалуйста, господин барон!

Окружной начальник тотчас же понял, что он говорит о портрете героя Сольферино, и покорно вышел. В кабинете он влез на стул и снял с крюка слегка запыленный портрет героя Сольферино. Господин фон Тротта сдул пыль и протер его своим платком. Быстро с большим портретом под мышкой спустился он во двор. Подошел к постели Жака. Жак долго вглядывался в портрет, потом вытянул палец, провел им по лицу героя Сольферино и наконец попросил:

— Подержи его на солнце!

Окружной начальник повиновался. Он держал портрет в полосе солнечных лучей в ногах кровати. Жак приподнялся и сказал:

— Да, именно так он выглядел! — и снова опустился на подушки.

Окружной начальник поставил портрет на стол, рядом с богоматерью, и вернулся к постели.

— Пора собираться туда, — улыбаясь, произнес Жак и показал на потолок.

— Еще успеешь, — возразил окружной начальник.

— Нет, нет! — проговорил Жак и звонко рассмеялся. — Я уже зажился. Теперь пора! Посмотри-ка, сколько мне лет. Я позабыл.

— Где мне посмотреть?

— Там, внизу! — отвечал Жак, указывая на основание кровати. В нем имелся ящик. Окружной начальник выдвинул его и увидел аккуратно перевязанный пакетик в коричневой оберточной бумаге, рядом круглую жестяную коробку с пестрой, но уже поблекшей картинкой на крышке, изображавшей пастушку в белом парике, и вспомнил, что такие конфетные коробки он в детстве часто видел под рождественскими елками у своих школьных товарищей.

— Здесь лежит книжечка! — сказал Жак. Это был воинский билет Жака. Окружной начальник надел пенсне и прочел: «Франц Ксаверий Иосиф Кромихль».

— Это твой билет? — спросил господин фон Тротта.

— Разумеется! — отвечал Жак.

— Так тебя зовут Франц Ксаверий Иосиф?

— Так и зовут!

— Почему же ты называл себя Жаком?

— Это он велел!

— Так, — произнес господин фон Тротта и прочел год рождения. — Тогда тебе в августе будет восемьдесят два!

— Восемьдесят два в августе! А что у нас те-

перь?

— Девятнадцатое мая.

— Сколько еще до августа?

— Три месяца!

— Так, — спокойно сказал Жак и снова откинулся на подушки, — значит, я уж не доживу! Открой коробку! — сказал Жак, и окружной начальник открыл ее. — Там лежит святой Антоний и святой Георг, — продолжал старик. — Можешь оставить их себе. Потом кусочек корня против лихорадки. Это отдашь своему сыну Карлу Йозефу. Хорошенько поклонись ему от меня! Корень ему пригодится, места там болотистые! А теперь закрой окно. Я хочу спать!

Настал полдень. Вся кровать была освещена ярчайшим солнечным светом. На окне неподвижно застыли большие испанские мухи, канарейка перестала щебетать и мирно поклевывала сахар. Двенадцать ударов прогудело на башне ратуши, звонким эхом отдавшись во дворе. Жак тихонько дышал. Окружной начальник прошел в столовую.

Он окинул взглядом комнату. Вот здесь, на этом месте, всегда стоял Жак с подносом. Так он приближался к столу и так ставил блюдо. Он спустился во двор, сел на скамейку у стены под

коричневыми балками деревянного выступа и стал дожидаться сестры милосердия.

— Старик сейчас спит! — объявил он, когда она пришла.

Ласковый ветерок время от времени обдувал их. Тень от выступа медленно росла вширь и в длину. Мухи жужжали вокруг бакенбардов окружного начальника. Иногда он отмахивался от них, и при этом его накрахмаленная манжета стучала. Впервые, с тех пор как он начал служить, он, в будни, среди бела дня, сидел, ничего не делая.

Вдруг он услышал, что сестра милосердия выходит из дверей. Она сообщила, что у Жака упала температура и он, видимо, в полном сознании, встал с постели и собирается одеваться. И действительно, окружной начальник увидел в окне старика. Жак положил на подоконник кисточку, мыло и бритву, как делал это каждое утро, повесил ручное зеркальце на ручку окна и намеревался приняться за бритье. Он открыл окно и своим обычным, здоровым голосом крикнул:

— Мне хорошо, господин барон, я совсем здоров, прошу прощения и прошу себя не беспокоить!

— Ну-с, тогда все отлично! Это меня радует, очень радует.

— Я предпочитаю оставаться Жаком!

Господин фон Тротта, обрадованный столь чудесным происшествием и все же немного растерянный, вернулся на свою скамейку, попросил сестру милосердия остаться еще на всякий случай и осведомился, известны ли ей случаи такого быстрого выздоровления у людей в столь преклонных годах. Сестра, опустив взор на четки и словно выбирая свой ответ из быстро мелькавших между пальцами бусинок, заметила, что здоровье и болезнь в руце Божией и его воля уже не раз подымала умирающих. Научный ответ больше пришелся бы по душе окружному начальнику. И он решил завтра расспросить окружного врача. Покуда же он отправился в канцелярию, правда, освободившийся от большой заботы, но в то же время преисполненный еще большего непонятного беспокойства. Работать он не мог. Вахмистру Слама, уже давно его дожидавшемуся, он отдал распоряжения относительно праздника «соколов», но без обычной внушительности и строгости. Все опасности, угрожавшие округу и монархии, показались теперь господину фон Тротта менее значительными, чем утром. Он отпустил вахмистра, но тотчас же опять окликнул его и сказал:

— Слушайте, Слама, приходилось ли вам когда-либо слышать подобное: старый Жак утром казался умирающим, а теперь он совсем бодр!

Нет! Вахмистр Слама никогда ничего подобного не слышал. И на вопрос окружного начальника, не хочет ли он видеть старика, ответил, что очень охотно. Оба отправились во двор.

Жак уже сидел там на своей скамеечке, перед шеренгой выстроенных, как солдаты, сапог, со щеткой в руке и изо всех сил плевал на ваксу в деревянной коробочке. Он хотел подняться, увидев перед собой окружного начальника, но не смог этого сделать достаточно быстро. Он весело помахал щеткой, приветствуя вахмистра. Окружной начальник опустился на скамейку, вахмистр прислонил ружье к стене и, в свою очередь, сел, соблюдая почтительное расстояние. Жак оставался на своей скамеечке и чистил сапоги, правда, несколько мягче и медленнее, чем обычно.

— Мне сейчас вспомнилось, — произнес Жак, — что я говорил сегодня господину барону «ты»! Мне это только сейчас пришло в голову.

— Не важно, Жак! — заметил господин фон Тротта. — Это сделал жар!

— Да, я говорил с вами уже почти как покойник. А за неправильную прописку вы должны

засадить меня, господин вахмистр. Меня ведь зовут Франц Ксавелий Иосиф! Но мне хотелось бы, чтобы и на могиле было написано: «Жак». А моя книжка лежит под воинским билетом, там кое-что припасено на похороны и святое поминание, и там снова проставлено «Жак»!

— Время покажет! — сказал окружной начальник. — С этим можно подождать!

Вахмистр громко рассмеялся и вытер пот со лба.

Жак до блеска начистил все сапоги. Его немного знобило, он вошел в дом и вернулся в шубе, которую нередко носил и летом во время дождя, и снова уселся на скамеечку. Канарейка полетела вслед за ним, хлопая крылышками над его серебряной головой, поискала себе уютного мостика, прыгнула на перила, с которых свисали два ковра, и запела. Ее пение разбудило сотни воробьиных голосов в кронах немногих деревьев, и воздух на несколько минут наполнился щебечущим и веселым гомоном. Жак поднял голову и не без гордости прислушался к победоносному голосу своей канарейки, заглушавшему все остальные. Окружной начальник улыбнулся. Вахмистр хохотал, зажимая себе рот платком, а Жак хихикал. Даже сестра милосердия прервала молитву и

улыбнулась из окна. Золотое послеполуденное солнце уже освещало деревянный выступ и играло высоко в зеленых кронах. Комары томно реяли легкими круглыми стайками в вечернем воздухе, изредка с громким жужжанием тяжело пролетал майский жук, стремясь в гущу листвы и, вероятно, себе на погибель, прямо в открытый клюв воробья. Ветер становился сильнее. Теперь уж и птицы смолкли. Темно-синими стали прорези неба и розовыми — белые облачка.

— Тебе пора в постель! — сказал господин фон Тротта Жаку.

— Я должен еще отнести на место портрет! — пробормотал старик, поднялся, снова появился с портретом героя Сольферино и исчез в темноте лестницы. Вахмистр посмотрел ему вслед и сказал:

— Удивительное дело!

— Да, это удивительно, — согласился господин фон Тротта.

Жак возвратился и подошел к скамейке. Ни слова не говоря, он неожиданно сел между окружным начальником и вахмистром, открыл рот, глубоко вздохнул, и, прежде чем оба они успели обернуться, его старый затылок откинулся на спинку скамьи, руки упали на сиденье, шуба

распахнулась, ноги вытянулись окаменело и прямо, загнутые носки шлепанцев поднялись кверху. Набежал короткий и сильный порыв ветра. Наверху медленно уплывали вдаль красноватые облачка. Солнце село за стену. Окружной начальник, бережно придерживая левой рукой серебряную голову слуги, правую приложил к его сердцу. Вахмистр стоял с испуганным видом, его черная шапка валялась на земле. Большими, торопливыми шагами подбежала сестра милосердия. Она взяла руку старика, несколько секунд подержала ее, затем мягко опустила на шубу и перекрестилась, молча взглянув на вахмистра. Он понял и подхватил Жака под руки. Она взяла его ноги. Так они снесли его в маленькую комнатку, положили на кровать, скрестили ему руки на груди, обвив их четками, и поставили в изголовье икону пресвятой богородицы. Потом опустились на колени, и окружной начальник стал читать молитву. Кончив, он поднялся, бросил взгляд на свои брюки, отряхнул пыль с колен и вышел, сопровождаемый вахмистром.

— Так хотел бы умереть и я, милый Слама! — сказал он вместо обычного «Всего хорошего!» и пошел в свой кабинет.

Господин фон Тротта написал все распоряже-

ния касательно похорон своего слуги на большом листе канцелярской бумаги, обдуманно, как церемониймейстер, пункт за пунктом, с разделами и подразделами.

Отныне дом стал казаться окружному начальнику чужим, пустынным и неуютным. Он больше не находил писем на подносе рядом с завтраком и медлил давать новые поручения служителю канцелярии. Он больше не дотрагивался ни до одного из своих серебряных настольных колокольчиков, а если иногда по рассеянности и протягивал к ним руку, то разве что поглаживал их.

В один прекрасный день, это было как раз перед праздником «соколов», когда его присутствие в городе могло оказаться нужным, он принял неожиданное решение.

Но об этом мы расскажем в следующей главе.

Глава одиннадцатая

Окружной начальник решил навестить своего сына в далеком пограничном гарнизоне. Для человека склада господина фон Тротта это было нелегкое предприятие. У него были необычные представления о восточной границе монархии. Двое его школьных товарищей за непростительные промахи по службе были переведены в эту отдаленную имперскую землю, на границе которой, вероятно, уже слышался вой сибирского ветра. Медведи, волки и еще худшие чудовища, как-то вши и клопы, угрожали там цивилизованному австрийцу. Господин фон Тротта прихватил с собой старый револьвер. Возможные приключения отнюдь не пугали его: скорее он переживал то опьяняющее чувство давно забытого детства, которое влекло его и его друга Мозера на охоту в таинственные лесные чащи отцовского имения или на кладбище в полуночный час. Он весело и коротко простился с фрейлейн Гиршвитц, с неопределенной, но смелой надеждой никогда ее больше не увидеть, и в одиночестве поехал на станцию. Кассир в окошечке сказал:

— О, наконец-то большое путешествие. Счаст-

ливого пути!

Начальник станции поспешил выйти на перрон.

— У вас служебная поездка? — осведомился он. И окружной начальник, бывший в том приподнятом настроении, когда люди любят казаться загадочными, отвечал:

— В этом роде, господин начальник станции! Можно сказать и служебная.

— На долгое время?

— Еще не известно.

— Наверно, заодно навестите и сына?

— Если удастся!

Окружной начальник стоял у окна и помахивал рукой. Он легко расстался со своим округом и не думал о возвращении. Он еще раз перечитал в путеводителе названия всех станций. «В Одерберге пересадка», — повторил он про себя.

Он сравнивал часы расписания с фактическим временем отправления и прибытия поездов и сверял свои карманные часы с часами на всех вокзалах, мимо которых проходил поезд. Странно, но все неточности радовали, более того, даже освежали его сердце. В Одерберге господин фон Тротта пропустил один поезд. Снедаемый любопытством, оглядываясь во все стороны, прошел он

по перрону, через залы ожидания и даже кусочек по большой дороге, ведущей в город. Вернувшись на вокзал, он притворился, будто опоздал нечаянно, и внушительно сказал швейцару:

— Я опоздал на свой поезд!

Он был разочарован, когда швейцар не выказал удивления. В Кракове предстояла еще одна пересадка. Это радовало его. Если б он не известил Карла Йозефа о времени своего приезда и если б в это «опасное гнездо» прибывали хотя бы два поезда в день, он сделал бы передышку, чтобы немного посмотреть мир. Но этот мир открывался его взору даже из окна вагона. Весна всю дорогу приветствовала окружного начальника. В полдень он приехал к месту назначения. С бодрым спокойствием сошел он с подножки тем «эластичным шагом», который газеты обычно приписывали старому императору и который постепенно усвоили себе многие старые чиновники. Ибо в те времена монархии существовала совсем особенная, впоследствии полностью позабытая, манера расставаться со спутниками, выходить из вагонов, входить в гостиницы, на перроны и в дома, приближаться к родным и друзьям; манера ступать, может быть, обусловленная узкими брюками пожилых господ и резиновыми штрипками,

которые многие из них все еще любили носить поверх штиблет. Итак, этим особенным шагом господин фон Тротта вышел из вагона. Он обнял сына, стоявшего навытяжку у самой подножки. Господин фон Тротта был сегодня единственным пассажиром, вышедшим из вагона первого и второго класса. Несколько отпускников, железнодорожников и евреев в длинных черных развивающихся одеждах вышли из третьего. Все смотрели на отца и сына. Окружной начальник поспешил в зал ожидания. Там он поцеловал Карла Йозефа в лоб и заказал в буфете два коньяка. На стене, над уставленной бутылками полкой, висело зеркало. Отец и сын пили, рассматривая в нем лица друг друга.

— Или это зеркало так скверно, — сказал господин фон Тротта, — или ты действительно плохо выглядишь!

«Неужели ты так поседел?» — хотелось спросить Карлу Йозефу, ибо он видел множество серебряных нитей, блестевших в темных бакенбардах и на висках отца.

— Дай на тебя поглядеть! — продолжал окружной начальник. — Дело, безусловно, не в зеркале! Может быть, это здешняя служба? Что, круто приходится?

Окружной начальник твердо установил, что сын его выглядит не так, как следует выглядеть молодому лейтенанту. «Может быть, он болен?» — подумал отец. Кроме болезней, от которых умирают, есть на свете еще какие-то странные болезни, которыми, по слухам, нередко хворают офицеры.

— Коньяк тебе не вредит? — спросил он, чтобы окольными путями узнать, как обстоят дела.

— Нисколько, папа, — отвечал лейтенант. Этот голос, экзаменовавший его много лет назад в тихие воскресные утра, еще звучал у него в ушах, носовой голос государственного чиновника, строгий, немного удивленный и испытующий голос, от которого всякая ложь замирала на языке.

— Нравится тебе в пехоте?

— Очень нравится, папа!

— А твоя лошадь?

— Я привез ее с собой, папа!

— Часто ездишь?

— Нет, редко, папа.

— Не любишь?

— Нет, я никогда не любил, папа.

— Перестань с этим «папа», — внезапно перебил его господин фон Тротта. — Ты уже достаточно взрослый. И теперь каникулы у меня.

Они поехали в город.

— Ну, здесь совсем уж не так дико! — заметил окружной начальник. — Развлекаются здесь как-нибудь?

— Очень много, — сказал Карл Йозеф. — У графа Хойницкого. Там бывает весь свет. Ты увидишь его. Мне он очень приятен.

— Значит, это первый друг, который у тебя когда-либо был?

— Полковой врач Макс Демант тоже был моим другом, — возразил Карл Йозеф. — Вот твоя комната, папа! — сказал он. — Товарищи живут рядом и поднимают иногда шум по ночам. Но другой гостиницы нет. Да и они возьмут себя в руки на то время, что ты здесь пробудешь!

— Не существенно! Не существенно! — пробормотал окружной начальник. Он вынул из чемодана круглую жестяную коробку и показал ее Карлу Йозефу. — Тут какой-то корень, будто бы помогающий от болотной лихорадки. Жак посылает его тебе!

— Что он поделывает?

— Он уже там! — окружной начальник показал на потолок.

— Он уже там! — повторил лейтенант.

Господину фон Тротта показалось, что это про-

изнес какой-то старый человек. У сына, должно быть, много тайн. Отцу они неизвестны. Говорят: «отец», «сын», но между ними лежат многие годы, высокие горы! И о Карле Йозефе знаешь не намного больше, чем о другом каком-нибудь лейтенанте. Он поступил в кавалерию, перевелся в пехоту и теперь носит зеленые обшлага егерей вместо красных обшлагов драгунов. Больше он ничего о нем не знает. Видимо, начинается старость и ты уже больше не принадлежишь целиком службе и дому! Ты принадлежишь Жаку и Карлу Йозефу. И перевозишь окаменевший, обветренный корень от одного к другому.

Окружной начальник, все еще склоненный над чемоданом, открыл рот. Он говорил в чемодан, как говорят в разверстую могилу. Но сказал не как хотел: «Я люблю тебя, мой сын!» — а: «Он умер легко!»

— Это был настоящий майский вечер, и все птицы пели. Помнишь его канарейку? Она щебетала всех громче. Жак перечистил все сапоги и только после этого умер, во дворе, на скамейке! Слама тоже был при его смерти. Еще в полдень у него был сильный жар. Он просил передать тебе горячий привет. — Затем окружной начальник поднял глаза от чемодана и взглянул в лицо сы-

ну: — Точно так хотел бы однажды умереть и я.

Лейтенант пошел к себе в комнату, открыл шкаф и положил на верхнюю полку кусочек корня от лихорадки, рядом с письмами Катерины и саблей Макса Деманта. Он вынул из кармана часы доктора. Ему показалось, что тоненькая секундная стрелка быстрее, чем когда-либо, обращалась по маленькому кругу и что звонкое тиканье было сегодня громче обыкновенного. Стрелка не имела цели, тиканье было лишено смысла. «Скоро я услышу тиканье отцовских часов, он завещает их мне. В моей комнате будет висеть портрет героя Сольферино, и сабля Макса Деманта, и какой-нибудь сувенир от отца. Со мной же все будет похоронено. Я последний Тротта!»

Он был достаточно молод, чтобы почерпнуть сладостную отраду из своей печали и болезненную гордость из уверенности в том, что он последний. Из близлежащих болот доносилось громкое и заливистое кваканье лягушек. Заходящее солнце окрашивало в красный цвет мебель и стены комнаты. Слышно было, как катится легкая коляска и цокают копыта по пыльной улице. Коляска остановилась, это была соломенного цвета бричка, летний экипаж графа Хойницкого. Щелканье его кнута трижды прервало песню

лягушек.

Граф Хойницкий был любопытен. Никакая иная страсть, а только любопытство посылало его в дальние путешествия, удерживало за карточными столами крупных игорных домов, запирало за ним двери его охотничьего павильона, сажало на скамью в парламенте, весною повелевало ему возвращение домой, заставляло устраивать обычные празднества и преграждало ему путь к самоубийству. Одно только любопытство сохраняло ему жизнь. Он был ненасытно любопытен. Лейтенант Тротта сообщил ему, что ждет своего отца, окружного начальника; и хотя граф Хойницкий был знаком с доброй дюжиной австрийских окружных начальников и знал бесчисленное количество отцов лейтенантов, он все-таки жаждал познакомиться с окружным начальником Тротта.

— Я друг вашего сына, — сказал Хойницкий. — Вы мой гость. Ваш сын, верно, сказал вам об этом! Кроме того, я где-то вас уже видел. Уж не знакомы ли вы с доктором Свободой из министерства торговли?

— Мы с ним школьные товарищи!

— Вот видите! — воскликнул Хойницкий. — Он мой давнишний друг, этот Свобода. С годами он

начал немного чудить!.. Но, в общем, превосходный человек. Разрешите быть откровенным? Вы очень напоминаете мне Франца Иосифа!

На минуту воцарилась тишина. Окружной начальник никогда не произносил имени императора. В торжественных случаях говорилось: его величество. В обычной жизни — государь император. А вот этот Хойницкий сказал «Франц Иосиф» так же, как только что сказал: «Свобода»!

— Да, вы напоминаете мне Франца Иосифа, — повторил Хойницкий.

Они поехали. По обе стороны квакали бесчисленные лягушки, тянулись бесконечные зеленовато-синие болота. Вечер плыл им навстречу, фиолетовый и золотой. Они слышали мягкий шорох колес по глубокому песку проселочной дороги и громкий скрип осей. Хойницкий остановил лошадей перед охотничьим павильоном.

Задняя стена его прислонилась к темному краю елового леса. От узкой дороги павильон был отделен палисадником и каменным забором. Терновник, с обеих сторон окаймлявший коротенькую дорожку от калитки до дверей, видимо, давно не подстригали. Он разросся в диком произволе, местами ветви его сплетались над дорожкой, не позволяя двум людям одновременно

пройти по ней. Поэтому трое мужчин шли друг за другом, за ними покорно следовала лошадь, тащившая коляску. Она, видимо, давно привыкла к этой тропинке, и казалось, что она, как и человек, живет в этом павильоне. За терновником простирались огромные земли, поросшие осотом, охраняемые широкими темно-зелеными липами. Справа торчал каменный обломок колонны, может быть, остаток какой-то башни. Подобно гигантскому обломку зуба, вздымался к небу из садового лона этот камень, испещренный частыми темно-зелеными пятнами моха и черными нежными расселинками. На тяжелых деревянных воротах виднелся герб Хойницких — троекратно разделенный голубой щит с тремя золотыми оленями, рога которых переплетались в сложном рисунке. Хойницкий зажег свет. Они стояли в большой низкой комнате. Последний отблеск дня еще проникал в нее сквозь узкие щели зеленых жалюзи. Накрытый под лампой стол был уставлен тарелками, бутылками, кружками, серебряными приборами и чашками.

— Я позволил себе приготовить для вас небольшую закуску! — произнес Хойницкий.

Он разлил прозрачную, как воду, «девяностоградусную» в три бокальчика, протянул два

гостям и сам приподнял третий. Все выпили. Окружной начальник чувствовал себя слегка сбитым с толку, когда ставил на стол свой бокал. Реальность кушаний находилась в резком противоречии с таинственной обстановкой павильона. Но аппетит окружного начальника был сильнее его замешательства. Коричневый паштет из печенки, испещренный черными, как смоль, трюфелями, покоился в сверкающем венце кристально чистых льдинок. Нежная грудка фазана одиноко вздымалась на безупречной белизне тарелки, окруженная пестрой свитой зеленых, красных, белых и желтых овощей, по отдельности разложенных в украшенные гербом мисочки с золотисто-синей каемкой. Обширная хрустальная ваза кишела миллионами черно-серых икринок в рамке из золотых ломтиков лимона. Круглые розовые куски ветчины на длинном блюде, охраняемые большой серебряной трезубчатой вилкой, покорно приникали друг к другу, окаймленные розовощекими редисками, напоминавшими молоденьких, сдобных деревенских девушек. Вареные, жареные и начиненные кисло-сладким луком лежали жирные и широкие куски карпа и узкие скользкие щуки на хрустале, серебре и фарфоре. Круглые хлебцы,

черные, коричневые и белые, покоились в простой плетеной сельской корзиночке, как дети в колыбельках, почти незаметно нарезанные и так искусно сложенные ломтиками, что казались целыми и непочатыми. Между блюдами стояли толстые, пузатые бутылки и узкие, вытянутые вверх, четырех — и шестиугольные хрустальные графины, и рядом с ними — гладкие, круглые, одни с длинными, другие с короткими горлышками, с этикетками и без этикеток, но все в сопровождении целого полчища многообразных бокалов и бокальчиков.

Они принялись за еду.

Для окружного начальника эта необычная манера «закусывать» в необычный час явилась весьма приятным предзнаменованием своеобразных обычаев пограничной области. В старой императорско-королевской монархии даже спартанские натуры, вроде господина фон Тротта, были изрядными любителями покушать. Уже много времени утекло с того дня, как окружной начальник ел в неурочный час. Тогда поводом к этому послужил прощальный банкет, данный наместником, князем М., получившим, благодаря своему прославленному знанию языков и своему мнимому искусству «укрощать дикие народы»,

почетный перевод в только что оккупированные области Боснии и Герцеговины. Да, в тот день окружной начальник ел и пил в неурочный час. И этот день, наряду с другими пиршественными днями, так же ярко запечатлелся в его памяти, как те «особенные» дни, когда он получал благодарность от наместничества или когда ему было пожаловано звание окружного обер-комиссара и затем окружного начальника. Превосходное качество пищи он смаковал глазами, как другие смакуют языком. Его взор раза два скользнул по столу, с восторгом останавливаясь то на том, то на другом блюде. Он почти позабыл о таинственном и даже неуютном окружении. Они ели. Пили из различных бутылок. И окружной начальник хвалил все решительно, говоря «прелестно» и «превосходно» каждый раз, когда переходил от одного блюда к другому. Лицо его медленно покрывалось краской. И крылья его бакенбардов непрестанно двигались.

— Я пригласил милостивых государей сюда, — произнес Хойницкий, — потому что в «новом дворце» нам могли бы помешать. Там мои двери, так сказать, всегда открыты и все мои друзья могут приходить, когда им заблагорассудится. Обычно я здесь только работаю.

— Работаете? — переспросил окружной начальник.

— Да, — подтвердил Хойницкий. — Я работаю. Работаю, так сказать, шутки ради. Я только продолжаю традицию моих предков и, откровенно говоря, не всегда и не все принимаю всерьез, как это делал мой дед. Крестьяне в этих краях считали его могущественным волшебником, да, возможно, он и был им. Меня они считают тем же, но я не волшебник. До сих пор мне еще не удалось добыть ни единой крупинки!

— Крупинки? — повторил окружной начальник. — Крупинки чего?

— Золота, разумеется, — произнес Хойницкий так, словно речь шла о понятнейшей в мире вещи. — Я немного разбираюсь в химии, — продолжал он, — это наш старинный фамильный талант. Здесь по стенам, как вы видите, у меня стоят стариннейшие и наиболее современные аппараты. — Он указал на стены. Окружной начальник увидел шесть рядов деревянных полок на каждой стене. На полках стояли колбы, большие и маленькие бумажные кулечки, стеклянные сосуды, похожие на те, что встречались в старинных аптеках, диковинные стеклянные шары, наполненные пестрыми жидкостями,

лампочки, спиртовки и трубки.

— Странно, очень, очень странно! — произнес господин фон Тротта.

— Я и сам не могу в точности сказать, — продолжал граф Хойницкий, — всерьез я отношусь к этому или нет. Иногда, когда я по утрам прихожу сюда, мною овладевает страсть, тогда я перечитываю рецепты моего деда, произвожу опыты, сам смеюсь над собой и ухожу. Но всегда снова и снова берусь за эти опыты.

— Странно, странно! — повторил окружной начальник.

— Не более странно, — заметил граф, — чем все то, чем я мог бы заниматься. Сделаться министром культов и просвещения? Мне это предлагали. Начальником департамента в министерстве внутренних дел? Это мне тоже предлагали. Жить при дворе в звании обергофмейстера? И это мне доступно, Франц Иосиф знает меня.

Окружной начальник отодвинул свой стул на два дюйма назад. Когда Хойницкий так фамильярно называл императора по имени, словно тот был одним из тех комичных депутатов, которые со времени введения «всеобщего, равного и тайного» избирательного права, заседали в парламенте, или, и это в лучшем случае, словно

император был уже мертв и сделался одним из персонажей отечественной истории, — окружной начальник ощущал острый укол в сердце. Хойницкий поправился:

— Его величество знает меня!

Окружной начальник снова придвинулся к столу и спросил:

— А почему, простите меня, служить отечеству так же излишне, как делать золото?

— Потому что отечества более не существует.

— Я не понимаю! — проговорил господин фон Тротта.

— Я так и думал, что вы меня не поймете! — сказал Хойницкий. — Все мы уже не существуем!

Стало очень тихо. Последний свет дня уже давно потух. Сквозь узкие полосы зеленых жалюзи можно было видеть первые звезды, зажегшиеся на небе. Звучную и заливистую песню лягушек сменила тихая металлическая песня кузнечиков. Временами слышался резкий крик кукушки. Окружной начальник, под влиянием алкоголя, своеобразного окружения и необычных речей графа впавший в никогда ему не ведомое состояние одурманенности, украдкой взглянул на сына, просто для того, чтобы увидеть близкого и единомыслящего человека. Но и Карл Йозеф

больше не казался ему близким! Может быть, Хойницкий прав и они действительно больше не существуют: ни родина, ни окружной начальник, ни его сын. С огромным усилием господин фон Тротта пробормотал:

— Я не понимаю! Как это монархии больше не существует?

— Конечно, — возразил Хойницкий, — в буквальном смысле слова она еще существует. У нас еще имеется армия, — граф указал на лейтенанта, — и чиновники, — он указал на окружного начальника. — Но она заживо разлагается. Она распадается, она уже распалась. Старик, обреченный смерти, которому опасен малейший насморк, удерживает старый трон благодаря тому чуду, что еще в состоянии на нем сидеть. Но как долго это может продолжаться? Время больше не хочет нас! Это время прежде всего хочет создать самостоятельные национальные государства! Никто больше не верит в Бога. Народы больше не идут в церковь. Они идут в национальные союзы. Видно, Бог оставил императора.

Окружной начальник поднялся. Никогда он не думал, что найдется на свете человек, который скажет, что Бог оставил императора. В продолжение всей своей жизни он предоставлял

богословам заниматься делами неба, остальное же — церковь, мессу, страстной четверг и Господа Бога — считал насаждением монархии. И все же ему показалось, что слова графа объяснили ему всю путаницу, которую он ощущал в последние недели, особенно же со дня смерти старого Жака. Да, Господь оставил старого императора! Окружной начальник сделал несколько шагов, половицы заскрипели под его ногами. Он приблизился к окну и сквозь щелки жалюзи увидел узкие полосы темно-синей ночи. Все явления природы и все события повседневной жизни внезапно приобрели для него угрожающий и непонятный смысл. Непонятен был стрекочущий хор кузнечиков, непонятно мерцание звезд, непонятна бархатная синева ночи, непонятной стала окружному начальнику и его поездка в пограничную область и пребывание здесь, у этого графа. Он вернулся к столу, погладил одно крыло своих бакенбардов, как делал это обычно, когда чувствовал себя немного растерянным! Немного! Таким растерянным, как теперь, он не бывал никогда!

Перед ним стоял еще полный стакан. Он быстро осушил его.

— Итак, — сказал господин фон Тротта, — вы

считаете, вы считаете, что мы…

— Погибли, — закончил Хойницкий. — Да, мы погибли, вы, и ваш сын, и я. Мы, говорю я, последние из того мира, в котором Господь дарит свою милость величествам, а безумцы, вроде меня, делают золото! Слушайте! Видите? — Хойницкий встал, подошел к двери, повернул выключатель, и на большой люстре засияли лампы. — Видите! — повторил Хойницкий, — наше время — время не алхимии, а электричества. И химии тоже, поймите это! Знаете, как называется эта штука? Нитроглицерин. — Граф раздельно произнес все слоги. — Нитроглицерин, — повторил он. — А не золото! Во дворце Франца Иосифа все еще зажигают свечи. Понимаете? Нитроглицерин и электричество будут причиной нашей гибели! До нее осталось недолго, совсем недолго!

Свет, распространяемый электрическими лампами, пробудил на полках вдоль стен зеленые, красные и синие, широкие и узкие трепещущие блики, отбрасываемые стеклянными трубками. Молчаливый и бледный сидел Карл Йозеф. Он пил беспрерывно. Окружной начальник взглянул на лейтенанта и подумал о своем друге, художнике Мозере. И так как сам он уже изрядно выпил, старый господин фон Тротта, то увидел, словно

в отдаленном зеркале, бледное отражение своего опьяневшего сына под зелеными деревьями Фолькcгартена, в шляпе с отвислыми полями и с большой папкой в руках. Казалось, что пророческий дар графа видеть историческое будущее перенесся также и на окружного начальника, дав ему возможность увидеть будущее своего отпрыска. Наполовину опустошенные и унылые, стояли тарелки, миски, бутылки и бокалы. Волшебным светом светились огоньки в стеклянных трубках вдоль стен. Двое старых лакеев с бакенбардами, как братья похожие на Франца Иосифа и окружного начальника, принялись убирать со стола. Время от времени резкий крик кукушки, как молот, ударял в стрекот кузнечиков. Хойницкий взял в руки одну из бутылок:

— Отечественной (так он называл водку) вы должны выпить еще, уже немного осталось.

И они допили остаток «отечественной».

Окружной начальник вынул свои часы, но стрелок разглядеть не мог. Они так быстро вращались по белому кругу циферблата, что ему виделись сотни стрелок вместо положенных двух. А цифр вместо двенадцати было двенадцатью двенадцать! Ибо они теснились друг к дружке, как штрихи минут. Могло быть девять часов вечера,

могла быть и полночь.

— Десять, — сказал Хойницкий.

Лакеи с бакенбардами взяли гостей под руки и повели в сад. Там их ожидала большая карета Хойницкого. Небо было очень низко, милая знакомая земная чаша из знакомого синего стекла, хоть руками бери, лежало оно над землей. Каменный столб вправо от павильона словно касался его. Земные руки утыкали звездами низкое небо — так утыкают флажками карту. Временами вся синяя ночь начинала вертеться вокруг господина фон Тротта, тихонько покачивалась и снова замирала. Лягушки квакали в бесконечных болотах. В сыром воздухе пахло дождем и травой. Над белыми, как призраки, лошадьми, впряженными в черный экипаж, торчком возвышался кучер в черном кафтане. Лошади ржали, и копыта их мягко, как кошачьи лапки, взрыхляли влажную, песчаную почву.

Кучер щелкнул языком, и они тронулись.

Они возвращались той же дорогой, завернули в широкую, усыпанную гравием березовую аллею и подъехали к фонарям, возвещавшим близость «нового дворца». Серебряные стволы берез мерцали ярче, чем фонари. Большие колеса на дутых шинах с глухим шуршанием катились по гра-

вию, слышен был только твердый цокот быстрых копыт. В широкой и удобной карете можно было расположиться, как на диване. Лейтенант Тротта спал, сидя рядом с отцом. Его бледное лицо вырисовывалось на темной обивке кареты, ветерок, врываясь в открытое окно, обвевал его. Время от времени на него падал свет фонаря. Тогда Хойницкий, сидевший напротив своих гостей, видел бескровные, полуоткрытые губы лейтенанта и его выдающийся вперед костлявый нос.

— Он сладко спит, — обратился граф к окружному начальнику. Оба они чувствовали себя как бы отцами лейтенанта.

Ночной ветер протрезвил окружного начальника, но какой-то неясный страх все еще гнездился в его сердце. Он видел, как гибнет мир, а это был его мир. Живой сидел против него Хойницкий, совершенно, очевидно, живой, его колени даже иногда стукались о колени окружного начальника, и все же он внушал ему страх. Старый револьвер, который прихватил с собой господин фон Тротта, лежал в заднем кармане брюк. Но к чему здесь револьвер? На границе не видно было медведей и волков! Видна была только гибель мира.

Карета остановилась перед деревянными сводчатыми воротами. Кучер щелкнул бичом. Обе

половины ворот раскрылись, и кони дружно взяли невысокий подъем. Из всех окон фасада лился желтый свет на гравий и газоны по обеим сторонам дороги. Слышны были голоса и звуки рояля. Там, без сомнения, был «большой праздник».

Гости уже отужинали. Лакеи суетились, разнося большие графины разноцветных напитков. Гости танцевали, играли в тарок и вист, пили, в углу кто-то держал речь, к которой никто не прислушивался. Одни слонялись по залам, другие спали. Танцевали друг с другом одни мужчины. Черные парадные мундиры драгунов прижимались к синим мундирам егерей. В комнатах «нового дворца» Хойницкий разрешал жечь только свечи. Из массивных серебряных канделябров, расставленных на каменных полках и выступах стен или поднятых в руках каждые полчаса сменявшихся лакеев, росли белоснежные и желтые толстые свечи. Их огоньки дрожали от ночного ветра, тянувшего из открытых окон. Когда рояль на несколько мгновений умолкал, слышалось щелканье соловьев, стрекот кузнечиков и — время от времени — мягкое падение восковых слез на серебро.

Окружной начальник искал своего сына. Какой-то безыменный страх гнал старика из

комнаты в комнату. Его сын — где он? Его нет среди танцоров, нет среди слоняющихся по залам пьяных, нет среди игроков и пожилых господ, чинно беседующих по углам. Лейтенант одиноко сидел в одной из отдаленных комнат. Большая, пузатая бутылка, наполовину пустая, преданно стояла у его ног. Рядом с узким и как бы осевшим лейтенантом она казалась такой огромной, словно могла проглотить его. Окружной начальник подошел вплотную к лейтенанту, так, что носки его узких штиблет коснулись бутылки. Сын увидел сначала двух, потом нескольких отцов, они множились с каждой секундой. Они теснили его, и он отнюдь не был расположен оказывать им всем то почтение, которое подобало одному, и вставать перед каждым. Он не был расположен вставать и остался сидеть в той же странной позе: он сидел, лежал и полусползал с дивана в одно и то же время. Окружной начальник стоял неподвижно. Его мозг работал быстро, рождая тысячи воспоминаний зараз. Он видел, как кадет Карл Йозеф, в одно из тех летних воскресений, сидит в его кабинете, с белоснежными перчатками и черной кадетской фуражкой на коленях, и, глядя на отца детскими, послушными глазами, звонко отвечает на все вопросы. Он видел только что

произведенного лейтенанта кавалерии входящим в ту же комнату, синего, золотого в красного. Но этот молодой человек был бесконечно далек старому господину фон Тротта. Почему же ему причинял такую боль вид чужого, пьяного лейтенанта егерского батальона? Почему?

Лейтенант Тротта не шевелился. Правда, он был еще в состоянии вспомнить, что отец недавно приехал, и принять к сведению, что перед ним стоял не этот один, а множество отцов. Но ему никак не удавалось понять, почему его отец приехал именно сегодня, почему он так отчаянно множился и почему он сам, лейтенант, не имел сил подняться.

В течение многих недель лейтенант Тротта привыкал к «девяностоградусной». Она бросалась не в голову, а, как говаривали знатоки, «только в ноги». Сначала она приятно согревала грудь. Кровь начинала быстрее бежать по жилам, возрастающий аппетит устранял дурноту и позывы к рвоте. Потом выпивался еще стаканчик. И пусть утро было как угодно пасмурно и печально, его встречали бодро и весело, словно солнечное и радостное. Во время перерыва в учении офицеры закусывали в пограничной харчевне, неподалеку от леса, где экзерцировали егеря, и

тогда в приятельской компании снова выпивали по стаканчику. «Девяностоградусная» текла по горлу; как пожар, который сам потухает. Только что съеденное переставало чувствоваться. Потом следовало возвращение в казарму, переодевание, и опять они всей гурьбой отправлялись на вокзал обедать. Несмотря на долгий путь, никто не чувствовал голода. И все выпивали еще по глоточку «девяностоградусной». После обеда начинало клонить ко сну. Посему заказывалось черное пиво и вслед за ним опять «девяностоградусная». Короче говоря: в течение всего тоскливого дня случая «не пить водку» не выдавалось. Напротив, бывали дни и вечера, когда пить считалось обязательным.

Ибо жизнь становилась легче, как только выпьешь! О, чудеса этой границы! Трезвому она делала жизнь трудной. Но кого она оставляла трезвым? Лейтенант Тротта после выпивки во всех товарищах, начальниках и подчиненных видел добрых старых друзей. Городишко он знал вдоль и поперек, как будто родился и вырос в нем. Он заходил в крохотные мелочные лавки, узкие, темные, до отказа набитые всевозможными товарами, — они, как хомяковые норки, были вырыты в толстой стене, окружавшей рынок, — и

накупал ненужные вещи: фальшивые кораллы, дешевенькие зеркала, скверное мыло, гребенки из осинового дерева и плетеные собачьи поводки, только потому, что было весело откликаться на призывы рыжеволосых торговцев. Он улыбался всем встречным людям, — крестьянкам в пестрых платках с большими берестяными корзинами в руках, разряженным молодым еврейкам, чиновникам окружной управы и учителям гимназии. Широкая волна приветливости и благодушия катилась по этому мирку. Все люди весело отвечали на приветствия лейтенанта. Никаких затруднений более не существовало. Никаких затруднений на службе и вне ее! Все улаживалось легко и быстро. Язык Онуфрия здесь понимали. Иногда им случалось забрести в одну из окрестных деревень, они спрашивали дорогу у крестьян, и те отвечали на незнакомом языке. Но их понимали. Обязательной верховой езды не было. Лошадь время от времени он одалживал кому-нибудь из товарищей: хорошим наездникам, знавшим толк в лошадях. Одним словом, все было ладно. Лейтенант Тротта не замечал, что его походка стала неверной, что мундир был в пятнах, на брюках измялась складка, на рубашках не хватало пуговиц и что цвет лица у него по

вечерам был желтым, утром — пепельно-серым, а глаза бесцельно блуждали. Он не играл в карты — это одно уже успокаивало майора Цоглауэра. В жизни каждого человека бывают времена, когда он не может не пить. Не существенно, это проходит! Водка была дешева. Офицеры же обычно гибли из-за долгов. Тротта выполнял свои обязанности не более небрежно, чем другие. К тому же он не устраивал скандалов. Напротив, чем больше он пил, тем становился мягче. Когда-нибудь он женится и станет трезвенником! — думал майор. Он фаворит высшего начальства и быстро сделает карьеру. Стоит ему только захотеть, и он попадет в генеральный штаб.

Господин фон Тротта, осторожно присев на краешек дивана рядом с сыном, искал подходящих слов. Он не привык разговаривать с пьяными.

— Тебе все же следует, — произнес он после долгого размышления, — остерегаться водки. Я, например, никогда не пил больше, чем нужно для утоления жажды.

Лейтенант сделал чудовищное усилие, чтобы переменить свою непочтительную позу и сесть прямо. Его старания не увенчались успехом. Он посмотрел на старика, теперь это, слава богу, был только один старик, довольствовавшийся

узким краешком дивана и потому вынужденный опираться руками о колени, и спросил:

— Что ты сказал сейчас, папа?

— Тебе следует остерегаться водки, — повторил окружной начальник.

— Почему? — осведомился лейтенант.

— Что тут спрашивать, — сказал господин фон Тротта, несколько успокоенный, так как сын, видимо, хоть понимал, что ему говорят. — Водка тебя погубит! Вспомни Мозера.

— Мозер, Мозер, — проговорил Карл Йозеф, — да, конечно! Но он совершенно прав. Я помню его. Он написал портрет деда!

— Ты не забыл о портрете? — тихо спросил господин фон Тротта.

— Нет, я не забываю деда, — отвечал лейтенант. — Я всегда думаю о нем. Я недостаточно силен для него! Мертвые! Я не могу забыть о мертвых! Отец, я ничего не могу забыть! Отец!

Господин фон Тротта беспомощно сидел рядом с сыном, он не совсем понимал, что говорил Карл Йозеф, но чувствовал, что не одно опьянение кричало из юноши. Чувствовал, что лейтенант звал на помощь, и не мог ему помочь! Он сам приехал на границу, чтобы ему хоть немного помогли! Ибо он был совсем один в этом мире! Да и мир этот

рушился! Жак лежал под землей, господин фон Тротта был одинок, он хотел еще раз видеть сына, но сын тоже был одинок и, возможно, хотя бы потому, что он был молод, стоял ближе к гибели мира. Каким простым всегда выглядел мир! — подумал окружной начальник. На каждый случай имелись определенные правила поведения. Когда сын приезжал на каникулы, ему учинялся экзамен. Когда он стал лейтенантом, ему желали успехов. Когда он писал свои почтительные письма, в которых так мало говорилось, ему отвечали несколькими сдержанными строками. Но как следовало вести себя, когда сын был пьян? Когда он кричал «отец»? Когда из него кричало «отец»?

Он увидел входящего Хойницкого и встал быстрее, чем это было в его привычках.

— Вам телеграмма, — объявил граф. — Ее принес служитель гостиницы.

Это была служебная телеграмма, которая призывала господина фон Тротта обратно домой.

— К сожалению, вас уже отзывают! — сказал Хойницкий. — Это какое-нибудь дело в связи с «соколами».

— Да, по-видимому, — отвечал господин фон Тротта. — Могут произойти беспорядки. — Теперь он знал, что был слишком слаб, чтобы предпри-

нять что-нибудь против беспорядков. Он очень устал. До полной пенсии оставалось еще несколько лет! Но в эту минуту ему внезапно пришло в голову тотчас же выйти на пенсию. Он стал бы заботиться о Карле Йозефе — занятие, подходящее для старого отца.

Хойницкий подошел к Карлу Йозефу и сказал тоном человека, привыкшего обходиться с пьяными:

— Ваш батюшка должен уехать! — И Карл Йозеф тотчас же понял. Он смог даже подняться. Остекленевшими глазами он искал отца.

— Мне очень жаль, отец!

— Он внушает мне некоторые опасения! — обратился окружной начальник к Хойницкому.

— И не напрасно! — отвечал тот. — Ему нужно уехать отсюда. Когда у него будет отпуск, я попытаюсь показать ему свет. У него пропадет охота возвращаться сюда. К тому же он, возможно, и влюбится.

— Я не могу влюбиться! — медленно произнес Карл Йозеф.

Они поехали обратно в гостиницу.

Во все время пути было произнесено только одно-единственное слово «отец»! Его произнес Карл Йозеф и ничего к нему не добавил.

Окружной начальник проснулся на следующее утро очень поздно, уже слышны были трубы возвращающегося с учения батальона. Через два часа отходил поезд. Явился Карл Йозеф. Внизу послышалось щелканье бича графского кучера. Завтракал окружной начальник в вокзальном ресторане за офицерским столом.

С момента его отъезда из округа В. прошло невообразимо долгое время. Он с трудом вспоминал, как всего два дня назад садился в поезд. Господин фон Тротта (если не считать графа Хойницкого) — единственный здесь штатский, темный и тощий, — сидел за длинным подковообразным столом пестрых офицеров, под портретом Франца Иосифа Первого — знакомым, повсюду распространенным портретом коронованного шефа армии в белом фельдмаршальском мундире, с кроваво-красным шарфом через плечо. Как раз под белыми бакенбардами императора на полметра ниже, торчком стояли черные, слегка посеребренные крылья троттовских бакенбардов. Младшим офицерам, сидевшим у конца подковы, было хорошо видно сходство между Францем Иосифом и верным его слугой. Лейтенант Тротта со своего места также мог сравнивать лицо императора с лицом своего отца. И на секунду

лейтенанту показалось, что на стене висит портрет постаревшего отца, а внизу за столом, живой и немного помолодевший, в штатском платье, сидит император. Далекими и чуждыми стали ему вдруг и отец и император.

Окружной начальник между тем испытующим и безнадежным взором оглядывая стол, покрытые легким пушком безбородые лица молодых офицеров и усатые старших. Рядом с ним сидел майор Цоглауэр. Ах, господин фон Тротта охотно обменялся бы с ним несколькими заботливыми словами относительно Карла Йозефа! Но времени больше не было! За окном уже составляли поезд!

Окружной начальник совсем приуныл. Со всех сторон пили за его здоровье, за его счастливый путь и счастливое завершение служебных заданий. Он улыбался, вставал, чокался то с одним, то с другим, но голова его была тяжела от забот, а сердце теснили мрачные предчувствия. Ведь невообразимо долгое время прошло с момента его отъезда из округа В. Да, окружной начальник бодро и задорно отправлялся в неведомые края к своему родному сыну. Теперь он возвращался одинокий, от одинокого сына, с этой границы, где гибель его мира была видна так же ясно, как видна гроза с окраины города, в то время как над

его безмятежными, счастливыми улицами еще высится голубое небо. Вот уже зазвонил веселый колокол. Засвистел локомотив. Влажный пар уже осел серыми, прозрачными жемчужинками на стеклах ресторана. Завтрак окончился, и все встали со своих мест. «Весь батальон» провожал господина фон Тротта к вагону. Господину фон Тротта хотелось еще сказать что-нибудь экстраординарное, но ничего подходящего в голову не приходило. Он бросил последний ласковый взгляд на сына, но тотчас же испугался, что этот взгляд будет замечен, и потупил глаза. Он пожал руку майору Цоглауэру. Поблагодарил Хойницкого, снял свой солидный серый котелок, который обычно надевал в дорогу. Держа шляпу в левой руке, он правой обхватил спину Карла Йозефа. Потом поцеловал сына в обе щеки. И хотя ему хотелось сказать: «Не огорчай меня! Я люблю тебя, мой сын!» — он сказал только: «Будь молодцом!» — ибо Тротта были застенчивыми людьми.

Окружной начальник уже вошел в вагон и стоял у окна. Его рука в темно-серой лайковой перчатке лежала на спущенной раме. Его голый череп блестел. Его заботливый взгляд еще раз отыскал Карла Йозефа.

— Когда вы приедете в следующий раз, господин окружной начальник, — произнес неизменно хорошо настроенный капитан Вагнер, — вы уже найдете у нас маленькое Монте-Карло.

— Как это? — переспросил окружной начальник.

— Здесь открывается игорный дом, — пояснил Вагнер. И прежде, чем господин фон Тротта успел подозвать своего сына и предостеречь его от «Монте-Карло», локомотив дал свисток, буфера загремели, и поезд тронулся. Окружной начальник помахал темно-серой перчаткой, и все офицеры отдали честь. Только Карл Йозеф стоял неподвижно.

На обратном пути он пошел рядом с капитаном Вагнером.

— Отличный будет игорный дом, — сказал капитан. — Самый настоящий! О боже! Сколько времени я уже не видел рулетки! До чего же я люблю смотреть, как она вертится, и потом этот звук!.. Я рад до смерти.

Не один капитан Вагнер ждал открытия нового игорного дома. Ждали все. Годами ждал пограничный гарнизон игорного дома, который собирался открыть Каптурак.

Каптурак объявился через неделю после отъез-

да окружного начальника. Наверно, он привлек бы к себе куда больше внимания, если бы одновременно с ним, в силу странной случайности, не прибыла некая дама, пробудившая всеобщий интерес.

Глава двенадцатая

На границе Австро-Венгерской империи было в те времена немало людей одной породы с Каптураком. Они уже начинали кружиться над старым государством, подобно тем черным и трусливым птицам, которые из бесконечной дали чуют умирающего. С нетерпеливым и мрачным хлопаньем крыльев дожидаются они кончины. Своими отвесными клювами ударяют по добыче. Никто не знает, откуда они берутся и куда улетают. Это пернатые братья таинственной смерти, ее вестники, спутники и преемники.

Каптурак, маленький, невзрачного вида человек, вокруг него шныряют слухи, летят за ним по его извилистым путям, вьются над едва заметными следами, которые он оставляет. Он живет в пограничной харчевне. Водит дружбу с агентами южноамериканских пароходных компаний, ежегодно переправляющими на своих пароходах тысячи русских эмигрантов в их новую и грозную отчизну. Он охотно играет и мало пьет. Ему даже свойственна несколько грустная общительность. Он рассказывает, что годами занимался переправкой русских эмигрантов, живя по ту сторону

границы, и что там он оставил дом, жену и детей из страха быть сосланным в Сибирь после того, как был разоблачен и осужден целый ряд чиновников и военных, причастных к этому делу. А на вопрос, чем он намерен заниматься здесь, Каптурак с любезной улыбкой отвечает: «Делами».

Владелец гостиницы, в которой квартировали офицеры, некий Бродницер, родом из Силезии, по неизвестным причинам очутившийся на границе, открыл игорный дом. Он повесил записку на окно кафе, извещавшую, что здесь будут всевозможные карточные игры ежевечерне и вплоть до утра, будет «концертировать» оркестр и выступать «известные» шансонетные певицы. «Обновление» началось с концертов оркестра, состоявшего из восьми, словно склеенных друг с другом, музыкантов. Затем прибыл так называемый соловей из Мариахильфа — белокурая девушка из Одерберга. Она пела вальсы Легара и смелую песенку: «Если ночь любви прошла и седое брезжит утро…», а на бис: «Я под платьицем таю все в оборочках dessous…»

Итак, Бродницер превзошел все ожидания своих клиентов. Выяснилось, что рядом со множеством больших и маленьких ломберных столов, в темном, отделенном занавеской уголке, он поста-

вил еще и маленький стол для рулетки. Капитан Вагнер рассказывал об этом всем встречным и поперечным, пробуждая в них ликование. Людям, много лет прослужившим на границе (многие из них никогда не видели рулетки), этот маленький шарик казался одной из тех волшебных принадлежностей большого света, которые приносят человеку красивых женщин, дорогих лошадей, роскошные замки и прочее. Кому он придет на помощь, этот шарик? Всем им на долю пало убогое детство в закрытых учебных заведениях, тяжелая юность в кадетских корпусах, суровые годы службы на границе. Они ждали войны. Вместо нее была объявлена частичная мобилизация против Сербии, и они бесславно возвратились к привычному ожиданию механического продвижения в чинах. Маневры, служба, казино, служба и маневры! Они впервые видели, как шмыгает маленький шарик, и знали теперь, что само счастье кружится среди них, чтобы настигнуть сегодня одного, завтра другого. За рулеткой сидели еще и незнакомые, бледные, богатые и молчаливые господа, никогда здесь доселе не виданные. Однажды капитан Вагнер выиграл пятьсот крон. На следующий день все его долги были уплачены. В этом месяце он впервые за

долгое время получил свое жалованье без всяких удержаний. Правда, лейтенант Шнабель и лейтенант Грюндлер проиграли каждый по сто крон. Но ведь завтра они могли выиграть тысячу!..

Когда беленький шарик начинал бегать, становясь похожим на какой-то молочный круг, нанесенный на черные и красные поля; когда эти поля, в свою очередь, превращались в сплошной, расплывчатый круг неопределенного цвета, сердца господ офицеров наполнялись трепетом и в головах у них начинало странно шуметь, словно в каждом мозгу бегал особый шарик, и в глазах мелькали круги, черные и красные, черные и красные. Их колени дрожали, несмотря на то что они сидели. Глаза с отчаянной торопливостью устремлялись за шариком, бег которого все равно не могли проследить. Согласно своим собственным законам, шарик вдруг начинал покачиваться, опьяненный бегом, и, выдохшись, останавливался в занумерованной котловине. Раздавался стон облегчения. Даже тот, кто проигрывал, чувствовал себя освобожденным. На следующее утро один рассказывал об этом другому. И страстное опьянение охватило всех. Все больше и больше офицеров сходилось в игорном доме. Из каких-то неведомых краев появлялись

незнакомые штатские. Это они поддавали жару игре, пополняли кассу, вытаскивали крупные купюры из бумажников, золотые дукаты, часы и цепочки из жилетных карманов. Все номера гостиницы были заняты. Сонные дрожки, запряженные тощими клячами, всегда тщетно поджидавшие седоков на стоянке с зевающими возницами на козлах, похожие на восковые экипажи в паноптикуме, теперь ожили — и, смотрите, оказывается, их колеса могли катиться, а отощавшие клячи, постукивая копытами, трусить от вокзала к гостинице, от гостиницы к границе и обратно в городок. Угрюмые торговцы улыбались. Как-то просторнее становились темные лавчонки и пестрее выставленные товары. Ночь за ночью пел «соловей из Мариахильфа». На это пение откуда-то стекались никогда не виданные новые, разряженные девушки. В кафе раздвигали столики и танцевали под вальсы Легара. Весь мир переменился.

Да, весь мир! В некоторых местах появились странные плакаты, каких здесь никто еще не видывал. На всех языках империи призывали они рабочих щетинной фабрики бросить работу. Обработка щетины — единственная, захудалая индустрия этих мест. Рабочие — в большинстве

бедняки крестьяне. Часть их промышляет зимой в качестве лесорубов, а осенью нанимается убирать урожай. Летом же всем приходится идти на щетинную фабрику. Другую часть рабочих составляют евреи из низших слоев. Они не умеют ни считать, ни торговать и не знают никакого ремесла. Миль на двадцать во всей округе нет другой фабрики.

Производство щетины регулировалось неудобными и требующими больших затрат правилами, которых неохотно придерживались фабриканты. Нужно было снабжать рабочих особыми масками, предохраняющими от пыли и бацилл, строить большие светлые помещения, дважды в день сжигать отходы и на место рабочих, начинающих кашлять, нанимать новых. Ибо все работающие по очистке щетины вскоре начинали харкать кровью. Фабрика — обветшалые развалины с маленькими окнами, с протекающей шиферной крышей, огороженная ивовой изгородью, была окружена большим пустырем, куда с незапамятных времен свозился навоз, где разлагались дохлые кошки и крысы, ржавели жестянки и рядом со стоптанными башмаками валялись разбитые глиняные горшки. А кругом расстилались поля золотой пшеницы, полные

стрекочущих песен кузнечиков, и темно-зеленые болота, постоянно оживленные веселым кваканием лягушек. Перед маленькими серыми окнами, сидя у которых рабочие большими железными граблями без устали расчесывали густые связки щетины и глотали облака пыли, рождаемые каждой новой связкой, проносились быстрые ласточки, плясали переливчатые летние мухи, порхали белые и пестрые мотыльки, а сквозь большие отверстия в крыше проникало победоносное щебетание жаворонков. Рабочие, всего несколько месяцев назад пришедшие из своих деревень, рожденные и выросшие среди сладостного дыхания сена и холодного дыхания снегов, острого запаха навоза, щебечущего гомона птиц — среди всего великого разнообразия природы, эти рабочие сквозь серые облака пыли видели ласточек, видели кружение комаров и бабочек и тосковали по родным местам. Пение жаворонков вселяло в них беспокойство. Прежде они не знали, что закон повелевал заботиться об их здоровье, что в империи имеется парламент, что там есть несколько депутатов, которые сами были раньше рабочими. Являлись какие-то чужие люди, писали плакаты, созывали собрания, объясняли конституцию и ее недостатки, читали

вслух газеты, говорили на всех местных наречиях. Они были громче жаворонков и лягушек — рабочие забастовали.

Это была первая забастовка в этих краях. Она испугала политические инстанции. Десятками лет привыкли чиновники устраивать мирные переписи населения, праздновать рождение императора, принимать участие в ежегодных рекрутских наборах и отсылать всегда одинаково звучащие доклады в наместничество. Временами то тут, то там арестовывали русофильски настроенных украинцев, одного какого-нибудь православного попа, евреев, пойманных с контрабандным табаком, и шпионов. В течение десятилетий в этих краях очищали щетину, отсылали ее в Моравию, Богемию, Силезию на щеточные фабрики и получали из этих стран уже готовые щетки. В течение многих лет кашляли рабочие, харкали кровью, болели и умирали в больницах. Но они не бастовали. А теперь пришлось стягивать сюда расположенные вблизи отряды жандармерии и посылать доклад в наместничество. Последнее известило военное командование. А военное командование дало соответствующие инструкции начальнику гарнизона.

Молодые офицеры вообразили, что «народ» (то есть низшие слои штатских) требовал равноправия с чиновничеством, дворянством и коммерции советниками. Этого ни в коем случае нельзя допустить, если не хочешь революции. А революции они не хотели — значит, пока не поздно, следует стрелять. Майор Цоглауэр произнес краткую речь, из которой все это стало ясно. Война, разумеется, куда приятнее. Они не жандармские офицеры. Но войны пока что нет. Приказ есть приказ. При случае надо будет пойти в штыковую атаку, а то и скомандовать «огонь». Приказ есть приказ. Пока что он никому не мешает посещать заведение Бродницера и выигрывать уйму денег.

Однажды капитан Вагнер сильно проигрался. Один приезжий, еще недавно кадровый улан, носитель громкого имени и силезский землевладелец, выигрывал два вечера подряд и одолжил капитану денег, а на третий телеграммой был вызван домой. Долг составлял всего две тысячи крон, пустяки для кавалериста! Но не пустяки для егерского капитана! Правда, можно было бы обратиться к Хойницкому, но Вагнер и ему был должен немало.

Бродницер предложил:

— Господин капитан, распоряжайтесь по своему усмотрению моей подписью.

— Да, — сказал капитан, — но кто же даст так много под вашу подпись?

Бродницер подумал с минуту:

— Господин Каптурак!

Каптурак не замедлил появиться и сказал:

— Речь идет, следовательно, о двух тысячах крон заимообразно?

— Без сомнения!

— Большая сумма, господин капитан!

— Я отдам, — возразил Вагнер.

— Как? Из каких средств? Вы же знаете, что закладывать можно только треть жалованья и что у всех господ офицеров оно уже заложено. Не вижу никакой возможности!

— Господин Бродницер… — начал капитан.

— Господин Бродницер, — перебил Каптурак, как будто Бродницера здесь не было, — тоже должен мне немало. Я мог бы дать желаемую сумму, если бы кто-нибудь из ваших товарищей, еще получающий свое жалованье целиком, мог бы за вас поручиться, например, лейтенант Тротта. Он перешел из кавалерии, у него есть лошадь!

— Хорошо, — сказал капитан. — Я переговорю с ним. — И он пошел будить лейтенанта Тротта.

Они стояли в длинном, узком и темном коридоре гостиницы.

— Скорей подпиши, — шептал капитан. — Они там ждут и видят, что ты не решаешься! — Тротта подписал.

— Иди сейчас же вниз! — сказал Вагнер, — я тебя жду!

У маленькой двери в глубине зала, через который постоянные жильцы входили в кафе, Карл Йозеф остановился. Он впервые видел игорный зал Бродницера. Он вообще впервые видел игорный зал. Рулеточный стол был отделен занавесом из темно-зеленого репса. Капитан Вагнер приподнял его и нырнул туда, в другой мир. Карл Йозеф слышал мягкое, бархатистое жужжание шарика. Он не отваживался поднять занавес. В другом конце кафе, рядом со входом, была устроена эстрада, и на эстраде вертелся неутомимый «соловей из Мариахильфа». За столами шла игра. Карты шлепали по поддельному мрамору. Люди издавали нечленораздельные возгласы. Они казались одетыми в форму, все в белых рубашках, сидящий полк игроков. Сюртуки висели на спинках стульев. Мягко и призрачно покачивались при каждом движении игроков пустые рукава их мундиров. Над головами висела плотная грозо-

вая туча папиросного дыма. Крохотные головки сигарет, красноватые и серебристые, тлели в сером дыму, воссылая все новые и новые клубы голубого тумана к плотной грозовой туче. Под видимой тучей дыма как бы сгущалась другая, шипящая, воркующая, жужжащая туча шума. Закрыв глаза, можно было подумать, что огромная стая саранчи со странным пением налетела на сидящих людей.

Капитан Вагнер, с изменившимся лицом, вышел из-за занавеса. Глаза его ввалились в лиловые орбиты. Растрепанные коричневые усы повисли над ртом, и одна их половина, как это ни странно, выглядела короче другой, на подбородке топорщилась рыжеватая щетина бороды.

— Где ты, Тротта? — завопил капитан, хотя и стоял грудь грудью с лейтенантом. — Проиграл двести, — кричал он. — Проклятое красное! Нет мне больше счастья в рулетке! Надо попробовать другое! — И он потащил Тротта к карточным столам.

Каптурак и Бродницер встали.

— Выиграли? — осведомился Каптурак, ибо заметил, что капитан в проигрыше.

— Продулся, продулся, — зарычал капитан.

— Жаль, жаль! — произнес Каптурак. — Посмот-

рите хотя бы на меня, как часто я уже выигрывал и снова проигрывался. Однажды я все спустил. И все опять выиграл! Только не оставаться при одной игре! Это самое главное!

Капитан Вагнер поправил воротник. Обычная коричневая краснота вернулась на его лицо. Усы как-то сами собой пришли в порядок. Он хлопнул Тротта по плечу.

— Ты еще никогда не дотрагивался до карт!

Тротта увидел, что Каптурак вынимает из кармана блестящую колоду новых карт и бережно кладет ее на стол, словно боясь причинить боль пестрому лику нижней карты. Он погладил колоду своими юркими пальцами. Спинки карт блестели, как гладкие темно-зеленые зеркальца. В их мягкой выпуклости плавали огни потолка. Некоторые карты сами собой поднимаются, стоят на острие узкой стороны, ложатся то на спинку, то навзничь, собираются в кучки. Вот одна колода с легким треском рассыпается, как пестрая гроза, — шурша, мелькают черные и красные фигуры, — и, снова собираясь воедино, падает на стол, разделенная на маленькие кучки. У этого игрока выпадает несколько карт, затем они нежно тянутся друг к другу, каждая прикрывая собой половину другой, образуют круг, напоминающий

редкостный, перевернутый и плоский артишок, снова выстраиваются в ряд и, наконец, скучиваются в пачку. Все карты повинуются беззвучным приказам пальцев. Капитан Вагнер жадными глазами смотрит на этот пролог. Ах, он любил карты! Иногда те, которые он призывал, приходили к нему, иногда они от него бежали. Он любил, когда его сумасбродные желания галопом мчались за беглянками, и — наконец, наконец! — принуждали их повернуть вспять. Иногда, правда, беглянки были проворнее, и желания капитана, намучившись в погоне, поворачивали обратно. В течение лет капитан измыслил трудно обозримый и в высшей степени запутанный военный план, в котором ни один метод насилия над счастьем не был упущен: ни заклинания, ни грубая сила, ни нападение врасплох, не говоря уже о страстных молитвах и безумных любовных обольщениях. Иногда несчастный капитан, пожелав, например, черву, должен был представляться отчаявшимся и втихомолку уверять невидимую карту, что если она тотчас же не придет, то он еще сегодня покончит с собой; в другой раз он считал за благо сохранять гордость и притворяться, что вожделенная карта ему совершенно безразлична. В третий, для того чтобы выиграть, ему прихо-

дилось собственными руками мешать карты, причем обязательно левой рукой, — искусство, которого он достиг ценой бесконечных, с железным упорством проделываемых упражнений, а в четвертый раз оказывалось наиболее целесообразным садиться по правую руку от банкомета. В большинстве же случаев помогало смешивать все методы или же быстро менять их так, чтобы для партнеров это оставалось незаметным. Последнее было весьма существенно. «Не переменяться ли нам местами?» — невинно предлагал, например, капитан. И если на лице своего партнера замечал понимающую улыбку, он смеялся и добавлял: «Вы ошибаетесь. Я отнюдь не суеверен! Мне здесь мешает свет!» Если партнеры замечали какой-нибудь из стратегических трюков капитана, это значило, что их руки выдадут картам его намерения. Карты пронюхают о его коварных замыслах и успеют скрыться. Итак, садясь за карточный стол, капитан начинал работать ретиво, как целый генеральный штаб. И в то время, как его мозг производил эту нечеловеческую работу, мороз и жар, надежда и муки, ликование и горечь попеременно наполняли его сердце. Он боролся, он изворачивался, он страдал невыносимо. С того самого дня, как здесь начали играть в рулетку, он

уже работал над хитроумными планами одолеть коварство шарика. (При этом он отлично знал, что одержать победу над ним труднее, чем над картами.)

Он играл почти всегда в баккара, хотя эта игра относилась не только к запретным, но и к наказуемым играм. На что были ему те игры, в которых надо высчитывать и думать — разумно высчитывать и думать, — когда его спекуляции уже соприкасались с неисчисляемым и необъяснимым, раскрывали его и подчас одолевали! Нет! Он хотел непосредственно бороться с загадками судьбы и разгадывать их! И он усаживался за баккара и действительно выигрывал. И к нему приходили две девятки и две восьмерки сряду, в то время как у Тротта были сплошные валеты и короли, а у Каптурака только четверки и пятерки. И тогда капитан Вагнер забывался. И хотя основным его правилом было не давать счастью понять, что он в нем уверен, он внезапно утроил ставку, ибо надеялся еще сегодня «заполучить» вексель. И тут началась беда. Капитан проиграл, а Тротта все не переставал проигрывать. В результате Каптурак выиграл пятьсот крон. Капитану пришлось подписать новое долговое обязательство.

Вагнер и Тротта поднялись. Они начали пить коньяк, смешивая его с «девяностоградусной» и запивая пивом. Капитан Вагнер стыдился своего поражения не меньше, чем стыдится его побежденный генерал, который к тому же пригласил своего друга понаблюдать за ходом битвы и разделить с ним лавры победителя. Но и лейтенант разделял стыд капитана. И оба знали, что без алкоголя не могут смотреть в глаза друг другу. Они пили медленно, маленькими равномерными глотками.

— Твое здоровье! — сказал капитан.

— Твое здоровье! — отвечал Тротта.

Каждый раз повторяя эти тосты, они мужественно посматривали друг на друга, демонстрируя свое равнодушие к случившейся беде. Но вдруг лейтенанту показалось, что капитан, его лучший друг, несчастнейший из смертных, и он начал горько плакать.

— Почему ты плачешь? — спрашивал капитан, и его губы дрожали.

— О тебе, о тебе, мой бедный друг, — рыдал Тротта. И они предавались то молчаливым, то многословным жалобам.

В голове капитана Вагнера всплыл один старинный план. Он касался лошади Тротта, на которой

капитан ездил ежедневно, которую он полюбил и сначала даже хотел купить. Но тут же ему пришло в голову, что, будь у него столько денег, сколько стоила эта лошадь, он, без сомнения, выиграл бы состояние в баккара и мог бы купить несколько лошадей. Затем он решил взять у лейтенанта лошадь, не платя за нее, продать ее, поставить деньги на карту, чтобы снова затем выкупить лошадь. Было ли это неблагородно? Кому это могло повредить? Сколько бы на все это понадобилось времени? Два часа игры, и все в порядке! Выигрываешь вернее всего, когда садишься за стол без страха и не считая. О, если б только один разочек сыграть как богатый, независимый человек! Один разочек! Капитан проклинал свое жалованье. Оно было так мизерно, что не позволяло ему играть «по-человечески».

Теперь, когда они, растроганные, сидели друг против друга, забыв обо всем на свете и убежденные, что весь свет забыл о них, капитан решил, что может наконец сказать:

— Продай мне твою лошадь!

— Я тебе дарю ее, — растроганно отвечала Тротта.

«Подарок нельзя продавать, даже не надолго», — подумал капитан и произнес:

— Нет, продай!

— Возьми ее! — упрашивал Тротта.

— Я заплачу! — настаивал капитан.

Так они спорили в продолжение нескольких минут. В конце концов капитан встал, слегка пошатываясь, и крикнул:

— Я вам приказываю продать ее мне!

— Слушаюсь, господин капитан, — машинально отвечал Тротта.

— Но у меня нет денег! — заикаясь проговорил капитан, уселся и снова обрел свое добродушие.

— Это не важно! Я дарю ее тебе!

— Нет, ни в коем случае! Да я больше и не хочу ее покупать. Будь у меня деньги…

— Я могу продать ее кому-нибудь другому, — заметил Тротта. Он весь светился радостью от этой неожиданной идеи.

— Великолепно! — вскричал капитан.

— Но кому?

— Хотя бы Хойницкому.

— Великолепно, — повторил капитан. — Я должен ему пятьсот крон!

— Я берусь это уладить, — сказал Тротта.

Он выпил, и сердце его было полно сострадания к капитану. Этого беднягу необходимо спасти! Он в большой опасности. Близким и родным был

ему этот милый капитан. Кроме того, лейтенант считал безусловно необходимым в эту минуту сказать доброе, утешительное и, может быть, значительное слово и совершить великодушный поступок. Дружба и потребность казаться очень сильным и великодушным сливались воедино в его сердце, как два теплых потока. Тротта подымается. Утро уже наступило. Некоторые лампы еще горят, побледневшие от светлой серости дня, мощно проникающего сквозь жалюзи. Исключая господина Бродницера и его единственного кельнера, в заведении нет ни души. Печальные и обнаженные, стоят столы, стулья и эстрада, на которой всю ночь весело попрыгивал «соловей из Мариахильфа». Весь этот дикий беспорядок создает страшную картину стремительного бегства — словно гости, застигнутые внезапной опасностью, испуганными толпами покинули это кафе. Длинные картонные мундштуки папирос кучами валяются на полу рядом с короткими огрызками сигар. Эти остатки русских папирос и австрийских сигар говорят о том, что гости из чуждых стран играли здесь с жителями этого края…

— Счет! — кричит капитан. Он обнимает лейтенанта. Долго и прочувствованно прижимает его к своей груди. — Итак, с богом! — говорит он с

полными слез глазами.

На улице уже утро. Утро маленького восточного городка, напоенное ароматом каштановых свечей, только что распустившейся сирени и свежего кисловатого черного хлеба, который в корзинах разносят булочники. Стоял птичий гомон. Это было бесконечное море щебета, звучащее море воздуха. Бледно-голубое, прозрачное небо, низкое и гладкое, распростерлось над серыми, покосившимися дранковыми крышами домишек. Крохотные тележки крестьян мягко и медленно катились по еще сонным и пыльным улицам, повсюду роняя соломинки, стебельки и сухое прошлогоднее сено. На чистом восточном горизонте быстро вставало солнце. Навстречу ему шагал лейтенант Тротта, немного отрезвленный свежим ветерком, предваряющим наступление дня, и исполненный горделивого намерения спасти друга. Не так-то просто было (а что было просто лейтенанту Тротта в этой жизни!) предложить эту лошадь Хойницкому. Но чем труднее казалось это начинание, тем бодрее и решительнее маршировал Тротта ему навстречу. Часы на башне уже пробили. Тротта достиг «нового дворца» в момент, когда Хойницкий в сапогах и с хлыстом в руке намеревался сесть в свою летнюю

коляску. Он заметил фальшивую, красноватую свежесть небритого лица Тротта, эти румяна пьяниц. Она ложилась на лицо лейтенанта, как отсвет красной лампы на белый стол. «Он гибнет!» — подумал Хойницкий.

— Я хотел сделать вам одно предложение! — сказал Тротта. — Не хотите ли купить мою лошадь? — Вопрос испугал его самого. Ему сразу стало трудно говорить.

— Вы не любитель верховой езды, насколько мне известно, и к тому же ушли из кавалерии. Я понимаю — вам просто ни к чему брать на себя заботы о лошади, раз вы почти ею не пользуетесь, я понимаю, но вам все же, вероятно, будет жаль с нею расстаться?

— Нет, — отрезал Тротта. Он ничего не хотел скрывать. — Мне нужны деньги.

Лейтенант сконфузился. Занимать у Хойницкого деньги вовсе не считалось запретным, бесчестным или сомнительным поступком. И все же Карлу Йозефу казалось, что этот первый заем как бы открывает новый этап в его жизни и что, в сущности, следовало бы спросить разрешения отца. Лейтенанту было стыдно. Он сказал:

— Говоря яснее, я поручился за одного товарища. Сумма достаточно велика. Кроме того, этой

ночью он проиграл еще одну, правда, меньшую. Я не хочу, чтобы он оставался должным этой скотине — хозяину кафе. Занять у вас я не могу. Да, — повторил лейтенант, — это невозможно, лицо, о котором идет речь, уже в долгу у вас.

— Но это вас не касается! — возразил Хойницкий. — Его взаимоотношения со мной вас не касаются. В ближайшее время вы мне отдадите. Это пустяки! Видите ли, я богат, то есть это называют богатством. Я не дорожу деньгами. Если вы у меня попросите рюмку водки, это будет то же самое. Что за церемонии! Взгляните, — Хойницкий вытянул руку по направлению к горизонту и описал полукруг, — все эти леса принадлежат мне. Но дело не в том. Я говорю это для вашего успокоения. Я благодарен каждому, кто хоть что-нибудь забирает у меня. Нет, смешно, это не играет никакой роли. Жаль, что мы попусту тратим столько слов. Предлагаю вам следующее: я покупаю вашу лошадь и на год оставляю ее вам. Через год она моя!

Ясно, что Хойницкий становится нетерпеливым. Да и батальону скоро пора отправляться на учение. Солнце без устали поднимается кверху. День уже наступил.

Тротта заспешил в казармы. Через полчаса

батальон уже выстроился. У него не оставалось времени побриться. Майор Цоглауэр появлялся около одиннадцати часов. (Он не любил небритых взводных. Единственное, на что он научился обращать внимание в течение долгих лет своей пограничной службы, были «чистота и корректность при исполнении обязанностей».) Сейчас уже было поздно! Он побежал в казарму. Хорошо хоть, что хватило времени протрезвиться. Капитан Вагнер уже стоял перед выстроившейся ротой. Карл Йозеф на ходу шепнул ему: «Все устроено», — встал перед взводом и скомандовал:

— В две шеренги стройся. Левое плечо вперед, марш!

Батальон вышел из двора казармы.

Капитан Вагнер платил сегодня за так называемое подкрепление в пограничной харчевне. У них было полчаса времени, чтобы выпить одну, две, три стопочки «девяностоградусной». Капитан Вагнер знал наверняка, что уже начал прибирать к рукам свое счастье. Теперь он один управлял им! Сегодня днем две с половиной тысячи крон! Полторы тысячи он отдаст и совершенно спокойно, беззаботно, как богатый человек, сядет за баккара! Начнет метать банк! Сам стасует карты! И, конечно, левой рукой! Может быть, он пока

что отдаст только тысячу и спокойно, беззаботно, как богатый человек, начнет играть. Пятьсот он предназначает для рулетки, тысячу для баккара! Так будет еще лучше! «Записать в счет капитана Вагнера!» — кричит он трактирщику. И поднимается, передышка кончилась, сейчас начнутся строевые занятия.

По счастью, майор Цоглауэр уже через полчаса куда-то скрылся. Капитан Вагнер сдал командование обер-лейтенанту Цандеру и помчался к Бродницеру. Прежде всего он осведомился, можно ли рассчитывать на партнеров в послеобеденное время. Да, без сомнения! Все шло великолепно! Даже домовые, эти невидимые существа, присутствие которых капитан Вагнер чуял в любой комнате, где шла игра и с которыми он иногда неслышно переговаривался — да и то на каком-то воляпюке, усвоенном им в течение долгих лет, — даже домовые были сегодня преисполнены благоволения к капитану Вагнеру. Чтобы настроить их еще лучше или заставить не менять мнения о нем, Вагнер решил в виде исключения пообедать в кафе Бродницера и до прихода лейтенанта Тротта не двигаться с места. Он остался. Около трех часов появились первые игроки. Капитана Вагнера затрясла лихорадка.

Что, если этот Тротта оставит его на мели и принесет деньги завтра? Тогда, пожалуй, все шансы будут упущены. Такой благоприятный день, как сегодня, больше уже никогда не выдастся! Боги хорошо настроены, к тому же сегодня четверг. А в пятницу! Призывать счастье в пятницу так же безнадежно, как требовать от старшего штабного врача умения командовать ротой. Чем больше проходило времени, тем сильнее разъярялся капитан Вагнер на мешкотного лейтенанта Тротта! Не идет и не идет, юный подлец! И ради этого надо было так напрягаться! Раньше времени уходить с плац-парада, отказываться от привычного обеда на вокзале, усиленно развлекать домовых и стараться использовать все преимущества четверга! А в результате изволь сидеть на мели: стрелка на стенных часах неустанно стремилась вперед, а Тротта все не шел, не шел и не шел!

Но вот! Он идет! Дверь открылась, и глаза Вагнера просияли! Он даже не подает Тротта руки! Его пальцы дрожат. Через секунду они уже сжимают чудесный, шуршащий конверт.

— Садись, — приказал капитан. — Самое большее через полчаса я вернусь! — И он исчез за зеленым занавесом.

Полчаса прошло, и еще час, и еще час. Настал

вечер, зажглись лампы. Капитан Вагнер медленно вошел в комнату. Его можно было узнать разве что по мундиру, да и тот выглядел сейчас необычно! Пуговицы на нем были расстегнуты, из воротника высовывался черный галстук, рукоятка сабли очутилась под полой мундира, карманы оттопыривались, грудь была усыпана сигарным пеплом. Волосы на голове капитана вились в беспорядке, рот под растрепанными усами был открыт. Капитан прохрипел: «Все!» — и опустился на стул.

Им больше нечего было сказать друг другу. Раза два Тротта попытался о чем-то заикнуться. Вагнер движением руки попросил о молчании. Затем он встал. Привел в порядок одежду. Он понял, что в жизни его больше не было цели. Он решил уйти, чтобы наконец поставить точку.

— Прощай! — торжественно произнес он и вышел.

На улице повеял на него мягкий, уже почти летний вечер с сотнями тысяч звезд и благоуханий. По существу говоря, легче было никогда больше не играть, чем никогда больше не жить. И он дал зарок никогда больше не играть. Лучше сдохнуть, чем еще раз взять в руки карты. Никогда! Никогда, это слишком долгий срок, и его

пришлось сократить. До 3 августа, сказал он себе, никаких карт! А там видно будет! Итак, честное слово капитана Вагнера!

И вот с очистившейся совестью, гордый своей решительностью и радующийся жизни, которую он только что сам себе спас, капитан Вагнер отправляется к Хойницкому. Хойницкий стоит в дверях. Он достаточно давно знает капитана, чтобы с первого взгляда понять, что тот сильно проигрался и опять принял решение никогда не дотрагиваться до карт. И он кричит ему навстречу:

— Куда вы девали Тротта?

— Не видал его!

— Все?

Капитан опускает голову и, разглядывая кончики своих сапог, заявляет:

— Я дал честное слово!

— Превосходно! — говорит Хойницкий. — Давно пора!

Он принимает твердое решение освободить лейтенанта Тротта от дружбы с полоумным Вагнером. «Надо спровадить его отсюда! — думает Хойницкий. — Пока что пусть поедет денька на два в отпуск, с Валли!» И он отправляется в город.

«Да!» — отвечает Тротта, не колеблясь. Он боится Вены и путешествия с женщиной. Но он должен поехать. Он ощущает тот гнет, который регулярно овладевает им перед каждой переменой в его жизни. Он чувствует, что ему грозит новая опасность, величайшая из опасностей, которые существуют на свете, и притом именно та, к которой он всегда стремился. Он не решается спросить, кто эта женщина. Множество чужих женских лиц, их синие, карие и черные глаза, белокурые и темные волосы, бедра, груди и ноги, женщины, на которых он засматривался мальчиком, юношей, — все быстро проносятся перед ним, все зараз — удивительный, нежный ураган незнакомых женщин! Он слышит аромат незнакомок, он чувствует холодную и твердую нежность их колен, на его шею уже ложится сладостное ярмо обнаженных рук.

Существует страх перед сладострастием, который сам по себе сладострастен, как страх смерти в некоторых случаях бывает смертелен. Этот страх овладел теперь лейтенантом Тротта.

Глава тринадцатая

Фрау фон Тауссиг была красива и уже немолода. Дочь начальника станции, вдова умершего в молодых годах ротмистра по имени Эйхберг, она несколько лет назад сочеталась браком с новоиспеченным дворянином господином Тауссигом, богатым и хворым фабрикантом. Он страдал, правда в легкой форме, так называемым циклическим помешательством. Его припадки регулярно возобновлялись каждые полгода. Задолго чувствовал он их симптомы и уезжал в некое заведение на берегу Бодензее, в котором избалованные сумасшедшие из богатых семейств за большие деньги получали тщательный уход и где надзиратели были ласковы, как повивальные бабки. Незадолго до одного из своих очередных приступов господин фон Тауссиг женился на вдове своего друга Эйхберга, по совету одного из тех продувных светских врачей, которые прописывают своим пациентам «душевные эмоции» с такой же готовностью, с какой в старину домашние врачи прописывали ревень и касторку. Тауссиг хоть и пережил «душевную эмоцию», но приступ все же возобновился, и притом скорее,

чем обычно, и с еще большею силой. Его жена за время своего короткого брака с господином фон Эйхбергом приобрела много друзей и после смерти мужа отвергла уже ряд предложений руки и сердца. О ее адюльтерах умалчивали из уважения к ней. Времена тогда, как известно, были строгие. Но исключения признавались, их даже любили. Это было одно из тех аристократических понятий, в силу которых простые бюргеры являлись людьми второго ранга, но тот или иной офицер-разночинец становился флигель-адъютантом императора; евреи не могли претендовать на высшие знаки отличия, но иные из них получали дворянство и становились друзьями эрцгерцогов; женщины жили в понятиях традиционной морали, но той или иной дозволялось любить не менее щедро, чем кавалерийскому офицеру.

Единственный из интимных друзей вдовы, не сделавший ей предложения, был Хойницкий. Мир, в котором еще «стоило жить», был приговорен к гибели. Мир, который должен был наследовать ему, уже не нуждался в «приличных людях». А следовательно, не имело смысла долго любить, жениться и производить потомство. Хойницкий взглянул на вдову своими печальными, бледно-голубыми, чуть выпуклыми глазами и

сказал: «Прости, что я не хочу на тебе жениться». Этими словами он закончил свои соболезнования.

Итак, вдова вышла за сумасшедшего Тауссига. Она нуждалась в деньгах, а он был доверчивее ребенка. Как только его приступ кончился, он попросил ее приехать. Она явилась, позволила поцеловать себя и повезла его домой. «До приятного свидания!» — сказал господин фон Тауссиг профессору, вышедшему его проводить. «До скорого свидания!» — поправила его жена. (Она любила время, когда ее муж болел.) И они поехали домой.

Десять лет тому назад она навестила Хойницкого, тогда еще не будучи замужем за Тауссигом, не менее красивая, чем сейчас, и на целые десять лет моложе. И в тот визит она возвращалась домой не одна. Лейтенант, молодой и грустный, как этот теперь, сопровождал ее. Его звали Эвальд, и он был уланом. (В те времена здесь стоял уланский полк.) Ехать обратно без провожатого было ее первой настоящей болью в жизни; ехать в сопровождении обер-лейтенанта было разочарованием. Для более высоких чинов она считала себя еще далеко не достаточно старой. Вот лет через десять — другое дело.

Но старость приближалась грозными, неслышными шагами и нередко коварно замаскированная. Она считала уходящие дни и каждое утро пересчитывала морщинки, тонкие сеточки, за ночь сплетаемые возрастом вокруг безмятежно спящих глаз. Но сердце ее было сердцем шестнадцатилетней девочки. Благословленное вечной юностью, жило оно в стареющем теле, как прекрасная тайна в разрушающемся дворце. Каждый юноша, которого фрау фон Тауссиг заключала в свои объятья, был долгожданным гостем. К сожалению, ни один не шел дальше передней. Ведь она не любила, она только ждала! Она видела, как один за другим уходили они, с грустными, ненасытившимися и огорченными глазами. Постепенно она привыкла видеть, как приходят и уходят мужчины, это племя ребячливых великанов, эта армия неуклюжих дураков, воителей, воображающих, что побеждают, когда их презираешь, что обладают, когда над ними потешаешься, что наслаждаются, когда им только даешь отведать, эта варварская орда, которую все же ждешь, покуда в тебе теплится жизнь. Может быть, может быть, из их беспорядочной и темной толпы выйдет однажды единственный, легкий и сияющий принц. Он не являлся! Его ждали, он

не шел! Подходила старость, а его все не было! Фрау фон Тауссиг ставила на пути приближающейся старости молодых мужчин, как плотины. Из страха перед своим познающим взором она с закрытыми глазами пускалась во все свои так называемые авантюры.

Она произвела оценку лейтенанта Тротта. Он выглядит старше своих лет, думала фон Тауссиг, ему пришлось пережить много печального, но он ничему не научился. Он не умеет любить страстно, но и не любит мимолетно. Он так несчастен, что его можно разве что осчастливить.

На следующее утро Тротта получил трехдневный отпуск по «семейным обстоятельствам». В час дня он распрощался с товарищами в вокзальном ресторане и под их радостные и завистливые возгласы вошел с фрау Тауссиг в купе первого класса, за которое ему, правда, пришлось «доплатить».

Когда наступила ночь, он, как ребенок, испугался темноты и вышел из купе, чтобы покурить, вернее, под предлогом, что ему хочется курить. Он стоял в коридоре, полный каких-то спутанных мыслей и образов, смотря сквозь ночное окно на летящих змей, в мгновение ока возникавших из добела раскаленных искр локомотива и так же

мгновенно погасавших, на густой сумрак леса и спокойные звезды на небосводе. Затем он тихонько отодвинул дверь и на цыпочках вошел в купе.

— Нам, пожалуй, следовало взять билеты в спальном вагоне, — неожиданно произнесла в темноте фрау фон Тауссиг. — Вам беспрерывно хочется курить! Можете курить и здесь!

Значит, она все еще не спала. Зажженная спичка осветила ее лицо. Белое, обрамленное черными спутанными волосами, лежало оно на красном бархате подушки. Да, пожалуй, лучше было бы ехать в спальном вагоне. Кончик папиросы тлел в темноте красноватым огоньком. Они ехали через мост, колеса застучали громче.

— Мост, — сказала женщина, — я всегда боюсь, что он провалится!

Да, подумал лейтенант, хорошо, если б он провалился. Теперь у него был один только выбор — между несчастьем внезапным и несчастьем медленно подкрадывающимся. Он неподвижно сидел против фрау Тауссиг и при свете на мгновение озарявших купе станционных огней, мимо которых они мчались, видел, что ее бледное лицо побледнело еще больше. Он не мог выжать из себя ни единого слова. Ему показалось, что он должен поцеловать ее, вместо того чтобы говорить. Но он

все время отодвигал этот обязательный поцелуй. «После следующей станции», — говорил он себе. Вдруг фрау Тауссиг вытянула руку, пошарила ею в поисках предохранителя на двери и защелкнула его. Тротта склонился над ее рукою.

В этот час фрау фон Тауссиг любила лейтенанта с той же пылкостью, с какой десять лет назад любила лейтенанта Эвальда, на этом же перегоне, в этот же час и, кто знает, может быть, в этом же самом купе. Но улан стерся в ее памяти, как и те, кто был до и после него. Страсть бурным потоком пронеслась над воспоминаниями и смыла все их следы. Фрау Тауссиг звали Валерией, но сокращенно называли обычным в тех краях именем Валли. Это имя, нашептываемое ей в нежные минуты, каждый раз звучало по-новому. Сейчас этот юноша как бы вновь окрестил ее: она была ребенком (юным, как это имя). И все же, по привычке, фрау Тауссиг жалобно сказала, что она «гораздо старше его», — замечание, которое она всегда осмеливалась произносить перед молодыми людьми; известная, безумно смелая предосторожность. Обычно это замечание открывало собой новую серию ласк. Все нежные слова, которыми она владела в совершенстве и которыми дарила уже многих мужчин, снова

вспыхнули в ее памяти. Сейчас последует — как хорошо, к несчастью, она знала эту очередность — всегда одинаково звучащая просьба мужчины не говорить о возрасте и времени. Она знала, как мало значили эти просьбы — и… верила Им. Она ждала. Но лейтенант Тротта молчал, упорный юноша. Она испугалась, что это молчание — приговор, и осторожно начала:

— Как ты думаешь, насколько я старше тебя?

Он не знал, что ответить. На такие вопросы не отвечают, да к тому же это его не интересовало. Он чувствовал быструю смену прохлады и огня на ее гладкой коже, резкие климатические изменения, относящиеся к загадочным явлениям любви.

— Я могла бы быть тебе матерью! — прошептала женщина. — Угадай же, сколько мне лет!

— Не знаю! — пробормотал несчастный.

— Сорок один! — сказала фрау Валли. Ей месяц назад исполнилось сорок два. Но некоторым женщинам сама природа не позволяет говорить правду, природа, пекущаяся о том, чтобы они не старели. Фрау фон Тауссиг была, пожалуй, слишком горда, чтобы скостить себе целых три года. Но украсть у правды один несчастный год? Это еще не кража!

— Ты лжешь! — сказал он наконец очень грубо, из вежливости.

И она обняла его, подхваченная новой волной страсти и благодарности. Белые огни станций мчались мимо окна, освещали купе, озаряли ее бледное лицо и, казалось, вновь обнажали ее плечи. Лейтенант, как ребенок, лежал на ее груди. Она испытывала благодетельную, святую материнскую боль. Материнская любовь струилась в ее жилах и наполняла ее новой силой. Ей хотелось сделать добро своему возлюбленному, как собственному ребенку, словно лоно ее, теперь его принявшее, его породило.

— Дитя мое, дитя мое! — повторяла она. Она больше не боялась старости. Да, впервые в жизни благословляла она годы, отделявшие ее от лейтенанта. Когда утро, сияющее утро раннего лета, ворвалось в окна купе, она бесстрашно показала лейтенанту свое еще не подготовленное к дневному свету лицо. Правда, она немного принимала в расчет зарю. Окно, у которого она сидела, выходило на восток.

Лейтенанту Тротта весь мир казался иным. А поэтому он решил, что только теперь познал любовь, вернее, воплощение своих понятий о любви. На деле же он был только благодарен:

насытившийся ребенок!

— В Вене мы будем вместе, не так ли?

«Милое дитя, милое дитя», — твердила про себя фрау Тауссиг. Она взглянула на него, преисполненная материнской гордости, словно была и ее заслуга в добродетелях, которыми он не обладал и которые она, как мать, ему приписывала.

Она подготовляла целый ряд маленьких празднеств. Как хорошо складывается, что они приезжают как раз в страстной четверг. Она раздобудет два места на трибуне. Она вместе с ним насладится зрелищем пестрого шествия, которое она любила, как и все австрийские женщины без различия сословий.

Она достала места на трибуну. Радостная и торжественная помпа парада сообщила и ей какой-то теплый и молодящий отсвет. С юных лет знала она, вероятно, не хуже, чем сам обергофмейстер, все законы, фазы и детали обряда, которыми отмечался день тела господня, подобно тому как старые меломаны знают все сцены любимых опер. Ее страсть к зрелищам не только не уменьшалась, но, напротив, возрастала от этого. В Карле Йозефе проснулись все давние детские и героические мечты, переполнявшие и осчастливливавшие его на балконе отчего дома под звуки

марша Радецкого. Все пестрое великолепие старинной империи шествовало перед его глазами.

На солнце сияли светло-синие штаны пехотинцев. Как воплощенная серьезность баллистической науки, шли кофейно-коричневые артиллеристы, кроваво-красные фески горели на головах светло-синих босняков, точно маленькие праздничные огоньки, зажженные исламом в честь его величества. В черных лакированных каретах сидели кавалеры ордена Золотого руна и черные краснощекие муниципальные советники. За ними, как величественные бури, вблизи императора обуздывавшие свои порывы, реяли султаны лейб-гвардии. Наконец, над застывшей толпой, над марширующими солдатами, над пущенными мягкой рысью конями и бесшумно катящимися экипажами вознеслись, подготовленные торжественным генерал-маршем, звуки императорско-королевского гимна.

Он парил над головами толпы — мелодическое небо, балдахин из черно-желтых тканей. И сердце лейтенанта — медицинский абсурд! — забилось и замерло одновременно. Прорезав медлительные звуки гимна, взвились крики «ура» — светлые флажки среди тяжелых, украшенных гербами знамен. Перебирая ногами в такт музыке, высту-

пал белый липпицкий конь, с величественным кокетством знаменитых лошадей императорско-королевского липпицкого коннозаводства. За ним с громким цокотом копыт проследовал полуэскадрон драгунов — изящный гром парада. Черно-золотые шлемы сверкали на солнце. Грянули резкие звуки фанфар, голоса радостных вестников: внимание, внимание — приближается старый император.

И император появился: восемь белых, как снег, коней везли его экипаж. Верхом на конях в расшитых золотом черных ливреях и в белых париках сидели придворные лакеи. Они выглядели как боги, а были только слугами полубогов. По обе стороны кареты ехали почетные лейб-гвардейцы — два австрийца в серебряных шлемах и два венгра с черно-желтыми барсовыми шкурами через плечо. Они напоминали стражей стен иерусалимских, стен священного города, королем которого считался Франц Иосиф. На императоре был белоснежный мундир и каска с огромным султаном из зеленых перьев попугая. Перья эти мягко развевались по ветру. Император улыбался на все стороны. Улыбка озаряла его старческое лицо, словно маленькое солнце — им самим сотворенное. На соборе Святого Стефана грянули

колокола — римская церковь приветствовала Римского императора германской нации. Старый император вышел из экипажа, легким упругим шагом, который прославляли все кадеты, поднялся на паперть и, словно простой смертный, под гул колоколов, вошел в собор, Римский император германской нации.

Ни один лейтенант императорско-королевской армии не мог бы равнодушно смотреть на эту церемонию. А Карл Йозеф принадлежал к наиболее впечатлительным. Он видел золотое сияние, распространяемое процессией, и не слышал мрачного взмаха крыльев коршуна. Ибо над двуглавым орлом Габсбургов уже кружились коршуны — враждующие с ним братья…

Нет, мир не рушился, вопреки утверждениям Хойницкого. Карл Йозеф своими глазами видел, что он живет. По широкой Рингштрассе толпами шли горожане, радостно настроенные подданные его апостольского величества. Казалось, что все они принадлежат к его свите и что весь город — гигантские дворцовые угодья. У ворот древних дворцов стояли с жезлами привратники в ливреях — эти боги среди лакеев. Черные кареты на дутых шинах подъезжали к воротам. Кони копытами ласкали мостовую. Чиновники в чер-

ных цилиндрах, с шитыми золотом воротниками и узкими шпагами на боку, потные и торжественные, выходили из процессии. Имперские чиновники, при шпагах, в черных треуголках и золотых воротниках, важные и вспотевшие, возвращались с церемонии. Беленькие школьницы с цветами в волосах, держа в руках свечи, шли домой, зажатые между торжественными парами родителей, и казались обретшими плоть душами последних, немного смущенными и, быть может, даже отведавшими розги. Над светлыми шляпками светских дам, как на сворке прогуливающих своих кавалеров, колыхались изящные балдахинчики зонтов. Двигались голубые, коричневые, черные, разукрашенные золотом и серебром мундиры, подобно редкостным деревцам или растениям, сорванным в южных садах и снова устремившимся на далекую родину. Черный огонь цилиндров пылал над возбужденными красными лицами. Яркие шарфы, эта радуга бюргеров, пестрели на широких грудях и жилетах. Там, дальше, сжимая в руках блещущие алебарды, двумя широкими рядами пересекали Рингштрассе лейб-гвардейцы в белых пелеринах с пунцовыми отворотами и в касках с белыми султанами; трамваи, фиакры и даже автомобили

останавливались перед ними, как перед давно знакомыми призраками истории. На перекрестках толстые цветочницы (городские сестры фей) из темно-зеленых леек поливали свои пестрые букеты, насмешливыми взглядами благословляли проходящие парочки, связывали в пучки ландыши и без устали чесали свои старые языки. Блестели золотые каски пожарных, направляющихся в театры, весело напоминая об опасностях и катастрофах. Пахло сиренью и боярышником. Шум города не заглушал свиста дроздов в садах и щебетанья ласточек в поднебесье. Всем этим мир осыпал лейтенанта Тротта. Он сидел в экипаже, рядом со своей подругой, он любил ее и возвращался, как ему казалось, после лучшего дня своей жизни.

И правда, все было так, словно его жизнь только начиналась. Он научился пить вино, после того как на границе пил одну «девяностоградусную». Он обедал с фрау Тауссиг в знаменитом ресторане, хозяйка которого была величественна, как королева, а зал выглядел благолепным, как храм, пышным, как дворец, и мирным, как хижина. Здесь, за своими постоянными столиками, обедали разные превосходительства, и кельнеры, которые их обслуживали, выглядели словно

равные им, так что казалось, будто посетители и официанты через определенные промежутки времени меняются местами. И каждый знал другого по имени, как брат брата, и раскланивался с ним, как князь с князем. Здесь знали всех: стариков и юношей, наездников, хороших и плохих, игроков и бабников, кутил и скупердяев, счастливцев и неудачников, наследников потомственной, вошедшей в поговорку и всюду почитаемой глупости и умников, которым вскоре предстояло прийти к власти. Здесь раздавался только легкий благовоспитанный шум вилок и ложек да веселый шепот едоков, который едва слышит тот, к кому он обращен, но зато легко угадывает многоопытный сосед. Уютно блестели белоснежные скатерти, сквозь высокие, закрытые шторами окна струился молчаливый день, из бутылок с нежным журчанием лилось вино. Для того чтобы подозвать кельнера, достаточно было поднять глаза: ибо в этой благовоспитанной тишине движение ресниц воспринималось как призыв.

Да, так началось то, что он называл «жизнью» и что в те времена, быть может, и было ею: прогулка в удобной коляске среди густых ароматов созревшей весны, бок в бок с женщиной. Любой

из ее нежных взглядов подтверждал его юношескую уверенность в том, что он превосходный человек, наделенный множеством добродетелей, и даже «блестящий офицер», в том смысле, в каком это выражение употреблялось в армии. Карл Йозеф всю жизнь помнил себя унылым, робким и озлобленным, но теперь не понимал, почему он прежде был таким. Смерть, виденная столь близко, напугала его. Но даже из тоскливых мыслей о Катерине и Максе Деманте нынче он извлекал наслаждение. По его мнению, ему довелось немало пережить. Он заслуживал ласковых взглядов красивой женщины. И все же время от времени несколько боязливо взглядывал на нее. Не было ли с ее стороны капризом взять его с собой, как мальчика, и уготовить ему несколько хороших дней? Этого нельзя было допустить. Он, как ему только что посчастливилось установить, был отличным человеком, и тот, кто его любил, должен был любить его безраздельно, честно и до гроба, как несчастная Катерина. А кто знает, скольких мужчин вспоминала эта прекрасная женщина, думая или притворяясь, что любит его одного! Был ли он ревнив? Конечно! И бессилен, как ему только что подумалось. Ревнив, но лишен малейшей возможности остаться здесь или

поехать дальше с этой женщиной, удержать ее, насколько ему вздумается, завоевать и покорить. Да, он был маленьким, бедным лейтенантом, с пятьюдесятью кронами месячного содержания, получаемого от отца, и к тому же у него имелись долги…

— Вы много играете, там, в вашем гарнизоне? — внезапно спросила фрау Тауссиг.

— Некоторые товарищи, — отвечал он, — капитан Вагнер, например. Он колоссально проигрывает!

— А ты?

— Никогда! — сказал лейтенант. В этот момент он понял, как добиться могущества. Он возмутился умеренностью своей судьбы. Он жаждал блеска. Сделайся он в свое время чиновником, ему, возможно, представился бы случай выдвинуться, полезно применить некоторые свои духовные добродетели, которыми он, несомненно, обладал. А что значил офицер в мирное время?! Чего, даже участвуя в войне и совершив подвиг, добился герой Сольферино?

— Чтобы ты у меня не смел играть, — сказала фрау Тауссиг! — Ты непохож на человека, которому везет в игре!

Он оскорбился. Им тотчас же овладело жела-

ние доказать, что ему везет во всем! Он начал придумывать тайные планы еще на сегодня, на сегодняшнюю ночь. Его объятия тоже стали как бы предварительными объятиями, репетициями любви, которой он одарит ее завтра, уже не только превосходный, но и могущественный человек. Он считал минуты, смотрел на часы, не желая задерживаться и обдумывая свой уход. Фрау Валли сама отослала его:

— Уже поздно, тебе надо идти!

— До завтрашнего утра!

— До завтрашнего утра!

Портье сообщил ему адрес ближайшего игорного дома. Лейтенанта встретили там с деловитой вежливостью. Завидев несколько высших чинов, он замер перед ними в предписанной неподвижности. Они вяло кивнули в ответ, едва взглянув на него непонимающими глазами, видимо, удивляясь, что им воздают воинские почести, словно они уже давно не принадлежали к армии и оставались только небрежными носителями мундиров, а этот простоватый новичок вдруг пробудил в них далекое воспоминание о далеких временах, когда они еще были офицерами. Они пребывали теперь в другой, вероятно, более таинственной, стадии жизни, и только одежда и

ордена напоминали им об обычном, будничном существовании, которое завтра, с наступлением дня, снова начнется для них. Лейтенант пересчитал свои наличные деньги, они равнялись ста пятидесяти кронам. Подражая капитану Вагнеру, он положил пятьдесят крон в карман, а остальные в портсигар. Некоторое время он сидел возле одной из двух рулеток, ничего не ставя, — карты он знал слишком мало и не отваживался засесть за них. Он был совершенно спокоен и дивился этому спокойствию. Он видел, как красные, белые и синие кучки фишек росли, уменьшались, придвигались то к одному, то к другому. Но ему не приходило в голову, что он явился сюда затем, чтобы заставить их всех перекочевать к нему. Наконец он решился поставить, как бы из чувства долга. Он выиграл. Он поставил половину выигрыша и выиграл вторично. Он не смотрел ни на цвета, ни на числа и ставил равнодушно, наугад. Он выиграл. Поставил весь выигрыш. Выиграл в четвертый раз. Какой-то майор кивком подозвал его. Тротта приблизился. Майор сказал:

— Вы здесь впервые. Вы выиграли тысячу крон. Лучше вам сейчас уйти!

— Слушаюсь, господин майор! — пробормотал Тротта и покорно удалился. Обменивая фишки,

он жалел, что послушался майора. Он злился на себя за то, что мог послушаться первого встречного. Почему он позволил отослать себя? И почему у него не хватало мужества возвратиться? Он ушел, недовольный собой и опечаленный своим первым выигрышем.

Было уже поздно и так тихо, что шаги редких пешеходов гулко доносились даже с отдаленных улиц. На узкой полоске неба, над окаймленной высокими домами улицей, мирные и далекие, мерцали звезды. Какая-то темная фигура вышла из-за угла и, шатаясь, двинулась навстречу лейтенанту. Пьяный, без сомнения. Лейтенант тотчас же узнал его: это художник Мозер совершал свой привычный обход ночного города, с папкой в руках и в шляпе с отвислыми полями. Он приложил один палец к шляпе и начал предлагать свои рисунки: «Девушки во всевозможных позах». Карл Йозеф остановился: он подумал, что сама судьба посылает художника Мозера ему навстречу. Он не знал, что в продолжение многих лет каждую ночь, в один и тот же час, мог бы встретить профессора на улицах города. Он вынул из кармана отложенные пятьдесят крон и вручил их старику. Карл Йозеф сделал это, как бы повинуясь чьему-то немому приказанию.

«Быть таким, как он, таким, как он, — думал лейтенант, — он совершенно счастлив и совершенно прав». И тут же испугался своих мыслей. Стал искать оснований, в силу которых художник Мозер мог бы быть прав, не нашел их, испугался еще больше и тотчас же ощутил жажду, жажду пьяниц, являющуюся одновременно жаждой души и тела. Внезапно начинаешь видеть хуже, чем близорукий, слышишь слабо, как тугоухий. Нужно немедленно, не сходя с места, выпить стаканчик! Лейтенант повернулся, окликнул художника Мозера и спросил:

— Где мы можем выпить?

Неподалеку от гостиницы имелся ночной ресторанчик. Там подавали сливянку. К сожалению, она была много слабее «девяностоградусной». Лейтенант и художник уселись за столик и начали пить. Постепенно Тротта стало ясно, что он далеко не господин своего счастья, далеко не отличный, не исполненный всевозможных добродетелей человек. Скорее он беден, несчастен и полон сожалений о послушании, оказанном этому майору, который помешал ему выиграть сотни тысяч. Нет, он не создан для счастья! Фрау Тауссиг и тот майор из игорного дома и вообще все, все поголовно потешаются над ним. Только

этот один, художник Мозер (его-то можно было спокойно называть другом), искренен, честен и предан. Надо ему открыться! Этот замечательный человек — единственный и стариннейший друг отца. Его можно не стыдиться. Он написал портрет деда! Лейтенант глубоко вздохнул, как бы желая вместе с воздухом вобрать в себя мужество, и произнес:

— Известно ли вам, что мы, собственно, давно друг друга знаем?

Художник Мозер поднял голову — глаза его блеснули под густыми бровями — и спросил:

— Мы — друг друга — знаем? Лично? Как художника вы меня, разумеется, знаете! Как художника меня знают везде. Очень сожалею, но вы, видимо, ошибаетесь! — Мозер огорчился. — Возможно ли, чтоб меня принимали за другого?

— Мое имя Тротта! — сказал лейтенант.

Художник Мозер уставился на лейтенанта невидящими остекленевшими глазами и вытянул руку. Затем он разразился громом ликования. Схватил лейтенанта за руки и потянул его через стол к себе, наклонился ему навстречу, и так, над серединой стола, они поцеловались долгим, братским поцелуем.

— А что поделывает твой отец? — осведомился

профессор. — Все еще служит? Верно, уже наместник? Давненько я о нем не слыхал! Как-то я повстречался с ним здесь, в Фолькcгартене, он дал мне денег, он был тогда не один, а с сыном, — паренек, да постой, ведь это же ты.

— Да, это был я, — сказал лейтенант. — Это было давно, очень, очень давно.

Ему вспомнился ужас, который он испытал тогда при виде красной и липкой руки на отцовских коленях.

— Я должен попросить у тебя прощения, да, прощения! — воскликнул лейтенант. — Я тогда недостойно обошелся с тобой, недостойно! Прости меня, милый друг!

— Да, недостойно! — подтвердил Мозер. — Я прощаю тебя! Ни слова больше об этом! Где ты живешь? Я тебя провожу!

Ресторан закрыли. Рука об руку, шатаясь, пошли они по тихим улицам.

— Я дальше не пойду! — пробормотал художник. — Вот мой адрес! Навести меня завтра, мой мальчик! — И он сунул лейтенанту одну из своих огромных визитных карточек, которые обычно раздавал в ресторанах.

Глава четырнадцатая

День, когда лейтенант должен был возвратиться в гарнизон, был печальным днем и к тому же пасмурным. Он еще раз прошелся по улицам, по которым два дня назад двигалась процессия. Тогда, думал лейтенант (он называл это именно «тогда»), он на один короткий час гордился собой и своим званием. Сегодня же мысль о возвращении неотступно следовала за ним, как конвоир за арестантом. Впервые лейтенант Тротта восстал против военного закона, управлявшего его жизнью. Он повиновался с самого раннего детства. И больше не хотел повиноваться! Правда, он находился в полном неведении относительно того, что значит свобода, но догадывался, что она должна отличаться от отпуска так же, как война от маневров. Это сравнение пришло ему в голову, потому что он был солдатом. Потом он подумал, что амуниция, нужная для свободы, — деньги. Сумма же, бывшая у него в кармане, походила скорее на холостые патроны, которыми палят во время маневров! Владел ли он вообще чем-нибудь? Мог ли он позволить себе свободу? Оставил ли его дед, герой битвы при Сольферино, какое-нибудь

состояние? Унаследует ли он его со временем, после отца? Такие размышления раньше были ему несвойственны. Теперь они налетели на него, как стая неведомых птиц, угнездились в его мозгу и беспокойно трепыхали крыльями. Теперь он слышал все волнующие зовы необъятного мира. Со вчерашнего дня он знал, что Хойницкий в этом году раньше обычного покидает родные места и едет на юг с подругой. Он знал ревность к другу; и она вдвойне пристыдила его. Он поедет на северо — восточную границу. Но любимая женщина и друг поедут в южные страны. И «юг», бывший до сих пор только географическим понятием, засиял всеми обольстительными красками неведомого рая. Юг был в чужой стране! И смотри-ка! — были, значит, на свете чужие страны! Чужие страны, не принадлежавшие императору Францу Иосифу I, страны, имевшие свои собственные армии с тысячами лейтенантов в больших и маленьких гарнизонах. В этих чужих странах имя героя Сольферино ровно ничего не значило. Там тоже были монархи. И у этих монархов имелись их собственные спасители. В высшей степени тревожно было предаваться подобным размышлениям; для имперского лейтенанта так же тревожно, как, скажем, для нас, грешных, думать о том, что

земля только одно из миллиардов астрономических тел, что в Млечном Пути существует еще бесчисленное множество солнц, что каждое из этих солнц имеет своих спутников и что ты сам, следовательно, весьма жалкий субъект, чтобы не сказать просто: кучка мусора!

От выигрыша у лейтенанта оставалось еще семьсот крон. Вторично наведаться в игорный дом он не решался, не только из страха перед этим незнакомым майором, который, быть может, был отряжен военным комендантом для надзора за молодыми офицерами, но главным образом из страха перед воспоминаниями о своем жалком бегстве. Ах! Он знал, что еще сотни раз немедленно покинет любой игорный дом, повинуясь первому приказу или кивку старшего офицера. И, как ребенку в болезни, ему было приятно потеряться в болезненном сознании, что он не способен покорить счастье. Он страшно жалел себя! И в этот час ему было приятно жалеть себя. Он выпил несколько стопок водки. И тотчас же ощутил знакомое состояние блаженного бессилия. И, как человеку, отправляющемуся под арест или в монастырь, лейтенанту показались деньги, бывшие у него в кармане, отягчающими и ненужными. Он решил сразу потратить их.

Зашел в магазин, где некогда выбирал с отцом серебряный портсигар, и купил нитку жемчуга для своей подруги. С цветами в руках, с жемчугом в кармане и с жалостным выражением на лице предстал он перед фрау Тауссиг.

— Я принес тебе кое-что, — признался он с таким видом, словно хотел сказать: «Я украл для тебя кое-что». Ему пришло в голову, что он неумело играет чужую роль, роль светского человека. И в момент, когда он уже держал в руке свой подарок, у него мелькнула мысль, что этот подарок слишком дорог, а потому неприличен, что он роняет его самого и богатой женщине может показаться обидным. — Прошу извинить меня, — сказал он поэтому. — Я хотел купить какую-нибудь мелочь, но… — Больше он ничего не нашелся сказать, покраснел и опустил глаза.

Ах! Он не знал женщин, которые уже видят перед собой старость, бедный лейтенант Тротта! Он не знал, что каждый подарок они принимают, как волшебный дар, возвращающий им былую юность, и что их умные, тоскливые глаза все оценивают по-другому. Фрау Тауссиг ведь любила эту беспомощность, и чем яснее проступала его молодость, тем моложе делалась она сама! Итак, она с рассчитанным неистовством бросилась ему

на шею, осыпала его поцелуями, как свое дитя, плакала потому, что должна была потерять его, смеялась потому, что еще держала его в объятьях, и немножко потому, что жемчуг был так красив, и сквозь обильный, великолепный поток слез твердила:

— Ты так мил, так мил, мой мальчик!

Об этой фразе она тотчас же пожалела, в особенности о словах «мой мальчик». Ибо они делали ее старше, чем она действительно была в это мгновение. По счастью, она тотчас же заметила, что он преисполнился гордости, словно получил награду из рук самого императора. «Он слишком молод, — подумала фрау Тауссиг, — чтобы понимать, как я стара!..»

И словно для того, чтобы истребить, выкорчевать свой подлинный возраст, утопить его в море страсти, она схватила плечи лейтенанта, тонкие и теплые кости которых уже начинали приводить в смятение ее руки, и потянула его к дивану. Она накинулась на него в своем сокрушительном стремлении обрести молодость. Страсть, могучим пламенем вырываясь из нее, сковывала и порабощала молодого лейтенанта. Ее блестящие глаза блаженно и благодарно впивались в юное лицо, склоненное над нею. И ее сладострастное жела-

ние оставаться вечно юной было не меньше ее сладострастия в любви. С минуту она думала, что никогда не в состоянии будет отпустить от себя этого лейтенанта. Но через мгновение сказала:

— Жаль, что ты сегодня уезжаешь!

— И я никогда больше не увижу тебя? — благоговейно спросил юный любовник.

— Жди меня, я вернусь! И не изменяй мне, — поспешно прибавила она, с боязнью, которую стареющей женщине внушают неверность и молодость других.

— Я люблю тебя одну, — отвечал он, как ответил бы любой честный юноша, которому ничто не кажется важнее верности.

Это было их прощанием.

Лейтенант Тротта отправился на вокзал и приехал слишком рано, ему пришлось дожидаться поезда. Но ему казалось, что он уже едет. Каждая лишняя минута, проведенная в городе, была бы мучительной, даже позорной. Он смягчал силу, им повелевавшую, тем, что делал вид, будто уезжает раньше, чем должно. Наконец можно было садиться в поезд. Им тотчас же завладел счастливый, редко прерывавшийся сон, и он проснулся уже недалеко от границы.

Денщик Онуфрий, встречавший его, сообщил,

что в городе бунт. Рабочие бастовали, и гарнизон был приведен в боевую готовность.

Теперь лейтенант Тротта понял, почему Хойницкий так рано покинул эти края. Он сейчас едет на юг с фрау Тауссиг. А Карл Йозеф — жалкий пленник, который не может даже снова сесть в вагон и уехать обратно.

У вокзала сегодня не стояли экипажи. Лейтенанту Тротта пришлось идти пешком. Позади него шел Онуфрий с походной сумкой в руках. Все мелочные лавчонки города прекратили торговлю. Большие железные засовы защищали двери и окна. Жандармские патрули прохаживались с пригнанными штыками. Ни единый звук, кроме обычного кваканья лягушек, не раздавался в городе. Ветер полными пригоршнями рассыпал пыль, неутомимо порождаемую этой землей, по крышам, стенам, заборам, деревянным мостовым и кое-где разбросанным лужайкам. Казалось, столетняя пыль лежала над этим заброшенным миром. Ни один человек не проходил по улице, можно было подумать, что все обитатели города застигнуты внезапной смертью за своими запертыми дверьми и окнами. Перед казармой были выставлены усиленные караулы. Со вчерашнего дня сюда перебрались все офицеры, и гостиница

Бродницера пустовала.

Лейтенант Тротта доложил о своем приезде майору Цоглауэру и узнал от последнего, что отпуск пошел ему на пользу. По понятиям человека, уже более десяти лет служившего на границе, любая поездка не могла не быть благотворной. И майор Цоглауэр, так, словно дело шло о самой будничной вещи, сообщил лейтенанту, что взвод егерей должен будет выстроиться завтра на шоссе против фабрики, чтобы, если надо, применить оружие в случае противоправительственных действий со стороны бастующих рабочих. Этим взводом должен был командовать Карл Йозеф. Все это, конечно, пустяки. Есть все основания предполагать, что достаточно будет жандармерии, для того чтобы удержать людей в должном повиновении; нужно только сохранять хладнокровие и раньше времени не пускать в ход оружия. Правда, окончательное решение относительно вмешательства егерей вынесет полиция. Вся эта история, конечно, не слишком приятна для офицера. Дойти до того, чтобы выслушивать приказания окружного комиссара! Но в конце концов это щекотливое поручение — своего рода отличие для самого молодого лейтенанта в батальоне. Кроме того, другие офицеры ведь не

имели отпуска, и простое чувство товарищества требует, чтобы… и так далее…

— Слушаюсь, господин майор! — сказал Карл Йозеф и вышел.

Майора Цоглауэра ни в чем нельзя было обвинить. Он почти что упрашивал внука героя Сольферино, вместо того чтобы приказывать. К тому же у внука героя Сольферино неожиданно выдался великолепный отпуск. Карл Йозеф направлялся сейчас через двор в столовую. Судьба уготовила для него эту политическую демонстрацию. Для этого он и приехал на границу. Теперь он почти наверняка знал, что коварно-расчетливая судьба ниспослала ему отпуск, чтобы тем вернее его уничтожить. Другие сидели в столовой и приветствовали Тротта с преувеличенной радостью, происходившей скорее от их желания «узнать кое-что», чем от сердечного отношения к приехавшему, и все наперебой принялись расспрашивать, как сошел отпуск. Только капитан Вагнер сказал:

— Когда завтрашняя история будет позади, он вам все расскажет! — И вдруг все замолчали.

— Что, если меня завтра убьют? — сказал лейтенант Тротта капитану Вагнеру.

— Фу, черт! — возразил капитан. — Препро-

тивная смерть! Препротивная вообще штука! К тому же это несчастные люди. И в конце концов, может быть, они и правы!

Что это бедные люди и что они могут быть правы, лейтенанту Тротта раньше не приходило в голову. Замечание капитана показалось ему очень метким, и он более не сомневался, что это несчастные люди. Посему он выпил две стопочки «девяностоградусной» и сказал:

— В таком случае я попросту не дам приказа стрелять! Не применю и холодного оружия. Пусть жандармерия управляется сама.

— Ты сделаешь то, что должен! Ты сам это знаешь!

Нет, в данный момент Карл Йозеф этого не знал. Он пил.

И очень быстро впал в состояние, в котором мог считать себя способным на что угодно: на отказ в повиновении, на выход из армии, на огромные выигрыши в азартные игры. Нет, на его пути больше не будет лежать ни один мертвец! «Оставь эту армию!» — сказал доктор Макс Демант. Довольно уж быть тряпкой! Вместо того чтобы выйти из армии, он перевелся на границу. Пора положить этому конец! Он не позволит завтра низвести себя до какого-то обер-полицейского. Не то послезав-

тра, пожалуй, придется регулировать движение и давать справки новоприбывшим. Что это за смешная игра в солдатики в мирное время! Верно, никогда уж не будет войны! Так и сгниешь в этом гарнизоне. Но он, лейтенант Тротта, как знать, может быть, через неделю в это время он уже будет «на юге»!

Все это он, горячась и громким голосом, выложил капитану Вагнеру. Несколько офицеров окружили его, прислушиваясь. У большинства сердце отнюдь не лежало к войне. Они были бы всем довольны, если б получали несколько больше жалованья, жили бы в менее неудобных гарнизонах и быстрей продвигались в чинах. Кое-кому лейтенант Тротта казался чуждым и был немного неприятен. Он был любимчиком начальства. Он только что вернулся из великолепной поездки. Как? А теперь он еще не хочет выступить завтра?

Лейтенант Тротта почувствовал вокруг себя враждебную тишину. И впервые, с тех пор как служил в армии, ему захотелось подразнить товарищей. Зная, что больнее всего заденет их, он сказал:

— Может быть, я попрошусь в Академию Генерального штаба!

Конечно, почему бы и нет? — говорили себе офицеры. Он был кавалеристом, он мог поступить и в академию! Он, безусловно, сдаст испытания и, вероятно, вне очереди будет произведен в генералы; в том возрасте, когда наш брат только еще становится капитаном и получает право на ношение шпор. Ему, следовательно, не повредит участие в завтрашней заварухе.

На следующий день он должен был выступить в ранний час. Ибо армия сама регулировала ход времени. Она хватала время и ставила его на то место, которое, по ее военным понятиям, ему подобало. Хотя противоправительственной демонстрации можно было ожидать только около полудня, лейтенант Тротта уже в восемь часов утра шагал по пыльному шоссе. Позади аккуратных, расставленных на определенном расстоянии друг от друта ружейных пирамидок, выглядевших и мирными и опасными в одно и то же время, лежали, стояли и прохаживались солдаты. Заливались жаворонки, стрекотали кузнечики, жужжали комары. На далеких полях можно было разглядеть крестьянок в пестрых платках. Они пели. И некоторые солдаты, уроженцы здешних мест, отвечали им теми же песнями. О, они хорошо знали, что им надо было

бы делать, там, на полях! Но чего они дожидаются здесь? — этого они не понимали. Разве сейчас война? Разве сегодня уже надо умирать?

Поблизости находился маленький деревенский трактир. В него зашел лейтенант Тротта выпить «девяностоградусной». Низкая комната была полна народу. Лейтенант понял, что здесь сидят рабочие, которые в полдень должны собраться перед фабрикой. Все замерли, когда он вошел, звеня шпорами, устрашая своими доспехами. Он остановился на пороге. Медленно, слишком медленно орудовал хозяин бутылками и стаканами. За спиной Тротта стояло молчание, тяжелая гора тишины. Он залпом выпил стопку, чувствуя, что все ждут, покуда он удалится. А он охотно сказал бы им, что он тут ни при чем. Но у него не было сил ни сказать что-нибудь, ни тотчас же уйти. Он не хотел наводить страх и выпил несколько стопок, одну за другой. Они все еще молчали. Может быть, они обменивались какими-нибудь знаками за его спиной? Карл Йозеф не оборачивался. Наконец он оставил трактир. Ему казалось, что он пробирается вдоль кремнистых скал тишины, и сотни глаз, как мрачные копья, впиваются в его затылок.

Когда он достиг своего взвода, ему показалось

необходимым скомандовать «Стройся!», хотя было еще только десять часов утра. Ему было скучно, к тому же его учили, что скука деморализует войска, ружейные же занятия поднимают их нравственность. В мгновение ока взвод построился в предусмотренные уставом две шеренги, и вот, впервые за всю его солдатскую жизнь, Карлу Йозефу показалось, что спорые тела солдат — только мертвые части мертвых машин, которые ровно ничего не производят. Взвод замер, солдаты стояли, затаив дыхание. И лейтенанту Тротта, который только что чувствовал за своей спиной тяжелое и мрачное молчание рабочих, вдруг стало ясно, что существует два рода тишины. Может быть, подумал он, имеется множество родов тишины, так же как и множество родов шума? Когда он вошел в трактир, никто не скомандовал рабочим «Стройся!», и все же они сразу умолкли. Из их молчания струилась мрачная и беззвучная ненависть, как струится иногда из угрожающих, бесконечных молчаливых туч электрическая духота еще не разразившейся грозы.

Лейтенант Тротта вслушивался. Но от мертвого молчания его взвода ничего не исходило. Одно каменное лицо виднелось рядом с другим. Большинство солдат немного напоминало ему

денщика Онуфрия. У них у всех были широкие рты с тяжелыми губами, которые едва могли сомкнуться, и узкие светлые глаза без выражения. И когда он стоял так перед взводом, несчастный лейтенант Тротта, среди голубого сияния летнего дня, щебета жаворонков, стрекота кузнечиков и жужжания комаров, и мертвое молчание солдат было для него слышнее всех голосов дня, в нем всплывала уверенность, что он здесь не к месту.

«Но где же тогда мое место? — спрашивал он себя, покуда взвод ждал дальнейших команд. — Где же мое место? Ведь не среди тех, что сидят там, в трактире! Может быть, в Сиполье? Среди отцов моих отцов? Может быть, мои руки должны сжимать плуг, а не саблю?» И лейтенант продолжал держать своих солдат в неподвижном положении «смирно».

— Вольно! — скомандовал он. — Составить ружья! Разойдись!

И все стало, как прежде. За пирамидками ружей лежали солдаты. С далеких полей доносилось пение крестьянок. И солдаты отвечали им теми же песнями.

Из города прибыла жандармерия, три усиленных патруля, под командой окружного комиссара Хорака. Лейтенант Тротта знал его. Силезский

поляк, отличный танцор, кутила и в то же время добрый малый, он всем почему-то казался похожим на своего отца, хотя никто и не знал последнего. А этот отец служил почтальоном в Билице. Сегодня обер-комиссар был при шпаге и в черно-зеленом мундире с фиолетовыми обшлагами. Его короткие белокурые усики напоминали пшеничные колосья, а круглые розовые щеки далеко распространяли запах пудры. Он был весел, как воскресный день или как парад.

— Мне поручено, — обратился он к лейтенанту Тротта, — немедленно разогнать собрание, будьте ко всему готовы, господин лейтенант!

Он расставил своих жандармов вокруг пустыря перед фабрикой, на котором должно было состояться собрание. Лейтенант Тротта сказал:

— Хорошо, — и повернулся к нему спиной. Он ждал. Он охотно выпил бы еще стопочку «девяностоградусной», но не мог уже отлучиться в трактир. Он видел, как взводный унтер-офицер и кое-кто из егерей исчезали в дверях трактира и снова появлялись. Он растянулся на траве у края дороги и стал ждать. День все прибывал, солнце всходило выше, и песни крестьянок на далеких полях умолкали.

Лейтенанту Тротта казалось, что бесконечно

много времени прошло с тех пор, как он вернулся из Вены. От тех далеких дней в памяти у него осталась только женщина, которая теперь, вероятно, была уже на «юге», которая его оставила, — «предала», подумал он. И вот он лежит теперь у края дороги в пограничном гарнизоне и ждет. Ждет не врага, а демонстрантов.

Они пришли. Пришли со стороны трактира. Их появление возвестила песня, которую лейтенант слышал впервые. В этих краях ее еще не знали. Это был «Интернационал», и его пели на трех языках. Окружной комиссар Хорак знал ее… по долгу службы. Лейтенант Тротта не понимал ни слова. Но мелодия казалась ему тем превратившимся в музыку молчанием, которое он только что ощущал за своей спиной. Жизнерадостным окружным комиссаром завладело торжественное волнение. С записной книжкой и карандашом в руках он перебегал от одного жандарма к другому.

Тротта еще раз скомандовал «Стройся!» — и густая толпа демонстрантов, как упавшее на землю облако, прошла мимо двойной неподвижной ограды выстроенного в две шеренги взвода. Смутное предчувствие гибели мира овладело лейтенантом. Он вспомнил пестрый блеск

процессии на празднике тела господня. Ему на мгновение почудилось, что темная туча бунтовщиков двигалась навстречу императорскому поезду. На лейтенанта — это продолжалось одну только долю одного быстрого мгновения! — снизошла высокая способность мыслить образами; и он увидел времена, как две скалы, катящиеся друг другу навстречу, и себя самого, лейтенанта, раздавленного ими.

Его взвод взял ружья на плечо в то время, как там, над темной и беспрерывно движущейся толпой, показались, поднятые невидимыми руками, голова и туловище человека. Взнесенное тело оратора тотчас же образовало почти точный центр круга. Его руки взметнулись в воздух. Из его рта послышались непонятные звуки. Толпа зашумела. Вблизи от лейтенанта, с записной книжкой и карандашом в руках, стоял комиссар Хорак. Вдруг он захлопнул книжку и медленно зашагал по направлению к толпе на другую сторону улицы, между двух блистающих на солнце жандармов.

— Именем закона! — крикнул он. Его звонкий голос заглушил оратора. Собрание было распущено.

На секунду воцарилась тишина. Затем единый

крик вырвался из груди всех людей. На уровне лиц показались кулаки, каждое лицо было как бы атаковано двумя кулаками. Жандармы выстроились в цепь. В следующую минуту людской полукруг пришел в движение. Толпа с воплем ринулась на жандармов.

— Ружья наперевес! — скомандовал Тротта и обнажил саблю. Он не мог видеть, как она блеснула и ее отсвет быстрым, играющим и задорным зайчиком пробежал по затененной стороне улицы, где сгрудилась толпа. Кивера жандармских шлемов и острия штыков внезапно утонули в толпе.

— Направление — фабрика! Шагом марш! — Егеря двинулись вперед, навстречу им полетели какие-то темные железные предметы, побуревшие заборные планки и белые камни; свист, рев, жужжание и вой стояли вокрут. Легкий, как ласочка, Хорак помчался за лейтенантом, шепча:

— Ради всего святого, господин лейтенант, открывайте огонь!

— Взвод, стой! — скомандовал Тротта. — Огонь!

Первый залп, согласно инструкции майора Цоглауэра, егеря дали в воздух. Все немедленно стихло. На секунду стали слышны мирные голоса

летнего полдня. И сквозь взвихренную солдатами и толпой пыль и улетучивающийся запах пороха проник благодатный жар солнца. Внезапно резкий, воющий крик женщины прорезал воздух. Кое-кто из толпы, видимо, подумал, что она ранена, они снова начали бросать в солдат своими странными снарядами. Примеру этих стрелков последовали другие, в конце концов к ним присоединились все. Несколько егерей из первой шеренги уже лежали на земле, и пока лейтенант Тротта стоял в довольно беспомощной позе, в правой руке держа саблю, левой ощупывая кобуру револьвера, сбоку до него донесся шепот Хорака: «Огонь! Ради всего святого, открывайте огонь!» За одну-единственную секунду в разгоряченном мозгу лейтенанта пронеслись сотни обрывков мыслей и представлений, сталкиваясь и сплетаясь, смятенные голоса его сердца повелевали ему то проникнуться состраданием, то набраться суровости, они говорили, что сделал бы его дед в подобном положении, угрожали ему скорой смертью и одновременно заставляли считать собственную гибель единственным и наиболее желанным исходом этого боя. Кто-то, как ему показалось, поднял его руку, чужой голос в нем вторично скомандовал: «Огонь!» И он

успел еще заметить, что теперь стволы ружей были направлены на толпу. Через секунду он уже ничего не видел. Ибо часть толпы, сначала отступившая или притворившаяся, что отступает, ринулась в обход и вышла в тыл егерям, так что взвод лейтенанта Тротта оказался стиснутым с двух сторон. Покуда егеря давали второй залп, камни и утыканные гвоздями доски сыпались на их затылки и спины. Раненный в голову одним из этих снарядов, лейтенант Тротта без чувств свалился на землю. Толпа продолжала наносить ему удары. Егеря, оставшиеся теперь без командира, палили почем зря и вскоре обратили в бегство рабочих. Все это продолжалось не более трех минут. Когда егеря по команде унтер-офицера выстроились в две шеренги, на пыльной улице уже лежали раненые солдаты и рабочие; прошло довольно много времени, пока прибыли санитарные повозки. Лейтенанта Тротта отвезли в маленький гарнизонный госпиталь, где была констатирована трещина черепной коробки и перелом левой ключицы; опасались воспаления мозга. По явно бессмысленной случайности внук героя Сольферино был ранен в левую ключицу (впрочем, никто из живущих, исключая разве императора, не мог знать, что Тротта обязаны

своим возвышением раздробленной левой ключице героя Сольферино).

Тремя днями позднее действительно началось воспаление мозга. И окружной начальник был бы, конечно, извещен об этом, если б лейтенант, еще в день своего прибытия в госпиталь, придя в сознание, не упросил майора ни в коем случае не сообщать отцу о происшедшем. Правда, лейтенант снова впал в беспамятство и имелось достаточно оснований опасаться за его жизнь, но майор все-таки решил еще повременить. Так случилось, что окружной начальник только двумя неделями позднее узнал о восстании на границе и о злосчастной роли, которую в нем сыграл его сын. Он впервые узнал об этом из газет, куда вести о беспорядках на границе просочились через оппозиционных политиков. Ибо оппозиция возлагала ответственность за убитых, за вдов и сирот на армию, егерский батальон и в первую очередь на лейтенанта Тротта, отдавшего приказ стрелять. И лейтенанту действительно грозило нечто вроде следствия, впрочем, чисто формального, проводимого военной прокуратурой для успокоения политиков и преследовавшего цель реабилитировать лейтенанта, а может быть, и представить его к награде. Как бы там ни было,

это не могло явиться успокоением для окружного начальника. Он дважды телеграфировал сыну и один раз майору Цоглауэру. Лейтенант тогда уже пошел на поправку. Он еще не мог двигаться, но его жизнь была вне опасности. Он написал отцу коротенькое письмецо с отчетом о происшедшем. Вообще же выздоровление его не заботило. Он думал о том, что вот опять мертвые лежат на его пути, и решил, что пора поставить точку. Поглощенный этими мыслями, он не в состоянии был видеть отца и говорить с ним, хотя даже тосковал о нем. Его тоска по отцу была чем-то вроде тоски по родному крову, хотя он теперь уже знал, что отец не был для него этим кровом. Армия не была больше его призванием. И как ни мерзок был ему случай, приведший его в госпиталь, он радовался своей болезни, ибо она выдвигала необходимость принимать решение. Он сжился с нудным запахом карболки, с белоснежной гладью стен и постели, с болью, с перевязками, со строгой и материнской мягкостью санитарок и со скучными посещениями вечно игривых товарищей. Он перечитал кое-что из тех книг, — со времени кадетского корпуса он ничего не читал, — которые отец когда-то рекомендовал ему в качестве каникулярного чтения; и каждая строчка ему

напоминала тихие воскресные утра, Жака, капельмейстера Нехваля и марш Радецкого.

Однажды Тротта навестил капитан Вагнер, довольно долго просидел у его постели, проронил два-три слова, поднялся и снова сел. Наконец он со вздохом вытащил из кармана вексель и попросил Тротта подписать. Тротта подписал. Сумма равнялась полутора тысячам крон. Каптурак настойчиво требовал гарантии Тротта. Капитан Вагнер оживился, со многими подробностями рассказал историю о беговой лошади, которую он собирался купить по дешевке и пустить на бега в Бадене, прибавил к этому еще парочку анекдотов, внезапно поднялся и ушел.

Через два дня старший врач, бледный и расстроенный, сообщил Тротта, что капитан Вагнер застрелился в пограничном лесу. Он оставил прощальное письмо всем товарищам, в котором передавал сердечный привет и лейтенанту Тротта.

Лейтенанту ни на минуту не пришла в голову мысль о векселях и возможных последствиях своей подписи. Он впал в лихорадочное состояние. Он бредил и в бреду говорил о том, что мертвые призывают его и что ему пора расстаться с этим миром. Старый Жак, Макс Демант, капи-

тан Вагнер и неизвестные ему убитые рабочие выстраивались в ряд и манили его. Между ним и мертвецами стоял пустой рулеточный стол, на котором без конца катался ничьей рукой не пущенный шарик.

Две недели продолжался бред. Для военной прокуратуры это был желанный повод отодвинуть следствие и сообщить в высшие политические инстанции, что армия тоже понесла потери, что за это ответственно политическое управление пограничной области и что жандармерия должна была своевременно получить нужные подкрепления. Возникли безмерно огромные акты касательно дела лейтенанта Тротта, акты эти распухали, и каждая инстанция каждого учреждения еще поливала их небольшой толикой чернил, как поливают цветы, чтобы они росли, и все дело в конце концов было передано в военную канцелярию императора, так как один особо пытливый обер-аудитор доискался, что лейтенант приходится внуком герою Сольферино, состоявшему, правда, в давно забытых, но интимных отношениях с императором, и что, следовательно, этот лейтенант заинтересует его величество, а потому лучше повременить со следствием.

Поэтому-то императору, только что вернувше-

муся из Ишля, пришлось в одно прекрасное утро заняться неким Карлом Йозефом, бароном фон Тротта и Сиполье. И так как император был уже стар, то, хотя пребывание в Ишле и освежило его, он никак не мог понять, почему при чтении этого имени ему вспомнилось Сольферино; и он встал из-за своего письменного стола и мелкими, старческими шагами засеменил взад и вперед по своей рабочей комнате, взад и вперед, так что его старый камердинер удивился, забеспокоился и постучал в дверь.

— Войдите! — сказал император и, увидев своего слугу, спросил: — Когда же приедет Монтенуово?

— В восемь часов, ваше величество!

До восьми оставалось еще полчаса. Императору показалось, что он больше не в состоянии переносить неизвестность. Почему, почему имя Тротта напоминает ему битву при Сольферино? И почему он никак не может вспомнить, в какой это находится связи? Неужто он уже так стар? Со времени возвращения из Ишля его занимал вопрос, сколько же ему, собственно, лет; ему вдруг показалось странным, что для того, чтобы узнать свой возраст, нужно вычесть год рождения из текущего календарного года, тем более что годы

начинаются с января, а его день рождения приходится на восемнадцатое августа! Вот если бы годы начинались с августа! Или если бы он, например, родился восемнадцатого января, тогда бы ничего не стоило это высчитать! Но так невозможно было установить, сколько же ему — восемьдесят два — восемьдесят третий или восемьдесят три — восемьдесят четвертый! А он, император, не хотел спрашивать! У всего мира было и без того немало дел, да в конце концов и неважно, моложе человек на год или старше. Окажись он даже моложе, все равно не удастся вспомнить, почему этот злосчастный Тротта напоминает ему о Сольферино. Обер-гофмейстеру это известно. Но он придет только в восемь часов! Впрочем, может быть, это известно и камердинеру?

Император перестал бегать трусцой по комнате и обратился к слуге:

— Скажите-ка: известно вам имя Тротта?

Собственно, император хотел сказать «ты» своему камердинеру, как делал это обычно. Но тут дело шло о всемирной истории, а он уважал даже тех, кого спрашивал об исторических событиях.

— Тротта, — повторил камердинер императора, — Тротта!

Он тоже был стар, этот слуга, и ему только

смутно мерещился какой-то хрестоматийный отрывок с заголовком «Битва при Сольферино». Вдруг он вспомнил, и лицо его просияло.

— Тротта, — воскликнул он, — Тротта спас жизнь вашему величеству!

Император подошел к столу. Сквозь открытое окно в кабинет проникало ликующее утреннее пение шенбруннских птиц. Императору показалось, что он снова молод; он вновь услышал треск ружей, почувствовал, как его схватили за плечи и бросили на землю. И слово «Тротта» сразу стало ему таким же знакомым, как слово «Сольферино».

— Да, да! — произнес император, махнул рукой и написал на полях троттовского дела: «Благоприятно уладить!»

Затем он снова поднялся и подошел к окну. Птицы заливались, и старик улыбнулся им, словно они пели для него.

Глава пятнадцатая

Император был стар. Он был старейшим императором на земле. Вокруг него бродила смерть и косила, косила. Все поле было уже пусто, только император, как позабытый серебряный стебель, еще стоял и ждал. Его череп был обнажен, как пустынный холм. Его бакенбарды были белы, как крылья из снега. Морщины на его лице образовали путаные заросли, в них гнездились десятилетия. Его тело было худо, его спина согнулась. Дома он ходил семенящими маленькими шажками. Но, выходя на улицу, пытался придать своим ляжкам твердость, коленям упругость, шаги делал легкими, а спину прямой… Глаза свои он наполнял искусственной добротой — подлинным свойством императорских очей: они, казалось, обращались на каждого, смотревшего на императора, приветствовали каждого его приветствовавшего. На деле же все лица только мелькали и расплывались перед его глазами, а они смотрели прямо на ту, едва заметную и тонкую черту — границу между жизнью и смертью, на край горизонта, который всегда видят глаза стариков, даже когда дома, леса или горы

заслоняют его.

Хотя он отдохнул и лейб-медик был доволен его пульсом, легкими и дыханием, но со вчерашнего дня его мучил насморк. Ему не приходило в голову дать заметить этот насморк. Ему могли бы воспрепятствовать посетить маневры на восточной границе, а он хотел еще раз, хотя бы один день, понаблюдать маневры. Дело этого его спасителя, имя он опять позабыл, напомнило ему Сольферино. Он не любил войн (так как знал, что их проигрывают), но любил армию, военные игры, маневры, фехтование, парады, дефилирование полков и ротное учение. Его иногда уязвляло, что шлемы у офицеров были выше, чем у него, что они носили лакированные сапоги, брюки со складками и чересчур высокие воротники на мундирах. Многие из них были даже гладко выбриты. Ах! Он любил звуки труб, но делал вид, что его интересуют только военные планы. И хотя знал, что Господь помазал его на престол, в минуты слабости его все же огорчало, что он не фронтовой офицер; штабных он недолюбливал. Он был убежден, — но кому можно это сказать! — что десять хороших фельдфебелей способны сделать больше, чем двадцать офицеров генерального штаба. Он жаждал маневров!

В деревне Ц., расположенной не более чем в десяти милях от русской границы, в старинном дворце ему приготовили квартиру.

В его спальне закрыли окна. Ночью, когда он не мог заснуть, а вокруг спало все, что должно было его охранять, император в длинной ночной рубашке вылез из постели и тихо, тихо, стараясь никого не разбудить, открыл узкое, высокое окно. С минуту он постоял неподвижно, вдыхая прохладный воздух осенней ночи, вглядываясь в звезды на темно-синем небе и красноватые огоньки военного лагеря. Однажды ему случилось читать книгу о себе самом; там имелась такая фраза: «Франц Иосиф I — отнюдь не романтик». Они пишут обо мне, подумал старик, что я не романтик. Но я люблю огни лагеря. Ему сейчас хотелось быть обыкновенным лейтенантом и молодым. Может быть, я не романтичен, думал он, но я хотел бы быть молодым! Если не ошибаюсь, продолжал размышлять император, мне было восемнадцать лет, когда я вступил на престол. «Когда я вступил на престол», — эти слова показались императору очень смелыми, в этот час ему было трудно считать себя императором! Да, так! Конечно, это стояло в книге, которую поднесли ему с обычным почтительным посвящением.

Без сомнения, он был Франц Иосиф I! Перед его окном поднимался бесконечный, темно-синий, звездный свод ночи. Плоские земли уходили вдаль. Ему сказали, что эти окна выходят на северо-восток. Итак, значит, он смотрит в сторону России. Границы, само собой разумеется, нельзя было разглядеть. А императору Францу Иосифу хотелось в этот миг увидеть границу своего государства. Его государство! Он улыбнулся. Ночь была синей, широкой и полной звезд. Император стоял у окна, худенький, старый, в белой ночной рубашке, и перед лицом необозримой ночи казался себе крохотным. Последний из его солдат, патрулировавших вдоль палаток, был могущественнее его. Последний из его солдат! А он стоял во главе этой армии! Каждый солдат именем всемогущего Господа присягал на верность Францу Иосифу I. Он был император «Божьей милостью» и веровал во всемогущего Бога. За усыпанной золотыми звездами синевой неба таился он, всемогущий… Непостижимо! Это его звезды мерцали на небе, и это его небо простиралось над землей, и часть этой земли, а именно Австро-Венгерскую империю, он уделил Францу Иосифу I. А Франц Иосиф I, худой старик, стоял у раскрытого окна и каждую минуту боялся быть застигнутым сво-

ими телохранителями. Кузнечики стрекотали. Их песня, бесконечная, как ночь, возбуждала в императоре такое же благоговение, как и звезды. Моментами ему казалось, что это поют звезды. Его немного знобило. Но он боялся закрыть окно, вдруг ему не удастся сделать это так тихо, как раньше. Его руки дрожали. Он вспомнил, что когда-то, давным-давно, уже был на маневрах в этой местности. Даже эта спальня вынырнула из давно забытых времен.

Проснулся он, как обычно «в походе» (так он называл маневры), ровно в четыре утра. Камердинер уже стоял в комнате. А за дверью, он знал это, ждали флигель-адьютанты. Да, надо было начинать день. За весь день ему не удастся и часа побыть одному. Зато он всех их перехитрил этой ночью и добрых полчаса простоял у открытого окна. Он думал теперь об этом ловко украденном удовольствии и улыбался. Он ухмыльнулся камердинеру и вестовому, который только что вошел и замер в неподвижности, испуганный ухмылкой императора, подтяжками его величества, которые он видел впервые, и еще спутанными бакенбардами.

Это был трудный день. Франц Иосиф просмотрел записку, на которой план дня был распреде-

лен час за часом. В этой местности имелась только православная церковь. Сначала в ней отслужит мессу римско-католический священник, потом обедню православный. Больше всего императора утомляли церковные обряды. Ему казалось, что он должен быть всегда собранным перед Богом, как перед начальством. А Франц Иосиф был уже стар! «Он мог бы быть ко мне и поснисходительнее! — думал император. — Впрочем, Бог еще старше меня и, может быть, его воля кажется мне такой же неисповедимой, как моя — солдатам и офицерам. Да, но что получится, если каждый подчиненный начнет критиковать начальство!» Сквозь высокое сводчатое окно император видел, как восходит солнце.

Император поднялся. Пришел парикмахер. Регулярно, каждое утро, подбородок императора брили, подстригали, тщательно расчесывали его бакенбарды. Около ушей и под ноздрями щекотал холодный металл ножниц. Время от времени император чихал. Сегодня он сидел перед небольшим овальным зеркалом и с живым интересом наблюдал за движениями худощавых рук парикмахера. После каждого упавшего волоска, каждого прикосновения бритвы или гребенки парикмахер отскакивал назад и дрожащими губами

шептал: «Ваше величество!» Император не слышал этого слова. Он видел только непрестанно движущиеся губы парикмахера, не отваживался спросить, в чем дело, и решил наконец, что тот немного нервничает.

— Как вас зовут? — осведомился император. Парикмахер (он был в чине капрала, хотя всего полгода служил в регулярных войсках, — но он так безукоризненно обслуживал своего полковника, что пользовался неизменной благосклонностью начальства) одним прыжком отскочил к двери, изящно, как того требовала его профессия, но в то же время и по-военному. Это был прыжок, поклон и оцепенение в одно и то же время. И император благосклонно кивнул.

— Гартенштейн! — выкрикнул парикмахер.

— Почему вы так скачете? — осведомился Франц Иосиф. Но не получил ответа. Капрал снова робко приблизился к императору и торопливо закончил свою работу. Ему хотелось уйти и быть уже в лагере.

— Останьтесь! — сказал император. — Ах, вы уже капрал? Давно служите?

— Полгода, ваше величество, — пролепетал парикмахер.

— Так, так! И уже капрал? В мое время, — тоном

ветерана произнес Франц Иосиф, — так быстро дело не делалось! Но вы молодцеватый солдат. Хотите остаться в армии? — У парикмахера Гартенштейна была жена, ребенок и прибыльное дело в Ольмютце, и он уже не раз пытался симулировать суставной ревматизм, чтобы поскорей демобилизоваться. Но императору не говорят — нет.

— Так точно, ваше величество, — отвечал он, зная, что в этот момент проворонил всю свою жизнь.

— Отлично. В таком случае вы фельдфебель!

Так. Одного император уже осчастливил. Это его радовало, очень радовало. Гартенштейн дал ему повод совершить благое дело. Теперь мог начинаться день. Коляска уже ждала его. Медленно подымалась она по склону холма, на вершине которого стояла православная церковь. Ее двойной золотой крест сиял в лучах утреннего солнца. Военные оркестры играли национальный гимн. Император вылез из экипажа и вошел в церковь. Он преклонил колена перед алтарем и задвигал губами. Но он не молился. Невольно он все время думал о парикмахере. Всемогущий не мог так внезапно ниспослать милость императору, как император капралу, и это было досадно. Король

иерусалимский: это высшее звание, которое Господь мог даровать величеству. А Франц Иосиф был уже королем иерусалимским!

Он не понимал сути маневров. Он знал только, что «синие» сражаются против «красных». Он заставлял все объяснять себе. «Так, так», — повторял император. Операции уже сильно продвинулись. Левый фланг «синих», стоявший сегодня в полутора милях за деревней Ц., уже два дня отступал под натиском кавалерийских частей «красных». Главные силы сосредоточились на участке близ П. — пересеченной местности с непроходимыми подступами, хорошо приспособленной для обороны, которая в то же время могла легко оказаться в окружении, в случае, если бы противнику удалось отрезать правый и левый фланг «синих» от центра. На этом-то и сосредоточивалось теперь все внимание «красных». В то время как левый фланг уже начал отступать, правый держался стойко, более того, медленно продвигался вперед, так при этом растягиваясь, что становилось очевидным его намерение в свою очередь окружить фланг противника. По мнению императора, эта ситуация была довольно банальной. Если бы он стоял во главе «красных», он бы непрерывным отступлением так далеко заманил растянувше-

еся крыло «синих», одновременно сосредоточив свои основные силы на крайнем его фланге, что в результате между последним и центром неприятельского фронта образовался бы обнаженный участок.

Но император ничего не говорил. Его огорчал тот невероятный факт, что у полковника Лугатти, триестинца (согласно твердому убеждению Франца Иосифа, столь тщеславным мог быть только итальянец), воротник на шинели был многим выше, чем полагалось иметь на мундире, и что он, желая, чтобы все видели его чин, еще к тому же кокетливо распахивал этот отвратительный высокий воротник.

— Скажите, господин полковник, — обратился к нему император, — где вы шьете ваши шинели? В Милане? К сожалению, я перезабыл тамошних портных. — Полковник генерального штаба Лугатти отдал честь и застегнул воротник. — Теперь вас можно принять за лейтенанта, — сказал Франц Иосиф. — Вы очень молоды на вид!

Сказав это, он дал шпоры коню и поскакал в направлении холма, где, по образцу старинных битв, столпился весь генералитет. Он твердо решил прекратить «военные действия», если они чрезмерно затянутся. Ему поскорее хотелось

посмотреть на дефилирование полков. Франц Фердинанд, несомненно, поступил бы по-другому. Он всегда держал чью-нибудь сторону, становился во главе «синих» или «красных», брал на себя командование и, разумеется, всегда побеждал. Ибо где сыщется генерал, способный победить наследника престола? Император окинул своими старыми голубовато-белесыми глазами окружающие его лица. «Сплошь пустые парни!» — подумал он. Года два назад это его бы огорчило. Но сегодня уже нет, нет! Он не знал точно, сколько ему лет, но, глядя на других, чувствовал, что очень стар.

Теперь он действительно «прервал военные действия», и дефилирование полков должно было наконец начаться. На безбрежных полях выстроились полки всех родов оружия. К сожалению, в шинелях защитного цвета (модная штука, не пришедшаяся по сердцу императору). Яркая алость кавалерийских рейтуз все же вспыхивала над блеклой желтизной скошенных полей, вырываясь, как огонь из туч, из серых рядов пехотинцев. Бледные и узкие молнии сабель сверкали впереди марширующих колонн. Красные кресты на белом фоне светились позади механизированных отрядов. Как древние боги

войны, подкатывались артиллеристы на своих тяжелых повозках, и прекрасные гнедые или буланые кони становились на дыбы в своей могучей и гордой покорности. Франц Иосиф видел в бинокль движения каждого отдельного взвода. На несколько минут он преисполнился гордости за свою армию, но тут же начал сожалеть об ее утрате. Ибо он видел ее уже разбитой и рассеянной, поделенной среди многочисленных народов своего обширного государства. Для него «золотое солнце Габсбургов» уже заходило, распадалось на множество мелких солнечных шариков, которые снова, уже как самостоятельные светила, будут озарять самостоятельные нации. «Видно, им не по сердцу быть под моей державой!» — думал старик. «Тут ничего не поделаешь!» — тихо добавил он.

Итак, он, к вящему ужасу всех командиров, спустился с холма и начал делать смотр неподвижным полкам, останавливаясь почти перед каждым взводом. Он проходил по рядам, рассматривал новые ранцы и вещевые мешки, время от времени вынимал оттуда консервную банку и спрашивал о ее содержимом, подходил то к одному, то к другому солдату, осведомляясь, откуда он родом, как зовут и чем занимается, и

едва дослушивал ответы. Иногда он протягивал свою старческую руку и похлопывал ею по плечу лейтенанта. Так он дошел и до батальона егерей, в котором служил Тротта.

Четыре недели прошло с тех пор, как Тротта выписался из госпиталя. Он стоял впереди своего взвода бледный, худой и безразличный. Но когда император приблизился к нему, он начал замечать свое безразличие и сожалеть о нем. Ему казалось, что он не выполняет какой-то обязанности. Чуждой стала ему армия! Чуждым стал император! Лейтенант Тротта походил на человека, который утратил не только родину, но и тоску по ней. Он испытывал жалость к белобородому старику, который подходил все ближе и ближе, с любопытством ощупывая ранцы, вещевые мешки и консервные банки. Лейтенанту хотелось вновь испытать то упоение, которое он ощущал во все торжественные часы своей военной жизни и там, дома, в летние воскресные дни, на балконе отчего дома, на каждом параде, на каждом смотру, и еще несколько месяцев назад, в Вене, на празднике тела господня. Ничто не шевельнулось в лейтенанте, когда он стоял в пяти шагах от своего императора, ничто не шевельнулось в его выпяченной вперед груди, кроме жалости к этому

старику. Майор Цоглауэр проревел обязательную формулу рапорта. У Франца Иосифа мелькнуло подозрение, что в батальоне, которым командует этот тип, не все благополучно, и он решил поближе приглядеться к нему. Он внимательно всмотрелся в окаменевшее лицо майора, показал на Карла Йозефа и спросил:

— Он болен?

Майор Цоглауэр доложил о происшествии с лейтенантом Тротта. Это имя ударило в уши Франца Иосифа как что-то знакомое и в то же время досадное. В его воспоминании встал случай таким, каким он был изображен в деле, а вслед за ним пробудилось и то давно уснувшее событие, имевшее место в битве при Сольферино. Он еще ясно видел этого смешного капитана, который во время аудиенции так настойчиво просил об изъятии отрывка из хрестоматии. Это был отрывок № 15. Император вспомнил цифру с удовольствием, которое ему обычно доставляли как раз незначительные доказательства его «хорошей памяти». Майор Цоглауэр тоже показался ему теперь более приятным.

— Я хорошо помню вашего отца! — обратился император к Тротта. — Он был очень скромен, наш герой битвы при Сольферино!

— Ваше величество, — возразил лейтенант, — это был мой дед!

Император отступил на шаг, как бы теснимый могучим временем, внезапно выросшим между ним и юношей. Да, да! Он помнил номер отрывка, но не помнил больше непомерного количества времени, им прожитого.

— Ах, — произнес он, — значит, это был ваш дед! Так, так, а отец, кажется, полковник?

— Окружной начальник в В.

— Так, так! — повторил Франц Иосиф. — Постараюсь запомнить, — добавил он, как бы в извинение за ошибку, которую только что допустил.

Он постоял еще немного перед лейтенантом, но не видел ни Тротта, ни всех других. Ему больше не хотелось шагать по рядам, но это было необходимо проделать, чтобы люди не заметили, что он испугался собственного возраста. Его глаза опять, как обычно, смотрели вдаль, где для него уже всплывали края вечности. И император не заметил, что на кончике его носа повисла кристально-прозрачная капля, которая наконец упала на густые серебряные усы и невидимо угнездилась в них.

И всем стало легко на сердце. И дефилирование

полков могло начаться.

Часть третья

Глава шестнадцатая

Многочисленные важные перемены происходили в доме и в жизни окружного начальника; он отмечал их с удивлением и даже с гневом. По разным мелким признакам, которые он, однако, считал достаточно показательными, он замечал, что мир вокруг него изменялся, он думал о его гибели и о пророчествах Хойницкого. Господин фон Тротта искал нового слугу. Ему присылали множество вполне достойных молодых людей, с безупречными рекомендациями, людей, по три года служивших в армии, и даже унтер-офицеров сверхсрочной службы. То одного, то другого брал «на испытание» окружной начальник. Но ни на одном не мог остановиться. Их звали Карлами, Францами, Александрами, Йозефами, Алоисами или Кристофами или еще как-нибудь. Но окружной начальник пытался каждого называть Жаком. Ведь и настоящего Жака звали, собственно, по-другому. Имя это присвоил ему герой битвы при Сольферино, и он всю свою долгую жизнь носил его, как поэт — литературный псевдоним, под которым он публикует свои бессмертные стихи и поэмы. Но через несколько

дней оказывалось, что все эти Алоисы, Александры, Йозефы не желали откликаться на почетное имя Жака. И окружной начальник воспринимал это упорство не только как отказ в повиновении и нарушение правопорядка, но и как оскорбление, наносимое незабвенному покойнику. Как? Им не подобало называться Жаком?! Покойный Жак продолжал жить в памяти господина фон Тротта не только как образцовый слуга, но и как образец человека вообще. Но еще больше, чем упрямству его преемников, дивился окружной начальник легкомыслию господ и учреждений, снабдивших этих «жалких субъектов» столь хорошими рекомендациями. Если, например, было возможно, чтобы этот субъект, Александр Чак (человек, имя которого упорно не хотело изгладиться из памяти окружного начальника и выговаривалось им с такой ненавистью, что казалось, будто он на месте убивает Чака одним произнесением его имени), если, повторяем, было возможно, чтобы этот Чак, принадлежащий к социал-демократической партии, мог, несмотря на это, сделаться в своем полку унтер-офицером сверхсрочной службы, — право же, можно было усомниться не только в таком полку, но и во всей армии. А императорско-королевская армия была, по мнению окружного

начальника, единственной силой в государстве, на которую пока еще можно было полагаться. Окружному начальнику вдруг стало казаться, что мир заселен одними чехами: нацией, которую он считал упрямой, твердолобой, глупой, да к тому же чуть ли не изобретательницей самого слова «нация». Ко всему этому еще добавлялись малопонятные приказы и распоряжения наместника, рекомендующие более мягкое отношение к «национальным меньшинствам» (одно из определений, наиболее ненавистных господину фон Тротта). Ибо «национальные меньшинства», по его понятиям, были не что иное, как большие сообщества «революционных субъектов». Ему даже казалось, что эти «субъекты» размножаются каким-то противоестественным, несвойственным человеку образом. Окружному начальнику было совершенно ясно, что «благонадежные элементы» становились все менее плодовитыми и все меньше производили потомства; это доказывала и статистика переписей, в которую он иногда заглядывал. Он больше не мог отогнать от себя страшной мысли, что само провидение недовольно монархией, и, хотя он был, правда, выполняющим обряды, но не очень ревностным христианином, он все же склонялся к предпо-

ложению, что это Бог карает императора. Малопомалу ему вообще стали приходить в голову странные мысли. Степенность, которой он проникся с того самого дня, как сделался окружным начальником в В., мгновенно состарила его. Даже когда его бакенбарды были еще совсем черными, никому не пришло бы в голову считать господина фон Тротта молодым человеком. И все же люди в его городке только теперь начали замечать, что окружной начальник старится. Все давно усвоенные привычки ему пришлось забросить. Так, например, после смерти старого Жака и своего возвращения от сына из пограничного гарнизона он больше не совершал утренних прогулок, из страха, что один из этих часто сменяющихся «подозрительных субъектов», прислуживавших ему, позабудет положить письма на стол и, пожалуй, даже открыть окно. Он ненавидел свою домоправительницу. Он всегда ее ненавидел, но все же время от времени обращался к ней с каким-нибудь словом. С тех пор как старый Жак больше не прислуживал, окружной начальник воздерживался от каких бы то ни было замечаний за столом, ибо на самом деле все его лукавые словечки предназначались для старого Жака и, в известной степени, были рассчитаны на успех

у старого слуги. Лишь теперь, когда старик умер, господин фон Тротта понял, что говорил только для Жака, подобно актеру, привыкшему видеть в партере давнишнего почитателя своего искусства. И если окружной начальник и раньше ел торопливо, то теперь он уже после первого глотка стремился покончить с обедом.

Иногда окружной начальник в будни забывал отправиться на службу. Случалось даже, что он в четверг утром облачался в свой черный сюртук, намереваясь пойти в церковь. И только на улице по различным и несомненным признакам будней понимал, что это не воскресенье, возвращался домой и надевал обычный костюм. И наоборот, иногда по воскресеньям он забывал о посещении церкви, оставался в постели дольше обычного и вспоминал, что это воскресенье, только когда появлялся капельмейстер Нехваль со своими музыкантами. За обедом, как и каждое воскресенье, подавалось традиционное жаркое с овощами. А к кофе приходил капельмейстер Нехваль. Они сидели в кабинете. Курили сигары. Капельмейстер Нехваль тоже постарел. Вскоре он собирался выйти на пенсию. Его поездки в Вену стали реже, что же касается анекдотов, которые он рассказывал, то даже окружному начальнику они казались

давно, давно знакомыми. Он все еще не понимал их, но узнавал так же, как некоторых людей, неизвестных ему по имени, но часто встречавшихся.

— Как поживают ваши? — осведомлялся господин фон Тротта.

— Благодарю вас, превосходно! — отвечал капельмейстер.

— Госпожа ваша супруга?

— Чувствует себя хорошо!

— Дети? — (Окружной начальник все еще не знал, были у капельмейстера сыновья или дочери, а потому в течение более чем двадцати лет осторожно осведомлялся о «детях».)

— Старший уже произведен в лейтенанты! — отвечал Нехваль.

— Пехота, конечно? — по привычке спрашивал господин фон Тротта и тут же вспоминал, что и его собственный сын служит теперь в егерском полку, а не в кавалерии.

— Так точно, пехота! — говорил Нехваль. — Вскоре он навестит нас. Я возьму на себя смелость вам его представить.

— Пожалуйста, пожалуйста! Буду очень рад! — отвечал окружной начальник.

Однажды появился молодой Нехваль. Он уже год служил в полку, укомплектованном немцами,

был офицером и выглядел, по мнению господина фон Тротта, «как музыкант». «Вылитый отец», — сказал окружной начальник, хотя молодой Нехваль походил скорее на мать, чем на отца. Под выражением «выглядит, как музыкант» господин фон Тротта подразумевал «откровенную развязность» в физиономии лейтенанта, крохотные белокурые, закрученные кверху усики, лежавшие, как горизонтальная фигурная скобка, под его широким коротким носом, красивые, словно фарфоровые, маленькие, как у куклы, уши и белокурые волосы, посредине разделенные пробором.

— Да, он молодчина! — заметил господин фон Тротта господину Нехвалю. — Вы удовлетворены службой? — обратился он затем к юноше.

— Откровенно говоря, господин окружной начальник, мне скучновато!

— Скучновато? — переспросил господин фон Тротта. — В Вене?

— Да, — подтвердил молодой Нехваль, — скучно! Видите ли, господин окружной начальник, когда служишь в маленьком гарнизоне, то не так замечаешь отсутствие денег!

Окружной начальник почувствовал себя уязвленным. Он считал, что о деньгах говорить

неприлично, и боялся, что молодой Нехваль намекает на лучшее финансовое положение Карла Йозефа.

— Мой сын, правда, служит на границе, — сказал господин фон Тротта, — но он всегда обходился тем, что у него есть, даже служа в кавалерии.

На последнем слове окружной начальник сделал ударение.

Ему впервые стало обидно, что Карл Йозеф вышел из уланского полка. Подобные Нехвали в кавалерии, конечно, не попадаются! Мысль, что сын этого капельмейстера воображает, будто может в чем-нибудь равняться с молодым Тротта, причиняла окружному начальнику почти физическую боль. Он решил изобличить этого музыканта. В этом юноше, нос которого показался ему «чешским», он чуял прямо-таки «предателя родины».

— Вы охотно служите? — поинтересовался окружной начальник.

— Откровенно говоря, я мог бы представить себе и лучшую профессию!

— Как так — лучшую?

— Более практическую, — отвечал молодой Нехваль.

— Разве сражаться за родину недостаточно практично? — спросил господин фон Тротта. — Даже для человека, расположенного к практическим занятиям. — Ясно было, что слово «практическим» он произносит с иронией.

— Но мы ведь вовсе не сражаемся, — возразил лейтенант. — А когда дело дойдет до сражений, оно, вероятно, обернется совсем не практично.

— Но почему же? — спросил окружной начальник.

— Потому, что мы наверняка проиграем войну, — отвечал лейтенант Нехваль. — Сейчас другие времена, — добавил он не без злорадства, как показалось господину фон Тротта. Он прищурил глазки, их почти совсем не стало видно, его верхняя губа приподнялась и обнажила десны, что показалось господину фон Тротта уже совсем невыносимым; усики коснулись носа, похожего, по мнению окружного начальника, на широкие ноздри какого-то животного. «Препротивный малый», — подумал он.

— Новые времена, — повторил лейтенант Нехваль. — Весь этот конгломерат народов вскоре распадется.

— Так-с, — произнес окружной начальник, — а откуда вы изволите все это знать, господин лейте-

нант? — И в тот же момент ощутил всю плоскость своей насмешки, почувствовал себя инвалидом, бряцающим немощной саблей.

— Весь мир знает и говорит это, — объявил юноша.

— Говорит? — повторил господин фон Тротта. — Ваши товарищи говорят это?

— Да, говорят!

Окружной начальник замолчал. Ему вдруг показалось, что он стоит на высокой горе, а напротив него, в глубоком ущелье, находится лейтенант Нехваль. Совсем маленьким казался ему лейтенант Нехваль. И хотя он был мал и стоял низко, все же правда была на его стороне. Да, мир больше не был старым миром. Он рушился. Окружной начальник молчал. Стоял солнечный летний полдень. Желтые жалюзи кабинета впускали золотые потоки солнца. Тикали часы. Жужжали мухи. Окружной начальник думал о том летнем дне, когда к нему приехал сын Карл Йозеф в форме кавалерийского офицера. Сколько времени прошло с того дня? Только несколько лет. В этом году, как казалось окружному начальнику, события чаще следовали одно за другим. Словно солнце каждый день два раза вставало и два раза садилось и на каждой неделе было по

два воскресенья, а месяц состоял из шестидесяти дней. И годы становились двойными годами. И господин фон Тротта чувствовал, что время, дававшее, казалось, все вдвойне, на самом деле его все же обманывало и что вечность ему подсунула двойные, фальшивые годы вместо обычных и настоящих. И, презирая лейтенанта, который застрял так глубоко в своем жалком ущелье, он в то же время не доверял и горе, на которой стоял сам. Ах! Над ним учиняли несправедливость! Да, да, несправедливость! Впервые в жизни окружной начальник чувствовал, что к нему несправедливы.

Он жаждал увидеть доктора Сковроннека, человека, с которым уже несколько месяцев ежедневно играл в шахматы. Их регулярная игра в шахматы относилась к тем переменам, которые произошли в жизни окружного начальника. Доктора Сковроннека он знал уже давно, но не более близко, чем других посетителей кафе. Однажды под вечер они сидели друг против друга, каждый за своей развернутой газетой. И вдруг оба, как по команде, положили газеты, и их взгляды встретились. Одновременно и внезапно обоим стало ясно, что они читали одно и то же сообщение. Это был отчет о празднике в Хитцингене, на котором

некий мясник, по имени Алоис Шинагль, благодаря своей сверхъестественной прожорливости, вышел победителем в состязании по пожиранию окороков, за что и был награжден «золотой медалью общества едоков в Хитцингене». Взоры обоих мужчин сказали одновременно: «Мы тоже охотно едим окорок, но выдавать за это золотую медаль — это уж какая-то новомодная и совершенно безумная идея!» Существование любви с первого взгляда справедливо оспаривается знатоками. Но что между пожилыми людьми устанавливается дружба с первого взгляда, в этом нет сомнения. Доктор Сковроннек взглянул поверх своих овальных, без оправы очков на окружного начальника, и окружной начальник в тот же момент снял пенсне. Он его как бы проветривал. Доктор Сковроннек подошел к столу окружного начальника.

— Вы играете в шахматы? — спросил он.

— Охотно! — отвечал окружной начальник.

Им не пришлось уговариваться о встречах. Они встречались каждый вечер в один и тот же час. Они появлялись одновременно. Их привычки находились, по-видимому, в какой-то слаженной согласованности. Во время игры они едва-едва обменивались словами. Они и не испытывали потребности разговаривать друг с другом. На

узкой шахматной доске их пальцы иногда сталкивались, как сталкиваются люди на маленьком пространстве, отдергивались и возвращались на место. Но как ни мимолетны были эти столкновения, пальцы, словно они обладали глазами и ушами, все знали друг о друге — о людях, которым они принадлежали. И после того, как окружной начальник и доктор Сковроннек несколько раз сталкивались руками на шахматной доске, им стало казаться, что они знакомы уже долгие годы и что у них нет тайн друг от друга. Так постепенно легкие беседы стали сопутствовать их игре, и оба начали обмениваться мыслями и замечаниями о погоде, политике, свете и людях. «Достойнейший человек!» — думал окружной начальник о докторе Сковроннеке. «Необыкновенно тонкий человек!» — думал доктор Сковроннек об окружном начальнике.

Большую часть года доктор Сковроннек ровно ничего не делал. Он работал в качестве курортного врача во Франсисбаде всего четыре месяца в году, и все его знание света зиждилось на признаниях пациенток, ибо женщины рассказывали ему обо всем, что, по их мнению, их угнетало, а на свете не было ничего, что бы не угнетало их. Здоровье их страдало от профессий мужей, так же

как и от холодности последних, от «общей беды времени», от дороговизны и политических кризисов, от непроходящей военной опасности, от газет, выписываемых супругами, от собственного безделья, от неверности любовников и безразличия мужчин, так же как и от их ревности. Таким путем доктор Сковроннек познакомился с различными сословиями и домашней жизнью их представителей, с их кухней, спальнями, их склонностями, страстями и глупостью. И так как он верил не всему, а приблизительно трем четвертям того, что ему рассказывали женщины, то приобрел со временем превосходное знание света, более ценное, чем его познания в медицине. Когда он говорил с мужчинами, на его губах тоже блуждала недоверчивая и все же услужливая улыбка человека, ожидающего услышать все, что угодно. Какая-то уклончивая снисходительность светилась на его маленьком лукавом лице. Да и в самом деле он столь же любил людей, сколь и презирал их.

Знала ли простая душа господина фон Тротта о добродушном лукавстве доктора Сковроннека? Так или иначе, но это был первый человек после друга юности Мозера, к которому окружной начальник испытывал доверчивое уважение.

— Давно ли вы живете в нашем городе, господин доктор? — осведомился он.

— С рождения! — отвечал Сковроннек.

— Жаль, жаль, что мы так поздно узнали друг друга!

— Я уже давно знаю вас, господин окружной начальник, — заметил доктор Сковроннек.

— Я тоже встречал вас, — ответствовал господин фон Туюгта.

— Ваш сын был однажды здесь! — сказал Сковроннек. — Года два назад!

— Да, да, я помню, — заметил окружной начальник.

Он думал о том вечере, когда Карл Йозеф пришел сюда с письмами покойной фрау Слама. Это было летом. Только что прошел дождь. Мальчик пил скверный коньяк у бу — фетной стойки.

— Он перевелся из кавалерии, — промолвил господин фон Тротта, — и служит теперь в егерском батальоне на границе в N.

— И он радует вас? — спросил Сковроннек. Он хотел сказать: огорчает.

— Собственно, да. Конечно! Да! — ответил окружной начальник. Затем быстро встал и распрощался со Сковроннеком.

Он уже давно носился с мыслью поведать докто-

ру Сковроннеку все свои тревоги. Он становился стар, ему нужен был слушатель. Каждый вечер окружной начальник принимал решение поговорить со Сковроннеком, но не мог придумать подходящего начала для интимного разговора. Доктор ожидал этого разговора со дня на день. Он чувствовал, что для окружного начальника пришла пора делать признания.

Уже много недель окружной начальник носил в кармане сюртука письмо сына. На него следовало ответить, но господин фон Тротта не мог этого сделать. А письмо становилось все тяжелей, тяжелый груз лежал у него в кармане. Вскоре окружному начальнику стало казаться, что он носит это письмо в своем старом сердце. Карл Йозеф сообщал в нем, что намерен оставить армию. Уже первая фраза письма гласила: «Я ношусь с мыслью оставить армию». Когда окружной начальник прочел эту фразу, он остановился и бросил взгляд на подпись, желая удостовериться, что Карл Йозеф, а не кто другой, написал это письмо. Затем господин фон Тротта снял пенсне, которое надевал при чтении, и отложил его вместе с письмом. Он отдыхал, сидя в своей канцелярии. Служебные письма еще не были распечатаны. Может быть, в них содержались

важные, требующие немедленного вмешательства сообщения. Но все служебные дела казались ему в свете доводов Карла Йозефа уже разрешенными, и разрешенными неблагоприятно. Окружному начальнику впервые довелось поставить свои служебные обязанности в зависимость от личных переживаний. Весть о намерении сына оставить армию подействовала на него так, словно вся императорско-королевская армия вкупе сообщала о своем желании прекратить служение государству. Все, все на свете, казалось, утратило смысл. Гибель мира начиналась! И когда окружной начальник все же наконец решился прочитать служебные письма, у него было чувство, что он выполняет какой-то напрасный, безыменный и героический долг, как, например, телеграфист тонущего корабля.

Только добрый час спустя решился он дочитать письмо сына. Карл Йозеф испрашивал его дозволения. И окружной начальник ответил ему в следующих словах:

«Мой милый сын!

Твое письмо потрясло меня. Через некоторое время я сообщу тебе мое окончательное решение.

Твой отец».

На это письмо господина фон Тротта Карл Йозеф ничего не ответил. Да, он прервал ровный ряд своих обычных сообщений, и посему окружной начальник долгое время ничего не слышал о сыне. Старик ждал письма каждое утро и знал, что ждет напрасно. Казалось, что не отсутствовало каждое утро ожидаемое письмо, а приходило ожидаемое и пугающее молчание. Сын молчал. Но отец слышал, как он молчит. И казалось, что юноша каждый день вновь оказывает неповиновение родителю. И чем дольше не приходили вести от Карла Йозефа, тем труднее было окружному начальнику приняться за обещанное письмо. И если вначале ему казалось само собой разумеющимся попросту запретить сыну уход из армии, то теперь господин фон Тротта мало-помалу начинал считать, что не вправе что-либо запрещать ему. Он сильно приуныл, господин окружной начальник. Все серебристее делались его бакенбарды, а виски стали уже совсем белыми. Его голова иногда свешивалась

на грудь, подбородок и оба крыла бакенбардов ложились на крахмальную манишку. Так он внезапно засыпал в своем кресле, через несколько минут схватывался и думал, что проспал вечность. Да и вообще его мучительно-точное умение учитывать время покинуло его с тех пор, как ему пришлось расставаться то с одной, то с другой из своих привычек. Ведь часы и дни предназначались как раз для того, чтобы сохранять эти привычки, а теперь они стали походить на пустые сосуды, которые никогда больше не будут наполнены и которыми никто больше не интересуется. Только на ежевечернюю партию в шахматы с доктором Сковроннеком окружной начальник еще приходил пунктуально.

Однажды к нему явился неожиданный визитер. Господин фон Тротта сидел в канцелярии над своими бумагами, когда снаружи до него донесся хорошо знакомый, громкий голос друга юности Мозера и голос служителя, тщетно пытавшегося спровадить профессора. Окружной начальник позвонил и велел впустить его.

— Приветствую вас, господин наместник, — сказал Мозер. В своей шляпе с отвислыми полями, с папкой под мышкой и без пальто, Мозер походил не на человека, совершившего путешествие

и только что вылезшего из вагона, а на человека, забежавшего по соседству. И окружного начальника пронзила ужасная мысль, что, может быть, Мозер приехал в В., чтобы навсегда здесь обосноваться. Профессор прежде всего направился к двери, повернул ключ и сказал:

— Чтобы нас никто не застиг, мой милый. Это могло бы повредить твоей карьере. — После этого он большими, медленными шагами приблизился к столу, обнял окружного начальника и запечатлел звучный поцелуй на его лысине. Затем он опустился в кресло возле стола, положил шляпу и палку на пол и более уже не произносил ни слова.

Господин фон Тротта тоже молчал. Он понял теперь, почему явился Мозер. Вот уже три месяца, как он не высылал ему денег.

— Прости меня, — сказал господин фон Тротта. — Я тотчас же заплачу тебе все сполна. Ты должен извинить меня. В последнее время у меня много забот!

— Могу себе представить! — возразил Мозер. — Твой сынок немало тебе обходится! Каждую вторую неделю вижу его в Вене! Неплохо, видно, развлекается господин лейтенант!

Окружной начальник поднялся и схватился

за грудь. В кармане он нащупал письмо Карла Йозефа. Господин фон Тротта подошел к окну. Повернувшись спиной к Мозеру, со взглядом, устремленным на старые каштаны в парке напротив, он спросил:

— Ты говорил с ним?

— Мы всегда выпиваем по стаканчику, когда встречаемся, — ответил Мозер. — Шикарный молодой человек, твой сынок.

— Так! Шикарный! — повторил господин фон Тротта.

Он поспешно возвратился к письменному столу, резко выдвинул ящик, перелистал ассигнации, вытащил несколько купюр и подал их Мозеру. Мозер сунул деньги за изорванную подкладку шляпы и поднялся.

— Одну минуту! — попросил окружной начальник. Он подошел к двери, отпер ее и обратился к служителю.

— Проводите господина профессора на вокзал. Он едет в Вену. Поезд отходит через час.

— Премного благодарен! — сказал Мозер и отвесил поклон. Окружной начальник переждал несколько минут, потом взял шляпу, трость и отправился в кафе.

Он немного запоздал. Доктор Сковроннек уже

сидел за столом, перед шахматной доской с расставленными на ней фигурами. Господин фон Тротта сел.

— Черные или белые, господин окружной начальник? — спросил Сковроннек.

— Сегодня я не играю! — промолвил старый Тротта. Он заказал коньяк, выпил его и начал: — Боюсь, что обременю вас, господин доктор!

— Пожалуйста, — сказал Сковроннек.

— Речь идет о моем сыне, — начал господин фон Тротта. И деловым, медленным, немного носовым голосом, словно докладывал муниципальному советнику о служебных делах, он начал излагать свои заботы. Казалось, он подразделяет их на главные и второстепенные. И пункт за пунктом он рассказал доктору историю своего отца, свою собственную и своего сына. Когда он кончил, все посетители уже разошлись, в кафе горели зеленоватым пламенем газовые лампы, и их монотонная песня жужжала над столом.

— Так. Вот и все! — закончил окружной начальник.

Долгое время царила тишина. Окружной начальник не смел взглянуть на доктора Сковроннека, доктор Сковроннек не решался взглянуть на окружного начальника. И они опускали глаза

друг перед другом, словно взаимно поймали себя на каком-то постыдном поступке. Наконец доктор Сковроннек сказал:

— Может быть, за всем этим кроется женщина? Иначе зачем бы вашему сыну так часто бывать в Вене?

Окружной начальник никогда не думал о женщине. Он сам удивился, что ему тотчас же не пришла в голову эта простая мысль. И вот все, — а это было, конечно, немного, — что он когда-либо слышал о губительном влиянии, которое женщины оказывают на молодых мужчин, внезапно ударило ему в голову и в тот же миг освободило его сердце. Если это была только женщина, толкнувшая Карла Йозефа на решение выйти из армии, то, хотя дело, может быть, и было непоправимо, обнаруживалась, по крайней мере, причина беды, и гибель мира уже не стояла в зависимости от непознаваемых, таинственных, мрачных сил, с которыми невозможно бороться. «Женщина!» — подумал он. Нет! Он ничего не слышал о женщине! И произнес на своем канцелярском языке:

— До моего слуха не доходило ничего об особе женского пола!

— Особа женского пола! — повторил доктор

Сковроннек и улыбнулся. — Возможно, что это и дама!

— Итак, вы думаете, — произнес господин фон Тротта, — что мой сын питает серьезное намерение вступить в брак?

— Не обязательно! — отвечал Сковроннек. — На дамах можно и не жениться!

Он понял, что окружной начальник принадлежит к тем простым натурам, которых следовало бы вторично послать в школу жизни. И он решил обходиться с ним, как с ребенком, только что начинающим говорить на родном языке.

— Оставим в покое дам, господин окружной начальник, — сказал он. — Дело не в этом! По той или иной причине ваш сын не хочет оставаться в армии. И я его понимаю!

— Вы понимаете это?

— Вполне, господин окружной начальник! Молодой офицер нашей армии, поразмыслив немного, не может быть довольным своей профессией. Его стремлением должна быть война. Но он знает, что война — это конец монархии.

— Конец монархии?

— Конец, господин окружной начальник. К сожалению! Дайте вашему сыну поступить, как ему хочется. Может быть, он лучше освоится с

какой-нибудь другой профессией.

— С другой профессией? — повторил господин фон Тротта. — С другой профессией!

Они долго молчали. Затем окружной начальник в третий раз повторил:

— С другой профессией!

Он старался привыкнуть к этим словам, но они оставались ему чужды, как слова «революционер», «национальные меньшинства» и тому подобное. И окружному начальнику показалось, что теперь уже недолго осталось ждать крушения мира. Он стукнул кулаком по столу, круглая манжета захрустела, чуть-чуть закачалась зеленоватая лампа, и спросил:

— С какой профессией, господин доктор?

— Он мог бы, — заметил Сковроннек, — быть может, пристроиться хотя бы на железную дорогу!

Окружному начальнику тотчас же представился его сын в форме кондуктора, с щипцами для компостирования билетов в руках. Слово «пристроиться» наполнило ужасом его старое сердце. Ему стало холодно.

— Вы так думаете?

— Больше я ничего не знаю! — отвечал доктор Сковроннек.

И так как окружной начальник встал, он последовал его примеру.

— Я вас провожу!

Они пошли парком. Накрапывал дождь. Окружной начальник шел, не раскрывая зонтика. Время от времени тяжелые капли с густых крон деревьев падали на его плечи и жесткую шляпу. Кругом все было тихо и темно. Проходя мимо фонарей, прятавшихся в густой листве, оба друга каждый раз опускали головы. У выхода из парка они немного замедлили шаги. Внезапно доктор Сковроннек сказал:

— До свиданья, господин окружной начальник. — И господин фон Тротта один пошел через улицу по направлению к широким воротам окружной управы.

На лестнице он повстречался со своей домоправительницей и объявил:

— Я сегодня не ужинаю, почтеннейшая! — и быстро прошел вперед. Ему хотелось прыгать через две ступени, но он устыдился и со своей обычной важностью проследовал прямо в канцелярию. Впервые, с тех пор как он начальствовал над этим округом, ему довелось в столь поздний час сидеть за своим служебным столом. Он зажег зеленую настольную лампу, которая обычно

зажигалась только зимой, в послеобеденное время. Окно стояло открытым. Дождь отчаянно барабанил по жестяному подоконнику. Господин фон Тротта достал из ящика желтоватый лист канцелярской бумаги и написал:

«Милый сын!

По зрелом размышлении, я решил возложить ответственность за твое будущее на тебя самого. Прошу только поставить меня в известность касательно твоего решения.

Твой отец».

Господин фон Тротта еще долго сидел перед своим письмом. Несколько раз перечитал написанные им скучные строчки. Они звучали для него как завещание. Ему раньше никогда не пришло бы в голову считать свои отцовские обязанности важнее служебных, но теперь, когда в этом письме он слагал с себя право распоряжаться судьбой сына, ему казалось, что вся его жизнь имеет мало смысла и что ему заодно надо перестать быть и чиновником. Ничего не было бесчестного в том, что он предпринимал. И все же он чувствовал, что сам нанес себе оскорбление. Он вышел из канцелярии с письмом в руке и направился в

кабинет. Здесь он зажег полный свет, на столе и под потолком, и стал перед портретом героя Сольферино. Лицо отца он видел неясно. Картина распадалась на сотни мелких пятен и точек, рот казался бледно-розовым штрихом, а глаза двумя черными угольками. Окружной начальник влез на кресло (с детства ему не приходилось стоять на кресле), вытянулся, поднялся на носки, поднес к глазам пенсне и разобрал только подпись Мозера в правом углу. Он не без труда слез с кресла, подавил вздох, пятясь, отступил к противоположной стене, больно ударился о край стола и снова начал изучать портрет. Затем потушил верхнюю лампу. В полумраке лицо отца казалось живым. Оно то приближалось, то отодвигалось вдаль, уходило в стену и словно из бесконечной дали смотрело в окно комнаты. Господин фон Тротта ощутил страшную усталость. Он опустился в кресло, предварительно поставив его как раз напротив портрета, и расстегнул жилет. Он слышал, как все более редкие капли утихающего дождя жестко и неравномерно ударялись о подоконник и как ветер время от времени шелестел в старых каштанах. Окружной начальник закрыл глаза и заснул с конвертом в руке и с рукой, неподвижно застывшей на ручке кресла.

Когда он проснулся, утро уже лило полный свет в три больших сводчатых окна. Прежде всего окружной начальник увидал портрет героя Сольферино, затем ощутил письмо в своей руке, взглянул на адрес, прочел имя своего сына и со вздохом поднялся. Его манишка смялась, широкий темно-красный галстук с белыми крапинками сдвинулся набок, а на полосатых брюках господин фон Тротта, впервые с тех пор, как он начал носить брюки, заметил отвратительные поперечные складки. Некоторое время он разглядывал себя в зеркале. Он видел, что его бакенбарды спутаны, что несколько жалких седых волосков вьются на лысине, а колючие брови растрепаны, словно в них пронесся небольшой ураган. Окружной начальник взглянул на часы. И так как скоро уже должен был прийти парикмахер, он поспешил раздеться и юркнул в постель, дабы изобразить перед цирюльником нормальное утро. Но письма он не выпустил из рук. Он держал его также во время намыливания и бритья, а потом, когда он мылся, письмо лежало на краешке умывальника. И, только садясь завтракать, господин фон Тротта передал его служителю, приказав отправить с ближайшей почтой.

Как и каждый день, он пошел на службу. И никто не мог бы заметить, что господин фон Тротта потерял свою веру. Ибо тщательность, с которой он сегодня занимался делами, не уступала его обычной тщательности. Только она была совсем, совсем другого свойства. Это была тщательность рук, глаз, даже пенсне. Господин фон Тротта походил на виртуоза, в котором давно угас творческий огонь, в душе которого стало пусто и глухо, но чьи пальцы благодаря годами приобретаемым навыкам все еще сохраняли мертвую способность извлекать правильные звуки. Но, как мы уже сказали, никто этого не замечал. Под вечер, как обычно, явился вахмистр Слама. Господин фон Тротта спросил его:

— Скажите-ка, милый Слама, вы, кажется, женились вторично? — Он сам не понимал, почему ему сегодня пришло в голову задать этот вопрос и почему его стала интересовать частная жизнь жандарма.

— Нет, господин барон! — отвечал Слама. — Я никогда больше не женюсь!

— Вы совершенно правы! — заметил господин фон Тротта. Но он не знал и того, почему вахмистр прав в своем решении не жениться.

Это был час, когда он ежедневно появлялся в

кафе, следовательно, он и сегодня отправился туда. Шахматная доска была уже приготовлена. Доктор Сковроннек пришел одновременно с ним, и они уселись.

— Черные или белые, господин окружной начальник? — как всегда, осведомился доктор.

— Как вам угодно, — отвечал господин фон Тротта. И они начали играть. Господин фон Тротта играл сегодня тщательно, почти благоговейно, и выиграл.

— Вы скоро станете настоящим мастером! — заметил Сковроннек. Окружной начальник и вправду почувствовал себя польщенным.

— Может быть, я в свое время и мог бы им сделаться! — отвечал он. И подумал, что это было бы лучше.

— Между прочим, я написал сыну, — начал он немного погодя. — Пусть поступает, как хочет.

— Вы правильно поступили! — промолвил доктор. — Нельзя брать на себя ответственность! Ни один человек не может нести ответственности за другого!

— Мой отец нес ее за меня! — сказал окружной начальник, — и мой дед за моего отца!

— Тогда все было по-другому, — возразил Сковроннек. — В наше время даже император не несет

ответственности за свою монархию. Похоже на то, что и сам Господь Бог не хочет нести ответственности за мир. В те времена было легче! Все было устойчивее. Каждый камень лежал на своем месте. Улицы жизни были хорошо вымощены. Надежные крыши возвышались над стенами домов. Но сегодня, господин окружной начальник, сегодня камни валяются поперек улиц или лежат ссыпанными в опасные кучи, крыши продырявлены, в домах идет дождь, и каждый сам должен знать, по какой улице ему идти и в какой дом въезжать. Когда ваш покойный отец сказал, что из вас выйдет не сельский хозяин, а чиновник, он был прав. Вы стали образцовым чиновником. Но когда вы сказали своему сыну, чтобы он сделался солдатом, вы были не правы. Он не стал образцовым солдатом!

— Да, да! — подтвердил господин фон Тротта.

— Поэтому надо всему давать идти своей дорогой! Когда мои дети меня не слушаются, я только стараюсь не терять своего достоинства. Это все, что мне остается. Я иногда смотрю на них, когда они спят. Их лица кажутся мне совсем чужими, я едва узнаю их и вижу, что это чужие мне люди, принадлежащие времени, которое еще только наступает и до которого мне не придется дожить.

Они еще совсем малы, мои дети! Одному восемь, другому десять, и во сне у них круглые розовые лица. И все же в этих лицах, когда они спят, есть что-то жестокое. Иногда мне кажется, что это уже жестокость их времени, жестокость будущего, во сне осеняющая детей. Я не хочу дожить до этого времени!

— Да, да! — сказал окружной начальник.

Они сыграли еще одну партию, но на этот раз господин фон Тротта проиграл.

— Нет, мастера из меня не выйдет! — мягко заметил он, как бы примиряясь со своими недостатками.

Сегодня тоже наступил вечер, зеленоватые лампы, эти голоса тишины, уже загудели, в кафе опустело. Они снова пошли домой через парк. Сегодня вечер был веселый, и веселые пешеходы попадались им навстречу. Они говорили о частых дождях этого лета, о засухе прошедшего и о предвидящейся суровой зиме. Сковроннек дошел до дверей окружной управы.

— Вы поступили правильно, написав сыну, господин окружной начальник! — сказал он.

— Да, да! — подтвердил господин фон Тротта.

Он сел за стол и торопливо съел полкурицы с салатом, не проронив ни слова. Домоправи-

тельница украдкой бросала на него боязливые взгляды. С тех пор как умер Жак, она часто сама прислуживала за столом.

Она покинула комнату раньше окружного начальника, с неудавшимся книксеном, тем же, который она тридцать лет назад, маленькой девочкой, делала перед школьным директором. Окружной начальник кивнул ей вслед с жестом, которым обычно отгоняют мух. Затем он поднялся и пошел спать. Он чувствовал себя усталым, почти больным. Прошедшая ночь вспоминалась ему как давнишний сон; но все его члены ощущали ее как недавний ужас.

Он спокойно уснул. Самое тяжелое, как ему казалось, было уже проделано. Он не знал, старый господин фон Тротта, что, покуда он спал, судьба пряла для него тягчайшее горе. Он был стар и утомлен, смерть уже ждала его, но жизнь еще не отпускала. Как грозный хозяин, удерживала она его за столом, ибо он еще не отведал всего того горького, что было для него припасено.

Глава семнадцатая

Нет, окружной начальник отведал горького еще недостаточно! Карл Йозеф получил письмо отца слишком поздно, когда он уже давно решил больше не распечатывать и не писать писем. Что касается фрау Тауссиг, то она присылала ему телеграммы. Как юркие, маленькие ласточки, прилетали каждые две недели эти звавшие его телеграммы. И Карл Йозеф бросался к шкафу, доставал свой серый штатский костюм, свое лучшее, более важное и потайное существование, и облачался в него. Он тотчас же роднился с миром, в который устремлялся, и забывал о своей военной жизни. Место капитана Вагнера занял капитан Иедличек, переведенный в батальон из эйнзерских егерей, «добрый малый» грандиозного телосложения, широкий, веселый и мягкосердечный, как все великаны, откликающийся на любые уговоры.

Что за человек! Не успел он приехать, как все уже знали, что он может помериться силами с этим болотом и что он сильнее границы. На него можно было положиться! Он нарушал все военные законы, но казалось, что он разрушает их! Он

мог бы изобрести новый служебный регламент, ввести и провести его! Так он выглядел! Ему нужно было много денег, но они и стекались к нему со всех сторон. Товарищи давали ему взаймы, подписывали для него векселя, закладывали свои кольца и часы, писали, стараясь достать ему денег, своим отцам и теткам. Не то чтобы его так сильно любили! Ведь любовь приблизила бы их к нему, а он, видимо, не очень-то хотел приближать к себе! Но это и по чисто физическим причинам было бы нелегко, — его рост, его ширина и сила всех от него отгоняли, и поэтому ему не трудно было быть добродушным.

— Поезжай спокойно! — сказал он лейтенанту Тротта. — Ответственность я беру на себя!

Он брал на себя ответственность и умел нести ее. Каждую неделю ему нужны были деньги. Лейтенант Тротта получал их от Каптурака. Да и ему самому, Тротта, нужны были деньги. Он чувствовал бы себя ничтожным, являясь к фрау Тауссиг без денег. Это значило бы вступать безоружным в вооруженный лагерь. Какое легкомыслие! И он постепенно увеличивал свои потребности, умножал суммы, которые брал с собой, и все же из каждой поездки возвращался с последней кроной в кармане, всегда решая в следующий раз

захватить побольше. Иногда он пытался дать себе отчет в потраченных деньгах. Но ему никогда не удавалось припомнить все свои расходы, тем более что он часто не мог справиться с простым сложением. Он не умел считать. Его маленькие записные книжки могли бы свидетельствовать о безнадежных стараниях быть аккуратным. Бесконечные колонки цифр испещряли все страницы. Но они спутывались и смешивались, ускользали у него из рук, сами складывались и обманывали его фальшивыми суммами, они галопом уносились из поля его зрения и в следующий же миг возвращались преображенными и неузнаваемыми. Ему не удавалось даже подсчитать свои долги. В процентах он тоже не был силен. То, что он дал взаймы, исчезало за тем, что он занял, как холм за высокой горой. И он не мог взять в толк, как, собственно, считает Каптурак. Но если он не доверял честности Каптурака, то тем более сомневался в своих собственных арифметических способностях. В конце концов цифры ему наскучили. И он раз и навсегда отказался от всех попыток считать — с мужеством, рожденным бессилием и отчаянием.

Шесть тысяч крон был он должен Каптураку и Бродницеру. Эта сумма, даже при его смутном

представлении о цифрах, казалась гигантской, когда он сравнивал ее со своим месячным жалованьем. (А треть его еще удерживалась каждый месяц.) Постепенно он все же свыкся с цифрой шесть тысяч, как с могущественным, но очень давним врагом. Да, в хорошие минуты ему даже казалось, что цифра уменьшается и теряет силу. Но в плохие минуты она возрастала до грозных размеров.

Он ездил к фрау Тауссиг. В течение многих недель предпринимал он эти короткие тайные поездки к фрау фон Тауссиг, эти грешные паломничества. Подобно простодушным верующим, для которых богомолье является чем-то вроде наслаждения, развлечением, а иногда даже сенсацией, лейтенант Тротта отождествлял цель, к которой он направлялся, с тем, чем она была окружена, с вечной своей тоской по свободной жизни, с штатским платьем, которое он надевал, со сладостью запретного плода. Он любил свои поездки. Он любил эти десять минут в закрытой карете, отвозившей его на вокзал, когда он внушал себе, что никто его не узнает. Он любил эти взятые взаймы стокроновые ассигнации в боковом кармане, которые сегодня и завтра принадлежат ему одному и по которым незаметно, что они взяты

в долг и уже начали расти и пухнуть в книгах Каптурака. Он любил свое штатское инкогнито. На венском Северном вокзале никто не узнавал его. Офицеры и солдаты проходили мимо. Он ни с кем не здоровался, и никто не здоровался с ним. Иногда его рука сама собой подымалась, чтобы отдать честь. Но он тут же вспоминал о своем штатском платье и опускал ее. Жилетка, например, доставляла лейтенанту детскую радость. Он засовывал руки во все ее карманы, назначения которых не понимал. Суетными пальцами ласкал он узел галстука над вырезом жилетки — единственного, который у него имелся, подарок фрау Тауссиг, который он, несмотря на бесчисленные усилия, все еще не умел завязывать. Самый неискушенный сыщик немедленно признал бы в нем переодетого офицера.

Фрау Тауссиг стояла на перроне Северного вокзала. Двадцать лет назад, хотя она думала, что всего пятнадцать, ибо так долго скрывала свой возраст, что прониклась уверенностью, будто годы приостановили свой бег, двадцать лет назад она также встречала лейтенанта на Северном вокзале, правда, тот был кавалеристом. Она входила на перрон, как в омолаживающий источник. Погружалась в едкий запах камен-

ного угля, в свистки и дым маневрирующих паровозов, в частый звон сигналов. На ней была короткая дорожная вуалетка. Ей казалось, что пятнадцать лет назад это было модно. Между тем с тех пор прошло уже двадцать пять лет — даже не двадцать! Она любила стоять на платформе. Она любила мгновение, когда подкатывал поезд и в одном из окон она замечала смешную темно-зеленую шапочку Тротта и его любимое, беспомощно юное лицо. Ибо она и Карла Йозефа делала моложе, так же как себя самое, глупее и беспомощнее. В момент, когда лейтенант сходил с нижней ступеньки, ее объятия раскрывались, как двадцать, то есть пятнадцать лет назад. И из ее нынешнего лица возникало то прежнее, розовое, без морщинок лицо, которое было у нее двадцать, то есть пятнадцать лет назад, лицо девушки, милое и слегка разгоряченное. Вокруг шеи, на которой теперь уже пролегли две глубокие параллельные бороздки, она обвила ту детскую, тоненькую золотую цепочку, которая пятнадцать, то есть двадцать лет назад была ее единственным украшением. И как тогда, она отправилась с лейтенантом в один из маленьких отелей, где процветала тайная любовь в оплаченном, убогом, продавленном и чудесном

постельном раю. Начались прогулки. Любовные минуты среди молодой зелени венского леса, маленькие и внезапные грозы в крови… Вечера в красноватом сумраке оперных лож, за спущенными занавесами. Ласки, хорошо знакомые и все же неожиданные, ласки, которых ждала искушенная и все же неувядающая плоть. Слух узнавал часто слышанную музыку, но глазам были знакомы только отдельные моменты сцен. Ибо фрау Тауссиг всегда сидела в опере за спущенными занавесами или же с закрытыми глазами. Ласки были рождены музыкой и как бы передоверены оркестром рукам мужчины, которые в одно и то же время прохладно и горячо касались ее кожи; давно знакомые и вечно новые ласки, дары, уже не раз принимавшиеся, но опять позабытые и словно виденные только во сне. Открывались тихие рестораны. Начинались тихие ночные ужины в укромных уголках, где вино, которое они пили, казалось согретым лучами любви, всегда светившейся в этом полумраке. Затем приходило расставание, последнее объятие днем, под предостерегающее тиканье часов на ночном столике, уже исполненное радости следующих встреч, и торопливость, с которой они проталкивались сквозь толпу к поезду, и последний поцелуй на

подножке, и в самый последний момент отказ от надежды уехать вместе.

Усталый, но преисполненный всей сладости света и любви, возвращался лейтенант Тротта в свой гарнизон. Денщик Онуфрий уже держал наготове форму. Тротта переодевался в задней комнате вокзального ресторана и ехал в казарму. Прежде всего он шел в ротную канцелярию. Все в порядке, никаких происшествий, капитан Иедличек был весел, силен и здоров, как всегда. Лейтенант Тротта чувствовал облегчение и в то же время известное разочарование. В каком-то потайном уголке сердца он всегда надеялся на катастрофу, которая сделает невозможным его дальнейшее пребывание в армии. О, тогда он тотчас повернул бы назад. Но ничего не случалось. Значит, ему надо ждать еще двенадцать дней, запертым в четырех стенах казарменного двора и пустынных улочек города. Он бросил взгляд на мишени, развешанные по стенам. Маленькие синие человечки, в клочья разорванные пулями и снова подмалеванные, казались лейтенанту злобными кобольдами, домовыми казармы, которые сами грозили оружием, их поразившим, — уже не мишени, а опасные стрелки. Как только он приходил в гостиницу Бродницера, переступал

порог своей полупустой комнаты и бросался на железную кровать, он принимал решение из следующего отпуска уже не возвращаться.

Но провести в жизнь это решение не был в состоянии. И знал это. В действительности он ждал какого-то необыкновенного счастья, которое в один прекрасный день выпадет ему на долю и навеки его освободит и от армии, и от необходимости добровольно оставить ее. Все, что он мог сделать, заключалось в том, что он перестал писать отцу и несколько писем окружного начальника оставил нераспечатанными, чтобы прочесть их когда-нибудь потом…

Прошли и следующие двенадцать дней. Он открыл шкаф, осмотрел свой штатский костюм и стал ждать телеграммы. Она всегда приходила в этот час, в сумерки, незадолго до наступления ночи, как птица, возвращающаяся в свое гнездо. Но сегодня ее не было, ее не было и когда уже наступила ночь. Лейтенант не зажигал света, чтобы не замечать ночи. Одетый, с открытыми глазами лежал он на постели. Все знакомые голоса весны проникали к нему через раскрытое окно: низкоголосое кваканье лягушек и над ним нежная и звонкая песнь кузнечиков, изредка прерываемая ночными зовами соек в песнями парней и деву-

шек из пограничной деревни. Наконец пришла телеграмма. В ней сообщалось, что на этот раз лейтенант не должен приезжать. Фрау Тауссиг уехала к мужу. Она скоро вернется, но не знает точно, когда. Телеграмма заканчивалась «тысячью поцелуев». Эта цифра обидела лейтенанта. Она могла бы и не экономить, подумал он. Можно было написать и «сто тысяч». Он вспомнил про свой долг в шесть тысяч крон! По сравнению с ним тысяча поцелуев довольно мизерная цифра.

Лейтенант раскрыл дверь в коридор. Онуфрий постоянно сидел там, молчаливо, или мурлыкая какую-нибудь песенку, или наигрывая на губной гармонике, которую он прикрывал согнутыми ладонями, чтобы заглушить звуки. Иногда он сидел на стуле, иногда прикорнув на пороге. Он мог бы демобилизоваться еще год назад. Но остался. Его деревня Бурдлаки была расположена поблизости. Когда лейтенант уезжал, он отправлялся туда. С собой он брал черешневую палку и белый в голубых цветах платок, который наполнял какими-то загадочными предметами, вешал узелок на палку, перекидывал ее через плечо, провожал лейтенанта на вокзал и, дожидаясь отхода поезда, замирал с рукой у козырька, даже если лейтенант и не смотрел в окно; после этого

он начинал свое странствие в Бурдлаки по узкой, поросшей ивняком, тропинке между болотами — единственному безопасному пути в этих топях. Возвращался он, как раз чтобы успеть встретить Тротта. И снова усаживался у его двери, молчаливо, или же мурлыкая какую-нибудь песенку, или наигрывая на прикрытой ладонями гармонике. Итак, лейтенант раскрыл дверь в коридор.

— На этот раз тебе не придется идти в Бурдлаки, Я не уезжаю!

— Слушаюсь, господин лейтенант.

— Ты останешься здесь! — повторил Тротта; ему казалось, что Онуфрий не понял его. Но парень только повторил: «Слушаюсь!» И как бы в доказательство того, что понимает больше, чем ему говорят, пошел вниз и вернулся с бутылкой «девяностоградусной».

Тротта выпил. Голая комната стала уютнее. Электрическая груша на плетеной проволоке, о которую бились ночные бабочки, раскачиваемая легким ветерком, отбрасывала на коричневый лак стола красивые пляшущие отблески. Мало-помалу разочарование Тротта превратилось в благотворную боль. Он как бы вступил в союз со своим горем. Все в мире было сегодня в высшей степени печально, и лейтенант был средоточием

этого печального мира. Это для него сегодня так жалобно квакали лягушки, для него пели свою щемящую сердце песнь кузнечики. Из-за него весенняя ночь наполнилась мягкой, сладостной болью, из-за него так недосягаемо высоко стояли звезды на небе, и для него одного так напрасно и тоскливо мерцал их свет. Нескончаемая боль мира гармонировала с несчастием Тротта. Он страдал в полном единении со страдающей вселенной. Тротта открыл шкаф. Там висел его серый костюм, все, что осталось от свободного Тротта. Рядом поблескивала сабля Макса Деманта, почившего друга. В ящике, рядом с письмами покойной фрау Слама, лежал окаменевший корень, память от старого Жака. А на подоконнике валялись нераспечатанными три письма отца, который, может быть, уже тоже скончался. Ах! Лейтенант Тротта был не только печален и несчастлив, он был еще скверным, до мозга костей скверным человеком! Карл Йозеф возвратился к столу, налил себе стаканчик и залпом осушил его. В этот момент Онуфрий в коридоре у дверей заиграл новую песню на губной гармонике, хорошо известную песню: «Наш государь…» Первые украинские слова песни — «Ой, наш царь-государь» — Тротта позабыл. Ему не удалось изучить язык этой стра-

ны. У него был не только скверный характер, но и усталая, бестолковая голова. Короче говоря: вся его жизнь была проиграна! Его сердце сжалось, слезы комком подкатили к горлу, вот-вот они выступят на глаза. И он выпил еще стаканчик, чтобы расчистить им путь. Наконец они полились из глаз. Он положил руки на стол, склонил на них голову и начал жалобно всхлипывать. Так он проплакал с четверть часа. Он не слышал, как Онуфрий прервал игру и как в его дверь постучали.

Он поднял голову, только когда щелкнул замок, и увидел Каптурака.

Ему удалось сдержать слезы и резким голосом спросить:

— Как вы сюда попали?

Каптурак, с шапкой в руке, стоял вплотную у двери. Его желто-серое лицо улыбалось. Одет он был в серое. И туфли на нем были из серой парусины. На них налипла серая, свежая и блестящая весенняя грязь этого края. На его миниатюрном черепе вилось несколько серых волосков.

— Добрый вечер! — с легким поклоном произнес он.

Его тень взметнулась на белой двери и тотчас же съежилась.

— Где мой вестовой? — спросил Тротта. — И что вам угодно?

— На этот раз вы не поехали в Вену! — начал Каптурак.

— Я вообще не езжу в Вену! — заметил Тротта.

— На этой неделе вам не понадобились деньги! — продолжал Каптурак. — Я ждал сегодня вашего посещения. Я хотел узнать, в чем дело. Сейчас я прямо от господина капитана Иедличека. Его нет дома!

— Нет дома! — безразлично повторил Тротта.

— Да, — сказал Каптурак — Его нет дома, с ним что-то случилось!

Тротта отлично слышал, что «что-то случилось» с капитаном Иедличеком. Но ничего не спросил. Во-первых, он был не любопытен (сегодня был не любопытен). Во-вторых, ему казалось, что с ним самим произошло неимоверно много, слишком много, и что поэтому другие мало должны его интересовать, в-третьих, он не испытывал ни малейшей охоты выслушивать рассказы Каптурака. Присутствие Каптурака его бесило. Но у него не хватало сил предпринять что-нибудь против этого человека. Весьма смутное воспоминание о шести тысячах крон, которые он был должен незваному посетителю, все время всплывало в его

мозгу; неприятное воспоминание, он попытался отогнать его. «Деньги, — убеждал он себя, — не имеют никакого отношения к его приходу. Это два совершенно различных человека: того, которому я должен, здесь нет, а этот, стоящий в моей комнате, пришел только для того, чтобы рассказать мне какую-то безразличную историю о Иедличеке». Он уставился на Каптурака. Несколько мгновений лейтенанту казалось, что его гость расплывается в неясном сочетании серых пятен и снова восстанавливается. Тротта выждал, пока Каптурак полностью восстановился. Ему пришлось приложить некоторые усилия, чтобы быстро воспользоваться этим моментом, ибо налицо была опасность, что маленький серый человек снова расплывется и растворится в воздухе. Каптурак приблизился, словно поняв, что лейтенант неясно видит его, и несколько громче повторил:

— С капитаном что-то случилось!

— Что же с ним, наконец, случилось? — вяло, как во сне, спросил Карл Йозеф.

Каптурак еще ближе подошел к столу и прошептал, сложив руки трубой:

— Его арестовали по подозрению в шпионаже.

При этих словах лейтенант поднялся. Он стоял

теперь, опираясь обеими руками о стол. Ног своих он почти не чувствовал. Ему казалось, что он держится только на руках. Они почти впивались в доски стола.

— От вас я не хочу ничего слышать об этом, — проговорил Карл Йозеф. — Уходите!

— Невозможно, к сожалению, невозможно! — сказал Каптурак.

Теперь он стоял вплотную у стола и совсем близко от Тротта, опустив голову, словно собираясь сделать постыдное признание:

— Я вынужден настаивать на частичном погашении долга!

— Завтра! — сказал Тротта.

— Завтра, — повторил Каптурак. — Завтра это может оказаться невозможным! Вы же видите, какие каждый день случаются неожиданности. Я на этом капитане потерял состояние. Кто знает, увидим ли мы его когда-нибудь. Вы его друг!

— Что вы сказали? — переспросил Тротта. Он отнял руки от стола и вдруг почувствовал, что уверенно стоит на ногах. Он внезапно понял, что Каптурак произнес ужасное слово, хотя это и было правдой. Да и ужасным оно казалось только потому, что было правдой. Одновременно лейтенант вспомнил о том единственном часе

своей жизни, когда он был опасен для других людей. Ему хотелось теперь быть так же, как тогда, вооруженным саблей и револьвером и чтобы за ним стоял его взвод. Маленький человек сегодня был куда опаснее, чем сотни людей тогда.

Тротта попытался наполнить свое сердце чуждой ему злобой. Он сжал кулаки, никогда еще он этого не делал, и все же чувствовал, что он не грозен, а разве что играет грозного. На его лбу вздулась голубая жила, лицо покрылось краской, кровью налились глаза, и взгляд сделался неподвижным. Ему удалось принять весьма устрашающий вид. Каптурак отскочил.

— Что вы сказали? — снова произнес лейтенант.

— Ничего! — пробормотал Каптурак.

— Повторите, что вы сказали! — приказал Тротта.

— Ничего! — отвечал Каптурак.

На минуту он опять расплылся в неясные серые пятна. И лейтенанта Тротта охватил ужасный страх, уж не обладает ли маленький человечек сверхъестественной способностью распадаться на куски и снова складываться в целое. Необоримое желание уяснить себе субстанцию Каптурака, подобное неукротимой страсти исследователя,

преисполнило лейтенанта Тротта. В изголовье кровати, за его спиной, висела сабля, оружие — символ его военной и личной чести, а в этот момент — еще и магическое орудие, способное вскрыть законы страшных призраков. За спиной он чувствовал блестящий клинок сабли и какую — то магнетическую силу, от него исходящую. И, словно влекомый ею, он отступил назад, не спуская взгляда с вновь воссоединившегося Каптурака, и правой рукой молниеносно выхватил клинок; Каптурак отпрыгнул к двери, выронил шапку, которая осталась лежать около его серых парусиновых туфель, а Тротта продолжал наступать на него, размахивая саблей. Не сознавая того, что он делает, лейтенант приставил острие сабли к груди серого призрака, почувствовал передавшееся по всей длине стального клинка сопротивление одежды и тела, облегченно вздохнул, ибо выяснил наконец, что Каптурак — человек, и все же не смог опустить сабли. Это продолжалось только мгновение, но в это мгновение лейтенант Тротта слышал, видел и чувствовал все, что жило в мире, — голоса ночи, звезды на небесах, свет лампы, предметы, стоящие в комнате, свое собственное тело, словно оно не принадлежало ему, а стояло перед ним,

кружение комаров вокруг огня, влажный пар болот и свежее дыхание ночного ветерка. Внезапно Каптурак раздвинул руки. Его худые маленькие пальцы вцепились в правую и левую щеколду двери. Лысая голова с несколькими вьющимися седыми волосками склонилась на плечо. Потом он выставил одну ногу, так что его смешные серые туфли превратились в один сплошной комок. И за ним, на белой двери, перед остолбеневшим лейтенантом взметнулась черная, колеблющаяся тень креста.

Рука Тротта задрожала и выпустила клинок. С легким звоном он упал наземь. В тот же момент Каптурак опустил руки. Его голова соскользнула с плеча и поникла на грудь. Глаза его были закрыты. Все тело дрожало. Кругом царила тишина. Слышно было, как бьются комары о лампу, а в окно проникает кваканье лягушек и стрекот кузнечиков, прерываемые собачьим лаем. Лейтенант Тротта покачнулся.

— Садитесь, — произнес он, указывая на единственный в комнате стул.

— Хорошо, — сказал Каптурак, — я сяду.

Он бодрым шагом направился к столу, таким бодрым, словно ничего не произошло, как показалось Тротта. Кончик его ноги коснулся лежавшей

на полу сабли. Он наклонился и поднял ее. Затем, словно его обязанностью было соблюдать порядок в этой комнате, держа обнаженную саблю между двумя пальцами вытянутой руки, подошел к столу, на котором лежали ножны, аккуратно вложил в них саблю и, по-прежнему не глядя на лейтенанта, повесил ее на место. Затем обошел стол и уселся напротив стоящего Тротта. Казалось, что он только теперь его заметил.

— Я задержусь на одну минутку, — произнес Каптурак, — чтобы отдышаться!

Лейтенант молчал.

— Прошу вас на следующей неделе в этот день и в этот же час уплатить мне весь долг. Я не хочу иметь с вами никакого дела. В целом он составляет семь тысяч двести пятьдесят крон. Кроме того, должен сообщить вам, что господин Бродницер стоит за дверью и все слышал. Господин граф Хойницкий, как вам известно, приедет в этом году позднее, а может быть, и вовсе не приедет. Мне пора идти, господин лейтенант.

Он встал, направился к двери, нагнулся, поднял свою шапку и еще раз оглядел комнату. Дверь захлопнулась.

Лейтенант теперь совершенно протрезвился. И все же ему казалось, что это был сон. Он отворил

дверь. Онуфрий, как всегда, сидел на своем стуле, хотя было, вероятно, уже очень поздно. Тротта посмотрел на часы. Они показывали половину десятого.

— Почему ты еще не спишь? — спросил он.

— Из-за гостей! — отвечал Онуфрий.

— Ты все слышал?

— Все, — подтвердил тот.

— Бродницер был здесь?

— Так точно!

Больше не оставалось сомнений в том, что все произошло именно так, как помнилось лейтенанту Тротта. Следовательно, завтра надо будет сообщить о происшедшем. Офицеры еще не возвращались. Он подошел к нескольким дверям, все комнаты пусты. Они сидели теперь за ужином и обсуждали случай с капитаном Иедличеком, ужасающий случай с капитаном Иедличеком. Его предадут военному суду, разжалуют и расстреляют. Тротта пристегнул саблю, взял шапку и пошел вниз. Товарищей надо дождаться внизу. Он начал ходить взад и вперед перед гостиницей. История с капитаном, как это ни странно, казалась ему теперь важнее только что пережитой сцены с Каптураком. Он думал, что видит коварные происки какой-то мрачной силы. Жутким казалось

ему совпадение, что как раз сегодня фрау Тауссиг должна была уехать к мужу. И постепенно он начал различать мрачную связь всех мрачных событий своей жизни и их зависимость от какого-то могучего, ненавистного и невидимого ткача людских судеб, единственной целью которого было изничтожить лейтенанта. Это было ясно, ясно как день, — лейтенант Тротта, внук героя битвы при Сольферино, отчасти подготовлял крушение других, отчасти сам был увлекаем теми, кто претерпевал крушение, и уж, во всяком случае, принадлежал к злополучным существам, на которых остановила свой злобный взгляд злая сила. Он ходил взад и вперед по тихой улице, его шаги гулко раздавались под освещенными и занавешенными окнами кафе, в котором играла музыка, карты шлепали о столы, и, вместо прежнего «соловья», какой-то новый исполнял те же старые песни и танцы. Сегодня, наверно, ни один из офицеров не сидел там. Но лейтенанту Тротта не хотелось заходить, чтобы убедиться в этом. Ибо позор капитана Иедличека ложился и на него, хотя служба в армии уже давно была ему ненавистна. Позор капитана ложился на весь батальон. Военное воспитание было достаточно сильно в Тротта, чтобы ему казалось почти неве-

роятным, что, после этого случая с Иедличеком, офицеры батальона еще отваживались выходить на улицы в мундире. О, этот Иедличек! Большой, сильный, он был «хорошим товарищем», и ему нужно было много денег! Он все принимал на свои широкие плечи. Цоглауэр любил его, да и солдаты тоже. Он всем казался сильнее болот и границы. И вот он — шпион! Музыка, гул голосов и звон чашек, доносившиеся из кафе, растворялись в ночном хоре неутомимых лягушек. Весна уже пришла. Но Хойницкий не приехал! Единственный, который мог бы помочь своими деньгами. Уже давно это были не шесть тысяч, а семь тысяч двести пятьдесят! Заплатить на следующей неделе, точно в этот же час! Если он не заплатит, конечно, удастся установить какую-нибудь связь между ним и капитаном Иедличеком. Тротта был его другом! Но в конце концов все были его друзьями. И все же с несчастным лейтенантом Тротта могло все случиться. Судьба! Его судьба! Еще четырнадцать дней назад в это самое время он был веселым и свободным юношей в штатском костюме. В этот час он встретился с художником Мозером и зашел с ним выпить стаканчик! А сегодня он завидовал профессору Мозеру!

За углом послышались знакомые шаги. Это возвращались товарищи. Все, жившие в гостинице Бродницера, входили молчаливой гурьбой. Он вышел им навстречу.

— А, ты не уехал! — воскликнул Винтер. — Значит, ты все уже знаешь! Ужасно! Мерзко!

Они пошли друг за другом, не обмениваясь ни единым словом, и каждый старался производить как можно меньше шума. Они почти что крались по лестнице.

— Всем в номер девятый! — скомандовал обер-лейтенант Груба. Он занимал девятый номер, просторнейшую комнату в гостинице.

— Нам нужно что-то предпринять! — начал обер-лейтенант. — Вы видели Цоглауэра! Он в отчаянии! Нужно что-то предпринять, или он застрелится!

— Чепуха, господин обер-лейтенант! — произнес лейтенант Липповитц. Он сделался кадровым офицером после двух семестров на юридическом факультете, и ему никогда не удавалось отделаться от своего «штатского» вида. К нему, как и к офицерам запаса, обращались с немного робким и слегка насмешливым уважением.

— Мы тут ничего поделать не можем! — сказал Липповитц. — Разве что молчать и служить даль-

ше! Это не первый случай в армии. К сожалению, вероятно, и не последний.

Никто не отвечал. Они отлично понимали, что ничем помочь невозможно. А ведь каждый из них надеялся, что, собравшись вместе, они придумают всевозможные выходы из создавшегося положения. Но теперь они сразу поняли, что только страх согнал их вместе, ибо каждый из них боялся остаться в четырех стенах, наедине со своим страхом. И также поняли, что не поможет им и это сидение вместе, и что каждый, даже среди других, все равно остается наедине со своим страхом. Они подняли головы, взглянули друг на друга и снова поникли. Однажды они уже сидели так все вместе, после самоубийства Вагнера. Каждый из них думал сейчас о предшественнике капитана Иедличека, Вагнере, и каждый предпочитал, чтоб и Иедличек застрелился.

— Я пойду туда, я уж как-нибудь проникну, — сказал лейтенант Габерман, — и пристрелю его.

— Во-первых, ты туда не проникнешь! — возразил Липповитц. — Во-вторых, там уже позаботились о том, чтобы он прикончил себя. Как только у него все узнают, ему дадут пистолет и запрут его с ним!

— Да, да, верно! — воскликнули некоторые. Они

облегченно вздохнули, надеясь, что капитана в этот час уже не существует. Им стало казаться, что они сейчас своим умом дошли до этого разумного обычая, принятого в военном судопроизводстве.

— Я сегодня был на волос от того, чтобы убить человека, — сказал лейтенант Тротта.

— Кого? Почему? Как так? — вскричали все, перебивая друг друга.

— Речь идет о Каптураке, который всем вам знаком, — начал Тротта. Он рассказывал медленно, подыскивая слова, менялся в лице и, когда подошел к концу, не сумел объяснить, почему же он все-таки не бросился на Каптурака. Карл Йозеф чувствовал, что они его не поймут. Они действительно его больше не понимали.

— Я бы убил его! — воскликнул один.

— Я тоже, — отозвался второй.

— И я! — вставил третий.

— Это не так-то легко! — перебил их опять Липповитц.

— Этот жид — кровопийца, — сказал кто-то, и все обомлели, вспомнив, что отец Липповитца был еще некрещеным евреем.

— Я вдруг… — начал Тротта и сам удивился тому, что в этот момент подумал о покойном Максе Деманте и его деде, сребробородом короле

еврейских шинкарей, — мне вдруг привиделся крест за его спиной!

Кто-то засмеялся. Другой холодно заметил:

— Ты был пьян!

— Хватит! — приказал наконец Груба. — Все будет завтра доложено Цоглауэру.

Тротта оглядел их усталые, утомленные, взволнованные и, несмотря на усталость и взволнованность, распаленные гневом, бодрые лица. Если бы Демант был жив, подумал Тротта. Если бы можно было поговорить с ним, внуком сребробородого короля шинкарей! Он незаметно оставил комнату и пошел к себе.

На следующее утро он рапортовал о происшедшем. Он изложил все это на военном языке, на котором с детства привык рапортовать и докладывать, на языке, бывшем его родным языком. Он не забыл упомянуть и о кресте, который ему привиделся. Майор улыбнулся, совершенно так, как того ожидал Тротта, и спросил:

— Сколько вы выпили?

— Полбутылки! — отвечал лейтенант.

— Ага, так! — заметил Цоглауэр.

Он только на секунду улыбнулся, измученный майор Цоглауэр. Это была серьезная история! Серьезные истории, к сожалению, множились.

Неприятная штука, во всяком случае, для доклада высшим инстанциям. Лучше было обождать.

— Есть у вас деньги? — осведомился майор.

— Нет, — отвечал лейтенант.

И они беспомощно посмотрели друг на друга пустыми, остекленевшими глазами, глазами людей, не смеющих даже друг другу признаться в своей беспомощности. Не все можно было найти в военном уставе — сколько в нем ни листай — не все стояло там! Был ли прав лейтенант? Не слишком ли рано он схватился за саблю? Был ли прав человек, давший взаймы целое состояние и требовавший его обратно? Если б даже майор созвал на совещание всех своих господ офицеров, кто бы мог дать ему совет? Кто имел право быть умнее командира батальона? И что это вечно случается с этим злосчастным лейтенантом? Немало усилий пришлось положить на то, чтобы замять историю с забастовщиками! Несчастья, несчастья скапливались над головой майора Цоглауэра, несчастья скапливались над Тротта, над всем батальоном! Майор начал бы ломать руки, будь это дозволено при исполнении служебных обязанностей. Если б даже все офицеры батальона захотели выручить лейтенанта Тротта, такую сумму им невозможно набрать! А если она

не будет уплачена сполна, история еще больше запутается.

— На что же вам столько понадобилось? — спросил Цоглауэр и моментально вспомнил, что все знает. Он махнул рукой. Он не хотел никаких сообщений.

— Напишите обо всем вашему родителю, — сказал Цоглауэр. Ему показалось, что он высказал блестящую идею. И рапорт закончился.

Лейтенант Тротта побрел домой, сел за стол и начал писать «своему родителю». Без помощи алкоголя это ему не удавалось. Он спустился в кафе и велел подать себе «девяностоградусную», чернила, перо и бумагу. Он начал. Какое трудное письмо! Лейтенант Тротта несколько раз принимался писать, рвал листок, начинал снова. Ничего нет труднее для лейтенанта, чем описывать события, которые касаются его самого и даже угрожают ему. При этой оказии выяснилось, что лейтенант Тротта, которому его военная служба уже давно была ненавистна, все же обладал достаточным солдатским честолюбием, чтобы не допустить своего удаления из армии. И покуда он старался изобразить отцу запутанное положение вещей, он нечаянно опять превратился в кадетика Тротта.

Глава восемнадцатая

В прохладное и солнечное утро окружной начальник получил злосчастное письмо лейтенанта. Прежде чем открыть его, господин фон Тротта взвесил конверт на руке. Оно казалось тяжелее всех писем, которые он до сего дня получал от сына. Должно быть, это письмо в два листа, письмо необычной длины. Состарившееся сердце господина фон Тротта одновременно наполнилось горестью, отеческим гневом, радостью и боязливым предчувствием. Крахмальная манжета слегка дрожала на его старческой руке, когда он вскрывал конверт. Пенсне, которое за последние месяцы стало как-то трястись, он придержал левой рукой, а правой поднес письмо к лицу так близко, что кончики его бакенбардов с тихим шуршанием коснулись бумаги. Явная торопливость почерка испугала окружного начальника не меньше, чем необычное содержание письма. Между строк он искал еще какого-то тайного, нового ужаса, словно явного было недостаточно и словно он уже давно, с тех самых пор, как сын перестал писать, изо дня в день дожидался еще более страшного известия. Поэтому, верно, он

оставался спокойным, когда отложил письмо в сторону. Он был старым человеком старого времени. Старые люди из времен, предшествовавших великой войне, были, может быть, глупее нынешних. Но в минуты, которые казались им страшными и которые, по понятиям наших дней, могли быть разрешены легкой шуткой, они, эти славные старые люди, сохраняли героическое спокойствие. В наши дни понятия сословной, фамильной и личной чести, на которых воспитался господин фон Тротта, кажутся пережитками маловероятных и ребяческих легенд. Но тогда известие о смерти единственного сына меньше потрясло бы любого австрийского окружного начальника, воспитанного в тех же традициях, что и господин фон Тротта, чем весть о хотя бы кажущемся бесчестии сына. По представлениям той эпохи, давно отзвучавшей и погребенной под свежими могильными холмами павших воинов, офицер императорско-королевской армии, который не убил человека, посягнувшего на его честь, только потому, что был ему должен, составлял несчастье, более того — позор для породившего его, для армии и империи. И в первый момент боль шевельнулась не в отеческом, а, если можно так выразиться, в служебном сердце господина

фон Тротта. И это сердце сказало: «Сложи с себя свой чин! Выйди раньше времени на пенсию! На службе императора тебе больше нечего делать». Но уже в следующую минуту вскричало отеческое сердце: «Виновато время! Виноват пограничный гарнизон! Ты сам виноват! Твой сын скромен и благороден! Только слаб, к сожалению! И ему нужно помочь!»

Нужно ему помочь! Нужно уберечь имя Тротта от позора и бесчестия! В этом пункте оба сердца господина фон Тротта, отеческое и служебное, были заодно. Значит, прежде всего необходимо раздобыть деньги, семь тысяч двести пятьдесят крон! Пяти тысяч форинтов, некогда дарованных милостью императора сыну героя Сольферино, так же как и унаследованных от отца денег, давно не было в помине. Они растаяли под руками окружного начальника, ушли на ведение дома, на кадетский корпус в моравской Белой Церкви, на художника Мозера, на лошадь, на благотворительность. Господин фон Тротта всегда любил казаться богаче, чем был на самом деле. У него были инстинкты большого барина, а в те времена (возможно, что еще и сейчас) не было более дорогостоящих инстинктов. Люди, над которыми тяготеет это проклятие, не знают ни сколько у

них есть, ни сколько они расходуют. Они черпают из невидимого источника. Не считая. И пребывают в убеждении, что их достояние не может не превышать их великодушия.

Впервые за всю его, теперь уже долгую, жизнь перед господином фон Тротта встала неразрешимая задача, не сходя с места, раздобыть сравнительно крупную сумму. У него не было друзей, если не считать тех товарищей по школе, которые, подобно ему, сидели в различных учреждениях и с которыми он долгие годы не встречался. Большинство их было бедно. Правда, он был знаком с богатейшим человеком в округе, господином фон Винтернигом. И он стал медленно приучать себя к наводящей ужас мысли — завтра, послезавтра или даже сегодня отправиться к господину фон Винтернигу, просить у него взаймы. Он не обладал особо сильной фантазией, наш старый господин фон Тротта. Но все же ему удалось с мучительной ясностью представить себе каждый шаг страшного пути просителя. И впервые за всю свою, теперь уже столь долгую, жизнь окружной начальник осознал, сколь трудно, находясь в безвыходном положении, сохранить достоинство. Как молния ударила окружного начальника эта мысль, в мгновение

ока сломила гордость, которую господин фон Тротта так долго обретал и пестовал, гордость, которую он унаследовал и твердо был уверен, что передал в наследство. Он сразу стал смиренен, как проситель, годами обивающий пороги благодетелей. Гордость была надежной подругой его молодости, потом опорой старости, теперь ее отняли у бедняги, у старого окружного начальника. Он решил тотчас же написать письмо господину фон Винтернигу. Но не успел взять перо в руки, как понял, что не в состоянии даже оповестить о своем визите, который, собственно, являлся приходом просителя. Старому Тротта показалось, что он пускается в своего рода обман, не сообщая, хотя бы намеком, об истинной цели своего посещения. Но нелегко было подыскать подходящий оборот речи. И так он долго сидел с пером в руке, размышлял, правил и снова зачеркивал начатую фразу. Можно было, конечно, снестись с господином фон Винтернигом и по телефону. Но с тех пор как в окружной управе поставили телефон — не более двух лет назад, — он пользовался им только для служебных переговоров. Невозможно себе представить, что он подойдет к большому коричневому неуютному ящику, повернет ручку и с этим ужасным: алло! алло! — которое почти

оскорбляло господина фон Тротта (потому что казалось ему ребяческим выкриком, резвостью, неподобающей серьезным людям, готовящимся приступить к обсуждению серьезных вещей), начнет разговор с господином фон Винтернигом. Между тем ему пришло в голову, что сын дожидается ответа, может быть, телеграммы. А что мог ему протелеграфировать окружной начальник? Сделаю все возможное. Подробности сообщу. Или: Терпеливо жди дальнейших сообщений? Или: Испробуй другие средства, здесь невозможно что-либо сделать? — «Невозможно!» Это слово отдалось в нем долгим страшным эхом! Что было невозможно? Спасти честь семейства Тротта? Это-то должно быть возможно. Окружной начальник шагал взад и вперед по своей канцелярии, взад и вперед, как в те воскресные утра, когда экзаменовал маленького Карла Йозефа. Одну руку он заложил за спину, на другой слегка постукивала крахмальная манжета. Затем он спустился во двор, подгоняемый нелепой мыслью, что покойный Жак может сидеть там в тени балкона. Пуст был двор. Окно маленького домика, в котором некогда обитал Жак, стояло открытым, канарейка была еще жива. Из окна доносилось ее пение. Окружной начальник вернулся в дом, взял

шляпу, трость и вышел. Он решил предпринять нечто из ряда вон выходящее, а именно посетить на дому доктора Сковроннека. Он пересек рыночную площадь, свернул на Ленауштрассе, вглядываясь во все двери в поисках дощечки с именем доктора, так как не знал номера дома, и наконец вынужден был спросить какого-то торговца об адресе Сковроннека, хотя ему и казалось нескромным затруднять постороннего человека расспросами. Но окружной начальник и это перенес с мужественным достоинством и вошел наконец в указанный ему дом. Доктора Сковроннека он нашел сидящим в маленьком садике позади дома с книгой в руках, под огромным зонтиком.

— Господи боже мой! — вскричал Сковроннек. Он отлично понимал, что случилось нечто необыкновенное, раз окружной начальник пришел к нему на дом.

Господин фон Тротта предпослал своей речи целый ряд обстоятельных извинений. Он рассказывал, сидя на скамейке в маленьком садике, опустив голову и концом трости ковыряя в пестром гравии дорожки. Затем он дал Сковроннеку письмо своего сына. Умолк, подавил вздох и тяжело задышал.

— Мои сбережения, — сказал Сковроннек, — равняются двум тысячам крон, я отдаю их в ваше распоряжение, господин окружной начальник, если позволите. — Он проговорил эти слова очень быстро, как бы опасаясь, что окружной начальник перебьет его, в смущении схватил трость господина фон Тротта и сам начал ковырять ею гравий. Доктору казалось, что после этих слов уже нельзя сидеть с незанятыми руками.

Господин фон Тротта сказал:

— Благодарю вас, господин доктор, я возьму их. Я выдам вам вексель. И, если позволите, погашу его по частям.

— Об этом не стоит и говорить! — торопливо сказал Сковроннек.

— Хорошо! — согласился окружной начальник. Ему вдруг показалось немыслимым произносить множество бесполезных слов, к которым он из вежливости прибегал всю свою жизнь. Время вдруг стало теснить его. Те несколько дней, которые он еще имел в своем распоряжении, внезапно съежились и превратились в ничто.

— Остальное, — продолжал Сковроннек, — остальное можно раздобыть только у господина фон Винтернига. Вы знакомы с ним?

— Немного!

— Ничего другого не остается делать, господин окружной начальник! Но, по-моему, я достаточно знаю господина фон Винтернига. Я однажды пользовал его невестку. Он, мне кажется, то, что называется изверг. И возможно, господин окружной начальник, возможно, что вы получите отказ!

Сковроннек умолк. Окружной начальник снова взял трость из рук доктора. Все было тихо кругом. Слышалось только прикосновение трости о гравий.

— Отказ, — прошептал окружной начальник и громко сказал: — Я не боюсь отказа, но что тогда?

— Тогда, — сказал Сковроннек, — тогда остается лишь очень странный выход. Мне он только сейчас пришел в голову. Он и мне самому кажется фантастическим. Хотя в вашем случае, может быть, он не так уж невероятен. На вашем месте я отправился бы прямо к старику — к императору, я разумею. Ведь здесь дело идет не только о деньгах. Опасность заключается в том, — простите, что я говорю столь откровенно, — что ваш сын, ваш сын, — «вылетит» хотел сказать Сковроннек, но сказал: — принужден будет выйти из армии.

Выговорив это слово, Сковроннек тотчас же

сконфузился и добавил:

— Может быть, это ребяческая мысль. Покуда я ее высказывал, мне пришло в голову, что мы с вами похожи на двух мальчиков, рассуждающих о невозможном. Да, мы дожили до таких лет, навидались много горя, и все же я болтаю вздор! Простите меня. Простите меня.

Господину фон Тротта мысль доктора Сковроннека отнюдь не показалась ребячливой. Всегда, при составлении или подписывании любой бумаги, при всяком, самом пустячном указании, даваемом им комиссару или даже только жандармскому вахмистру Слама, ему казалось, что он стоит непосредственно под императорским скипетром. И в том, например, что император разговаривал с Карлом Йозефом, было нечто само собой разумеющееся. Герой Сольферино пролил кровь за императора, в известном смысле это сделал и Карл Йозеф, сражаясь с «бунтовщиками», «подозрительными субъектами». Согласно понятиям господина фон Тротта, вовсе не являлось злоупотреблением императорской милостью, если слуга его величества доверчиво шел к Францу Иосифу, как обиженный ребенок к своему отцу. Доктор Сковроннек испугался и даже усомнился в рассудке окружного начальника, когда старик

вскричал:

— Великолепная идея, господин доктор, ничего не может быть проще!

— Не так-то это просто! — заметил Сковроннек. — У вас мало времени. За два дня нельзя добиться личной аудиенции.

Окружной начальник должен был с ним согласиться. И они порешили, что господину фон Тротта надо сначала обратиться к Винтернигу.

— Даже в случае отказа! — сказал окружной начальник.

— Даже в случае отказа! — повторил доктор Сковроннек.

Господин фон Тротта тотчас же собрался к господину фон Винтернигу. Он поехал в фиакре. Было как раз время обеда. Он еще ничего не ел. Поэтому он остановился у кафе и выпил коньяку. Ему пришло в голову, что его предприятие весьма несвоевременно. Он помешает обеду старого Винтернига. Но у него не было времени. Сегодня к вечеру все должно разрешиться. Послезавтра он будет у императора. И он останавливается еще раз. Выходит из фиакра у почты и твердым почерком пишет телеграмму Карлу Йозефу: «Будет улажено. Привет. Твой отец». Он совершенно уверен, что все пойдет хорошо. Ведь если невоз-

можно собрать деньги, то еще более невозможно запятнать честь Тротта. Да, окружной начальник внушает себе, что дух его отца, героя Сольферино, хранит и сопровождает его. И коньяк согревает старое сердце. Оно бьется немножко сильнее. Но господин фон Тротта совершенно спокоен. Он расплачивается с возницей у подъезда виллы Винтернига и благодушно машет ему одним пальцем — обычная манера, с которой он приветствует маленьких людей. Так же благодушно улыбается он лакею и со шляпой и тростью в руке дожидается хозяина.

Господин фон Винтерниг, маленький и желтый, наконец появился. Он протянул окружному начальнику свою высохшую ручку, упал в кресло и почти исчез в зеленых подушках. Свои бесцветные глаза он уставил на большое окно. Эти глаза не имели взора, или, вернее, они прятали в себе взор; это были матовые, старые зеркальца; окружной начальник видел в них только свое собственное уменьшенное отражение. Он начал, свободнее, чем ожидал от себя; с благопристойными извинениями пояснил он, что не мог предупредить о своем визите. Потом сказал:

— Господин фон Винтерниг, я старый человек.

Он вовсе не собирался произносить эту фразу.

Желтые морщинистые веки Винтернига моргнули несколько раз, и окружному начальнику показалось, что он обращается к старой высохшей птице, которая не понимает человеческого языка.

— Очень сожалею! — все же сказал господин фон Винтерниг. Говорил он очень тихо. Его голос не имел звука, так же как его глаза не имели взора. Он говорил с придыханием и обнажал при этом неожиданно сильную челюсть и большие желтые зубы, могучую решетку, охранявшую его слова.

— Очень сожалею! — повторил господин фон Винтерниг. — У меня нет наличных денег.

Окружной начальник тотчас же поднялся. Винтерниг тоже вскочил. Он стоял, маленький и желтый, перед окружным начальником, безбородый перед серебряными бакенбардами. И казалось, будто господин фон Тротта увеличился в росте; он даже сам это чувствовал. Была ли его гордость сломлена? Нисколько. Был ли он унижен? Нет, не был! Он должен был спасти честь героя Сольферино, как некогда герой Сольферино спас жизнь императора. Как легко, собственно, быть просителем! Презрением, — впервые в жизни! — настоящим презрением исполнилось

сердце господина фон Тротта. И его презрение было почти так же велико, как его гордость. Он простился, сказав своим прежним, высокомерно-гнусавым голосом чиновника:

— Разрешите откланяться, господин фон Винтерниг.

Он пошел пешком, медленно, держась прямо, во всем величии своих серебряных седин, по длинной аллее, ведущей от дома Винтернига к городу. Аллея была пуста, воробьи прыгали вдоль дороги, свистели щеглы, и старые зеленые каштаны окаймляли путь господина фон Тротта.

Дома он впервые после долгого времени опять схватился за серебряный колокольчик. Тоненький голосок проворно побежал по всему дому.

— Почтеннейшая, — обратился господин фон Тротта к фрейлейн Гиршвитц, — хотелось бы, чтобы мой чемодан был упакован не позже, чем через полчаса. Уложите мой мундир, треуголку, шпагу, фрак и белый галстук, пожалуйста! В полчаса! — Он вынул часы, крышка хлопнула. Господин фон Тротта сел в кресло и закрыл глаза.

В шкафу на пяти крючках висела его парадная форма: фрак, жилет, панталоны, треуголка и сабля. Большой чемодан окружного начальника

раскрыл свою пасть, обитую хрустящей шелковой бумагой, и вещь за вещью поглотил парадное одеяние. Шпага покорно вошла в свой кожаный футляр. Белый галстук окутался прозрачным бумажным вуалем. Белые перчатки улеглись среди подкладки жилета. Затем чемодан закрылся. И фрейлейн Гиршвитц пошла доложить господину фон Тротта, что все готово.

Итак, окружной начальник отправился в Вену.

Приехал он поздно вечером. Но он хорошо знал, где следует искать людей, ему нужных. Он знал дома, в которых они жили, и рестораци, которые ими посещались. И советник правления Смекаль, и надворный советник Поллак, и советник министерства финансов Поллицер, и муниципальный советник Буш, и советник наместничества Лешниг, и советник департамента полиции Фукс. Все они и многие другие еще в этот вечер увидали господина фон Тротта, и хотя он был одних лет с ними, при входе окружного начальника каждый подумал о том, как сильно он состарился. Ибо он выглядел старше их всех. Весьма почтенным показался он им, и они почти что робели говорить ему «ты».

В этот вечер его видели еще в целом ряде мест, везде почти одновременно, и всем он казался

духом, духом былых времен и габсбургской империи; тень истории следовала за ним по пятам, да он и сам казался ее серебряной тенью. И как ни удивительно звучало то, что он сообщал им о своем намерении в течение двух дней добиться личной аудиенции у императора, но еще более удивительным казался он сам, господин фон Тротта, преждевременно состарившийся и как бы всегда старый; и мало-помалу они начинали находить его предприятие справедливым и само собой разумеющимся. В канцелярии обер-гофмейстера Монтенуово сидел баловень судьбы Густль, которому они все завидовали, хотя и знали, что со смертью старика его величию придет позорный конец. Они уже ждали этого. Пока что он женился, и к тому же на одной из княжон Фуг — гер, он, бюргер, всем им знакомый с третьей скамейки, которому они подсказывали во время экзамена и о «везенье» которого они вот уже тридцать лет не без горечи рассказывали анекдоты. Густль получил дворянство и сидел в канцелярии обер-гофмейстера. Он именовался уже не Гассельбруннером, но фон Гассельбруннером. Его служба была легкой, просто детская игра, тогда как им всем, другим, приходилось заниматься неприятными и в высшей степени

запутанными делами. Гассельбруннер! Он один мог здесь помочь.

И на следующее утро, в девять часов, окружной начальник уже стоял у дверей Гассельбруннера, в канцелярии обер-гофмейстера. Ему сообщили, что Гассельбруннер уехал и, возможно, вернется сегодня после полудня. Случайно мимо проходил Сметана, которого господину фон Тротта не удалось отыскать вчера. И Сметана, наскоро посвященный в дело и, как всегда, сообразительный, немедленно нашел выход. Если Гассельбруннер и уехал, то ведь под рукою имеется Ланг. А Ланг — славный малый. Так началось странствование неутомимого окружного начальника из одной канцелярии в другую. Он совершенно не знал тайных законов, действовавших в императорско-королевских учреждениях Вены. Теперь он ознакомился с ними. Согласно этим законам служащие были угрюмы, покуда он не вынимал своей визитной карточки. После этого они становились раболепными. Высшие чиновники, все без исключения, приветствовали его с сердечной почтительностью. Каждый из них в первые четверть часа, казалось, был готов рискнуть для него своей карьерой и даже жизнью. И только в последующие четверть часа их глаза опечалива-

лись, лица становились утомленными; великое горе наполняло их сердце и умеряло готовность. И каждый из них заявлял: «Да, если б речь шла о чем-нибудь другом! С радостью! Но так, милый, милый барон Тротта, даже для своего человека, ну, да вам-то не приходится объяснять...» Этими и подобными словами усовещевали они непоколебимого господина фон Тротта. Он подымался в третий этаж, затем в четвертый, снова спускался во второй, в первый. И наконец решил дожидаться Гассельбруннера. Он ждал почти до вечера и узнал, что Гассельбруннер на самом деле вовсе не уезжал, а попросту сидел дома. И неустрашимый борец за честь семейства Тротта проник в квартиру Гассельбруннера. Здесь наконец забрезжила слабая надежда. Они вместе поехали по разным местам, Гассельбруннер и старый господин фон Тротта. Необходимо было проникнуть к самому Монтенуово. В шестом часу вечера им наконец удалось словить одного из друзей обер-гофмейстера в той самой знаменитой кондитерской, где падкие на лакомства высокие чины государства обычно проводили вечера. Что его намерение невыполнимо, окружной начальник слышал сегодня уже в пятнадцатый раз. Но он оставался непоколебим. И серебряное достоинство его ста-

рости, и несколько странное, даже сумасбродное упорство, с которым он говорил о своем сыне и опасности, грозившей их роду, торжественность, с которой он именовал своего покойного отца не иначе, как героем Сольферино, а императора не иначе, как его величеством, так действовали на его собеседников, что намерение господина фон Тротта мало-помалу начинало казаться им само собой разумеющимся. Если не удастся получить аудиенцию, говорил этот окружной начальник из В., то он, старый слуга его величества, сын героя Сольферино, подобно простому рыночному торговцу, бросится на колени перед экипажем, в котором император каждое утро отправляется из Шенбрунна в Гофбург. Он, окружной начальник Франц фон Тротта, должен уладить это дело. И он так воодушевился своей задачей при помощи императора спасти честь Тротта, что ему начало казаться, будто только благодаря несчастью сына, как он про себя называл эту историю, его долгая жизнь обрела подлинный смысл.

Нелегко нарушить этикет. Ему тридцать раз внушали это. Он отвечал, что его отец, герой битвы при Сольферино, тоже нарушил его.

— Вот так, рукой, схватил он его величество за плечи и бросил его на землю! — говорил окруж-

ной начальник. Он, который всегда содрогался при виде резких или хотя бы излишних движений, теперь вставал, хватал за плечо того, кому он это описывал, тут же на месте пытаясь разыграть сцену исторического спасения. И никто не улыбался. И все искали возможности обойти этикет.

Он отправился в писчебумажный магазин, купил лист бумаги установленного образца, флакончик чернил и стальное перо марки Адлер, единственное, которое он употреблял. И быстрой рукой, хотя и обычным своим почерком, все еще строго придерживавшимся всех законов каллиграфии, написал по установленной форме прошение на имя его императорско-королевского величества, ни на минуту не сомневаясь, вернее, не позволяя себе сомневаться в том, что его дело будет «благополучно разрешено». Он был бы способен разбудить среди ночи самого Монтенуово. За этот день, по понятиям окружного начальника, дело Карла Йозефа стало делом героя Сольферино и тем самым делом императора, в известной мере даже делом отечества. После своего отъезда из В. он почти ничего не ел. Он выглядел еще худее, чем обычно, и напоминал своему другу Гассельбруннеру одну из экзотических птиц Шенбруннского зверинца, олицетворявших

своеобразную попытку природы воспроизвести физиономию Габсбургов в фауне. Да, окружной начальник всем людям, когда-либо видавшим императора, напоминал Франца Иосифа. Они совершенно не привыкли, эти венские господа, к той степени решительности, которую проявлял господин фон Тротта. И господин фон Тротта казался им, привыкшим легчайшими, выдуманными в ресторанах столицы шутками разрешать и куда более затруднительные дела государства, выходцем не только из географически, но и исторически отдаленной провинции, призраком отечественной истории. Постоянная готовность к шутке, которой они склонны были приветствовать симптомы собственной гибели, затихала на несколько часов, а слово «Сольферино» пробуждало в них ужас и благоговение, как имя битвы, впервые возвестившей о распаде императорско-королевской монархии. Вид и речи этого странного окружного начальника кидали их в дрожь. Может быть, они уже чувствовали тогда дыхание смерти, которая несколькими месяцами позднее должна была настигнуть их всех, настигнуть из-за угла. И все они ощущали на своем затылке ледяное дыхание смерти.

Еще целых три дня оставалось у господина фон

Тротта. А ему удалось в течение одной-единственной ночи, в которую он не спал, не ел и не пил, проломить железный и золотой закон этикета. Так же как имя героя битвы при Сольферино нельзя было больше сыскать в исторических книгах и в хрестоматиях, разрешенных для чтения в народных и средних школах империи, так же отсутствует и имя сына героя битвы при Сольферино в протоколах Монтенуово. Кроме самого Монтенуово и недавно умершего камердинера Франца Иосифа, ни один человек на свете не знает больше, что окружной начальник, барон Франц фон Тротта, был однажды утром перед самым отъездом в Ишль принят императором.

Это было удивительное утро. Окружной начальник всю ночь напролет примерял парадную форму. Окно он оставил открытым. Стояла светлая летняя ночь. Время от времени он подходил к окну. Тогда до него доносились шорохи дремлющего города и крик петухов на отдаленных дворах.

Господин фон Тротта чуял дыхание лета, видел звезды в вырезе ночного неба, слышал равномерные шаги дежурного полицейского. Он ждал утра. В десятый раз подходил к зеркалу, оправлял крылья белого галстука над углами стоячего

воротника, снова протирал батистовым платком блестящие пуговицы фрака, чистил золотую рукоятку сабли, проводил щеткой по башмакам, расчесывал бакенбарды, приглаживал редкие волоски на своей лысине, которые упорно поднимались, и снова чистил фалды фрака. Он взял в руки треуголку, опять и опять подходил к зеркалу, твердя: «Ваше величество, я прошу о милости для своего сына». В зеркале он увидел, как движутся крылья его бакенбард, счел это неприличным и стал учиться произносить эту фразу так, чтобы бакенбарды оставались неподвижными, а слова все же слышались ясно. Он не чувствовал усталости. И опять подошел к окну, как выходят на берег. Он нетерпеливо дожидался утра, как дожидаются возвращения родного корабля. Он простоял у окна, покуда серый отсвет утра не появился на небе, утренняя звезда не угасла и смешанные голоса птиц не возвестили зарю. Тогда он потушил свет в комнате. Нажал кнопку звонка. Велел позвать парикмахера, снял фрак. Уселся в кресло и приказал побрить себя!

— Второй раз, — сказал он заспанному молодому человеку, — почище. — Теперь его подбородок отливал голубизной между двумя серебряными крылами бакенбардов. Квасцы жгли ему лицо,

пудра приятно холодила шею. Ему было назначено явиться в восемь тридцать. Он еще раз почистил свой черно-зеленый фрак. Снова повторил перед зеркалом: «Ваше величество, я прошу милости для своего сына!» Затем запер комнату, спустился по лестнице вниз. Весь дом еще спал. Господин фон Тротта натянул белые перчатки, расправил пальцы, разгладил лайку, задержался еще на минуту перед зеркалом, между первым и вторым этажом, пытаясь увидать себя в профиль. Затем осторожно, только кончиками пальцев касаясь ступенек, спустился по устланной красным ковром лестнице, распространяя вокруг себя серебряное достоинство, аромат пудры, одеколона и острый запах сапожного крема. Портье низко поклонился ему. Запряженная парой карета остановилась перед вертящейся дверью. Окружной начальник носовым платком смахнул невидимую пыль с сиденья.

— В Шенбрунн, — сказал он. И все время поездки просидел неподвижно. Копыта лошадей весело цокали по свежеполитой мостовой, а торопливые мальчишки в белых шапках, разносившие хлеб, останавливались и смотрели вслед экипажу, как смотрят на парад. Как главный участник блестящего парада, катил господин фон

Тротта к императору.

Он велел кучеру остановиться на расстоянии, показавшемся ему благопристойным. Держа руки в ослепительных перчатках по бокам черно-зеленого фрака, он шел по прямой аллее к Шенбруннскому дворцу, осторожно ступая, чтобы не запылить свои блестящие башмаки. Над его головой ликовали утренние птицы. Аромат сирени и жасмина одурманивал его. Иногда с белых свечей каштанов на его плечо падал одинокий лепесток. Он сбрасывал его двумя пальцами. Медленно поднимался господин фон Тротта по сияющим плоским ступеням, уже выбеленным утренним солнцем. Часовые отдали честь. Господин фон Тротта вступил во дворец.

Он ждал. Согласно заведенному обычаю его подверг осмотру чиновник гофмейстерства. Фрак, перчатки, брюки, башмаки окружного начальника были безупречны. Невозможно было обнаружить какие-либо упущения в туалете господина фон Тротта. Он ждал. Ждал в большой комнате перед рабочим кабинетом его величества, через шесть больших окон которой, еще занавешенных, но открытых, проникало все изобилие весны, все сладостные запахи сада и все неистовые голоса шенбруннских птиц.

Окружной начальник, казалось, ничего не слышал. Он, видимо, не обращал внимания и на господина, щекотливой обязанностью которого было осматривать гостей императора и внушать им правила поведения. Перед серебряным неприступным достоинством окружного начальника тот умолк и пренебрег своей обязанностью. По обе стороны высокой белой, обрамленной золотом двери, как истуканы, стояли два огромных стража. Коричнево-желтый паркет, только на середине закрытый красным ковром, неясно отражал нижнюю часть туловища господина фон Тротта, черные брюки, золоченый конец ножен и колеблющиеся тени фрачных фалд. Господин фон Тротта поднялся и осторожными неслышными шагами прошел по ковру. Сердце его колотилось, но душа была спокойна. В этот час, за пять минут до встречи со своим императором, господину фон Тротта казалось, что он в течение многих лет бывал здесь, словно он привык каждое утро докладывать его величеству императору Францу Иосифу I о событиях истекшего дня в моравском округе В. Как дома чувствовал себя окружной начальник во дворце своего императора. Его беспокоила разве только мысль, что следовало бы еще раз провести рукой по бакенбардам, но

что у него уже нет повода снять белые перчатки. Ни один министр императора, ни даже сам обергофмейстер не мог бы чувствовать себя здесь свободнее, чем господин фон Тротта. Время от времени ветер раздувал золотисто-желтые занавеси на высоких окнах и в поле зрения окружного начальника попадал кусочек весенней зелени. Все громче заливались птицы. Несколько тяжеловесных мух начали жужжать, преждевременно уверовав, что наступил полдень. Мало-помалу стала чувствоваться жара. Окружной начальник все стоял посреди комнаты, с треуголкой у левого бедра, его левая ослепительно белая рука лежала на рукоятке шпаги, неподвижное лицо было повернуто к двери той комнаты, в которой находился император. Так он стоял минуты две. В открытые окна донеслись удары далеких башенных часов. Тогда створки двери распахнулись, и с поднятой головой, осторожными, бесшумными, но твердыми шагами окружной начальник переступил порог. Он низко поклонился и на секунду замер со взглядом, устремленным на паркет, без единой мысли в голове. Когда он выпрямился, дверь позади него уже закрылась. Перед ним, по другую сторону письменного стола, стоял император Франц Иосиф, и у окружного начальника

появилось такое чувство, словно там стоял его старший брат. Да, бакенбарды Франца Иосифа были чуть желтоватыми, особенно вокруг рта, в остальном же белые, как и бакенбарды господина фон Тротта. На императоре был генеральский мундир, на господине фон Тротта — мундир окружного начальника. И они походили на двух братьев, из которых один сделался императором, а другой — окружным начальником. Очень человечным, как, впрочем, и вся эта, не отмеченная в протоколах, аудиенция, был жест, который сделал в эту минуту Франц Иосиф. Опасаясь, что на его носу повиснет капля, он вынул платок из кармана и вытер им усы. Потом бросил взгляд на раскрытую перед ним папку. Ага, Тротта! — подумал он. Вчера еще он дал объяснить себе необходимость этой внезапной аудиенции, но не дослушал объяснения. Уже несколько месяцев эти Тротта не переставали обременять его. Он вспомнил, что беседовал на маневрах с младшим отпрыском этой фамилии, лейтенантом, на редкость бледным лейтенантом. Этот, здесь, вероятно, его отец! И император уже опять забыл, дед или отец этого лейтенанта спас ему жизнь в битве при Сольферино? Он оперся руками о стол.

— Итак, мой милый Тротта, — начал импера-

тор. Ибо изумлять своих посетителей знанием их имен входило в его царственные обязанности.

— Ваше величество, — произнес окружной начальник и еще раз низко поклонился, — я прошу о милости для своего сына!

— Что же с вашим сыном? — спросил император, желая выиграть время и не выдать своей неосведомленности в фамильной истории Тротта.

— Мой сын, лейтенант егерского батальона в Б., — сказал господин фон Тротта.

— Ах так, так! — произнес император. — Это тот самый молодой человек, с которым я встретился на последних маневрах. Бравый лейтенант! — И так как его мысли слегка путались, добавил: — Он почти что спас мне жизнь. Или это были вы?

— Ваше величество, это был мой отец, герой битвы при Сольферино! — заметил окружной начальник, еще раз склоняясь перед императором.

— Сколько ему теперь лет? — спросил император. — Битва при Сольферино. Это ведь тот, с хрестоматией!

— Так точно, ваше величество! — отвечал окружной начальник.

Император вдруг ясно вспомнил аудиенцию, данную им чудаковатому капитану. И как тогда,

когда этот комичный капитан был у него, Франц Иосиф I вышел из — за стола, сделал несколько шагов по направлению к своему гостю и сказал:

— Подойдите поближе!

Окружной начальник приблизился. Император вытянул свою худую дрожащую руку. Старческую руку с голубыми жилками и узловатыми суставами. Окружной начальник коснулся руки императора и склонился. Он хотел поцеловать ее. Он не знал, смеет ли он задержать ее или же ему следует так вложить свою руку в руку императора, чтобы тот мог каждую секунду отвести свою.

— Ваше величество! — в третий раз повторил окружной начальник. — Я прошу о милости для своего сына.

Они походили на двух братьев. Если бы чужой человек увидал их в это мгновение, он мог бы принять их за братьев. Их белые бакенбарды, узкие, покатые плечи, их одинаковый рост и худоба заставляли обоих думать, что они стоят перед своим отражением в зеркале.

— Хорошая погода сегодня! — вдруг произнес Франц Иосиф.

— Прекрасная погода! — отозвался господин фон Тротта.

Император указал левой рукой на окно, и

окружной начальник одновременно вытянул правую руку по тому же направлению. И опять императору померещилось, что он стоит перед собственным отражением в зеркале. Внезапно императору пришло в голову, что до отъезда в Ишль ему надо закончить еще целый ряд дел. И он сказал:

— Хорошо! Все будет улажено! Что он там натворил? Долги? Все устроится! Кланяйтесь вашему батюшке!

— Мой отец умер, ваше величество! — сказал окружной начальник.

— Ах, умер! — сказал император. — Жаль, очень жаль! — И он предался воспоминаниям о битве при Сольферино. Потом возвратился к своему столу, сел, нажал кнопку звонка и уже больше не видел, как выходил окружной начальник, с опущенной головой, положив левую руку на рукоятку шпаги, а правой прижимая к себе треуголку.

Утренние голоса птиц заполнили всю комнату. При всем уважении, которое император испытывал к птицам, как к предпочтенным Господом существам, он в глубине души все же питал к ним известное недоверие, похожее на его недоверие к художникам и артистам. Он знал по

опыту, что в последние годы щебечущие птицы частенько служили для него поводом забывать кое-какие мелочи. Поэтому он быстро записал: «Дело Тротта».

Затем он стал ждать ежедневного визита обергофмей — стера. Уже пробило девять. Гофмейстер явился.

Глава девятнадцатая

Роковое происшествие с лейтенантом Тротта было погребено в предупредительной тишине.

Майор Цоглауэр ограничился словами:

— Ваше дело улажено в высочайшей инстанции. Ваш батюшка прислал деньги. На этом покончим!

Тротта немедленно написал отцу. Он просил прощения за то преступно долгое время, когда он не писал и даже не отвечал на письма окружного начальника. Он был взволнован и тронут. Он старался передать в письме свою растроганность. Но в его скудном словаре не находилось выражений для раскаяния, печали и тоски. Это была нелегкая работа. Когда он уже подписался, ему пришла в голову фраза: «Я надеюсь вскоре получить отпуск и лично испросить у тебя прощения!» В качестве приписки этот удачный оборот не мог быть помещен по чисто формальным причинам. Итак, лейтенант принялся переписывать все письмо. Через час он кончил. Внешний вид письма, благодаря переписке, только выиграл. Ему казалось, что с этим письмом все кончено, вся отвратительная история погребена. Он сам

дивился своему «феноменальному везенью». На старого императора внук героя Сольферино мог положиться во всех превратностях судьбы. Не менее радостным был и выяснившийся теперь факт, что у отца имелись деньги. При случае, когда опасность быть удаленным из армии миновала, можно было оставить ее по собственному желанию, поселиться в Вене с фрау Тауссиг, может быть, поступить на гражданскую службу, ходить в штатском. Он уже давно не был в Вене. От фрау Тауссиг не поступало никаких вестей. А он тосковал по ней. Выпив «девяностоградусной», он тосковал еще сильнее, но это была уже та благотворная тоска, которая дает волю слезам. Слезы последние дни все время стояли в его глазах. Лейтенант Тротта еще раз с удовлетворением посмотрел на письмо, удачное творение своих рук, и размашисто начертал адрес. В награду себе он заказал двойную порцию «девяностоградусной». Господин Бродницер собственной персоной принес водку и сказал:

— Каптурак уехал!

Что за счастливый день! Маленький человек, который всегда напоминал бы лейтенанту о худших часах его жизни, был убран с дороги.

— Почему?

— Его попросту выслали!

Да, так далеко, значит, простиралась рука Франца Иосифа, старика с каплей на царственном носу, однажды разговаривавшего с лейтенантом Тротта. Так далеко, значит, простиралось и почитание памяти героя Сольферино.

Через неделю после императорской аудиенции, данной окружному начальнику, Каптурака выслали. Политическое управление, получив соответствующий намек свыше, закрыло игорный зал Бродницера. О капитане Иедличеке никто больше не упоминал. Когда кому-нибудь из офицеров вспоминалось его имя, они тотчас же отгоняли воспоминание. Большинству это удавалось благодаря их природной предрасположенности обо всем забывать. Появился новый капитан, некий Лоренц уютный, приземистый, добродушный человек, с неодолимой склонностью к небрежности и на службе, и в манере держаться, в любую минуту готовый снять мундир, хотя это и запрещалось, и сыграть партию в бильярд. При этом он выставлял напоказ коротковатые, иногда заплатанные и пропотевшие рукава рубашки. Он был отцом трех детей и супругом немолодой уже женщины. Он быстро освоился с батальоном. И к нему тотчас же привыкли. Его дети, похожие

друг на друга, как тройня, втроем приходили за ним в кафе. Всевозможные танцующие соловьи из Ольмютца, Герналя и Мариахильфа мало-помалу исчезли. Только два раза в неделю в кафе играла музыка. Но ей явно недоставало бойкости и темперамента, она стала классической из-за отсутствия танцовщиц и скорее оплакивала былые времена, чем веселила слушателей. Офицеры снова начали скучать, когда не пили. А когда пили, становились грустными и преисполнялись жалости к себе. Лето было очень знойное. Во время утренних учений два раза делали передышку. Оружие и люди потели. Трубы издавали глухие и негодующие на тяжелый воздух звуки. Легкий туман равномерно затягивал все небо — пелена из серебристого свинца. Он простирался над болотами и заглушал даже вечно бодрый шум лягушек. Трава не шевелилась. Весь мир ждал свежего ветерка. Но все ветры спали.

Хойницкий в этом году не возвратился. Все негодовали, словно он был разорвавшим контракт увеселителем, которого армия приглашала на летние гастроли. Ротмистра графа Тшоха из драгунского полка осенила гениальная мысль, долженствующая сообщить новый блеск жизни заброшенного гарнизона, — устроить большой

летний праздник. Гениальной эта мысль была еще и потому, что праздник мог послужить репетицией больших торжеств по случаю столетия полка.

«Сотый день рождения» драгунского полка должен был состояться только в следующем году, но казалось, что полк не мог набраться терпения провести и девяносто девятый год без всякого торжества! Все поголовно говорили, что эта идея гениальна! Полковник Фештетич утверждал то же самое и даже вообразил, что он первый, совершенно самостоятельно, возымел эту мысль. Ведь вот уже несколько недель, как он начал подготовления к столетнему юбилею. Ежедневно, в свободные часы, он диктовал в полковой канцелярии всеподданнейшее пригласительное письмо, которое спустя полгода должно было отойти к шефу полка, маленькому немецкому князьку, к сожалению, принадлежавшему к весьма захудалой побочной ветви. Однако редактирование этого письма занимало двух людей, полковника Фештетича и ротмистра Тшоха. Иногда между ними разгорались яростные споры по вопросам стилистики. Так, например, полковник считал оборот «И полк всеподданнейше позволяет себе» дозволенным, ротмистр же держался того мне-

ния, что не только «и» здесь неправильно, но и «всеподданнейше» тоже недопустимо. Они решили каждый день сочинять по две фразы, и это им вполне удавалось. Каждый из них диктовал другому писарю. Затем они сличали написанное. Оба безмерно хвалили друг друга. Потом полковник запирал наброски в большую шкатулку полковой канцелярии, ключ от которой всегда находился при нем. Он складывал эти упражнения рядом с другими, ранее набросанными планами большого парада и состязаний офицеров и нижних чинов. Все планы лежали в соседстве с большими, таинственными, запечатанными конвертами, в которых хранились секретные распоряжения на случай мобилизации.

После того как ротмистр Тшох обнародовал свою гениальную идею, стилизация письма к князю была прервана и они принялись за одинаково звучащие приглашения, которым предстояло быть разосланными во все концы света. Эти краткие пригласительные записки требовали меньше литературных усилий и были изготовлены за несколько дней. Правда, возникли споры касательно ранга гостей. Ибо, в отличие от полковника Фештетича, граф Тшох считал, что приглашения следует рассылать поочередно,

сначала знатнейшим, затем менее родовитым гостям.

— Послать одновременно, — распорядился полковник, — я вам это приказываю! — И хотя Фештетичи принадлежали к знатнейшим венгерским родам, граф Тшох все же счел этот приказ продиктованным обусловленной кровными узами склонностью полковника к демократизму. Он сморщил нос и отослал приглашения одновременно.

На помощь был призван воинский начальник. У него имелись адреса всех офицеров, запасных и отставных. Все они получили приглашения. Приглашены были также близкие родственники и друзья драгун. Этим последним сообщили, что состоится репетиция столетнего юбилея полка. И дали тем самым понять, что они встретят здесь и шефа полка, немецкого князька, к сожалению, принадлежащего к захудалой и не особенно знатной линии. Многие из приглашенных были родовитее шефа полка. Но все же им было лестно войти в соприкосновение с медиатизированным князем. Так как праздник должен был быть «летним», то решено было использовать рощицу графа Хойницкого. «Рощица» отличалась от прочих лесов Хойницкого тем, что была как

самой природой, так и владельцем ее, графом Хойницким, предназначена для празднеств. Это был молодой лесок, состоявший из маленьких и веселых сосенок, он даровал прохладу и тень, в нем были гладкие дорожки и две прогалины, явно пригодные только для того, чтобы служить танцевальными площадками. Итак, эта рощица была взята в аренду драгунским полком. При этом случае еще раз погоревали об отсутствии Хойницкого. Ему все же послали приглашение, в надежде, что он не сможет устоять против соблазна присутствовать на празднике драгунского полка и, пожалуй, даже захватит с собой «парочку приятных людей», как выразился Фештетич. Приглашены были также Гулины и Кинские, Подстацкие и Шенборны, семейство Альберта Тассило Лариша, Кирхберги, Вейссенборны, Бабенгаузены, Сенни Бенкьё, Цушеры и Дитрихштейны. Каждый из них имел какое-то отношение к этому драгунскому полку. Когда ротмистр Тшох еще раз просмотрел список приглашенных, он произнес:

— Черт подери, что за роскошь! — И затем еще несколько раз повторил это оригинальное замечание.

Неприятно, хотя и неизбежно было то, что

на столь великолепный праздник нужно было пригласить безродных офицеров егерского батальона. Ну, да их уж сумеют оттереть к стене! — думал полковник Фештетич. Точно то же думал и ротмистр Тшох. Диктуя каждый своему писарю приглашения егерскому батальону, они злобно посматривали друг на друга. И каждый из них делал другого ответственным за неприятную обязанность приглашать батальон егерей. Их лица прояснились, когда в списке попалось имя барона фон Тротта и Сиполье.

— Битва при Сольферино, — как бы между прочим бросил полковник.

— А-а! — протянул ротмистр Тшох. Он был уверен, что битва при Сольферино имела место в шестнадцатом столетии.

Все канцеляристы были заняты изготовлением зеленых и красных гирлянд из бумаги. Вестовые сидели на верхушках сосен «рощицы» и протягивали проволоку от одного деревца к другому. Три раза в неделю драгуны освобождались от военных занятий. Они проходили особое «учение» в казармах. Их наставляли в искусстве обходиться со знатными гостями. Пол-эскадрона было временно предоставлено в распоряжение повара. Здесь крестьянские парни учились чистить кот-

лы, держать подносы, подавать бокалы с вином и вращать вертелы. Каждое утро полковник Фештетич со строгим видом посещал кухню, погреб и офицерское собрание. Для всех солдат, которым грозила хотя бы малейшая опасность войти в соприкосновение с гостями, были закуплены белые нитяные перчатки.

Каждое утро полковник лично проверял чистоту перчаток, их прочность и то, как они надеты. Сам он выглядел подтянутым, изнутри освещенным каким-то солнцем. Он и сам дивился своей энергии, прославлял ее и требовал удивления от других. Фантазия его развернулась необыкновенно. Каждый день она дарила его не менее чем десятью удачными идеями, тогда как раньше он целую неделю отлично довольствовался и одной. Идеи касались не только праздника, но и общих жизненных вопросов, как-то: регламента учений, дисциплинарных уставов и даже тактики.

В эти дни полковнику Фештетичу стало ясно, что он свободно мог бы быть генералом.

Теперь проволоки были уже протянуты от ствола к стволу, и дело было только за подвеской гирлянд. Итак, их подвесили для пробы. Полковник испытующим взором окинул их. С совершенной несомненностью выяснилась необ-

ходимость подвесить также и лампионы. Но так как, невзирая на туманы и зной, дождя уже очень давно не было, можно было каждый день ожидать грозы. Посему полковник установил постоянные караулы в рощице, на обязанности которых лежало, при малейших признаках приближения грозы, снимать гирлянды и лампионы.

— И проволоку тоже? — осторожно спросил он ротмистра. Ибо хорошо знал, что великие люди охотно выслушивают советы своих менее великих помощников.

— Проволоке ничего не сделается, — сказал ротмистр. И ее решили оставить на деревьях.

Гроза не разражалась. Воздух оставался тяжким и знойным. Кроме того, из отказов нескольких приглашенных выяснилось, что праздник драгун должен был совпасть с празднеством одного известного дворянского клуба в Вене. Многие из приглашенных колебались между жаждой узнать все светские новости (что было возможно только на клубном бале) и необычным удовольствием посетить почти баснословную границу. Экзотика казалась им столь же соблазнительной, как и возможность посплетничать, оказать протекцию, о которой тебя просили, и добиться протекции, которая нужна тебе самому. Многие

обещали телеграфировать о своем решении только в последнюю минуту. Подобные ответы почти полностью уничтожили уверенность, которую полковник Фештетич приобрел за последние дни.

— Это прямо несчастье! — сказал он.

— Это несчастье! — повторил ротмистр. И они повесили головы.

Сколько нужно приготовить комнат? Сто или всего пятьдесят? И где? В гостинице? В доме Хойницкого? Ведь он, к сожалению, отсутствовал и даже не потрудился ответить на приглашение.

— Коварный субъект, этот Хойницкий. Я никогда не доверял ему! — заметил ротмистр.

— Ты совершенно прав! — подтвердил полковник. Тут в дверь постучали, и вестовой доложил о Хойницком.

— Чудесный малый! — вскричали оба одновременно.

Воспоследовала сердечная встреча. В глубине души полковник чувствовал, что его гений утомлен и нуждается в поддержке. Ротмистр Тшох тоже чувствовал, что уже исчерпал свой гений. Они попеременно обнимали гостя, каждый троекратно и каждый с нетерпением дожидался, пока другой выпустит его из объятий. Потом приказа-

ли подать водки.

Все тяжкие заботы в мгновение ока превратились в легкие, приятные перспективы. Когда Хойницкий сказал, например:

— Мы закажем сто комнат, а если пятьдесят и окажутся лишними, ничего не поделаешь! — оба, как один, вскричали: «гениально!» И снова накинулись на гостя с жаркими объятиями.

В течение всей недели перед праздником дождя не было. Все гирлянды и лампионы оставались висеть на своих местах. Изредка, правда, унтерофицера и четырех солдат, в качестве стражи расположившихся на краю рощицы и ведших наблюдение за западной стороной — направлением, откуда должен был появиться небесный враг, пугали глухие раскаты далекого грома. Иногда бледные зарницы вспыхивали по вечерам над серо-синими туманами, сгущавшимися на западном горизонте, в которые куталось, отходя ко сну, багрово-красное солнце. Далеко отсюда, как бы в другом мире, разражались грозы. В тихой рощице стоял легкий хруст от опадающих сухих игл и трескающейся коры на сосновых стволах. Слабо и сонно попискивали птицы, мягкая песочная почва между стволами раскалялась.

А гроза все не приходила, и гирлянды остава-

лись на проволоках.

В пятницу прибыло несколько гостей. Телеграммы предупредили их приезд. Дежурный офицер привез их с вокзала. Возбуждение в обеих казармах с часу на час возрастало. В кафе Бродницера кавалеристы по ничтожнейшим поводам устраивали совещания с пехотинцами, только для того, чтобы увеличить всеобщее волнение. Никто не мог оставаться один. Нетерпение гнало господ офицеров друг к другу. Они шептались, они вдруг оказывались обладателями удивительных секретов, о которых молчали долгие годы. Они становились бесконечно общительны и любили друг друга. Они дружно потели в совместном ожидании. Праздник закрывал горизонт, как могучая величественная гора. Все были убеждены, что он не только внесет разнообразие в их жизнь, но и полностью изменит ее. В последнюю минуту они испугались дела своих рук. Праздник зажил самостоятельной жизнью, он дружественно кивал и свирепо грозил им. Он заволакивал небо и прояснял его. Денщики чистили и утюжили парадные мундиры. Даже капитан Лоренц в эти дни не решался играть в бильярд. Спокойное приволье, в котором он решил провести остаток своей военной жизни, было нарушено. Он бросал

недоверчивые взгляды на свой парадный мундир и напоминал коня, много лет простоявшего в прохладной тени конюшни, которого вдруг вывели на ипподром.

Наконец наступило воскресенье. Гостей насчитывалось уже пятьдесят четыре человека. «Черт подери, что за роскошь!» — несколько раз произнес граф Тшох. Он отлично знал, в каком полку он служит, но при виде пятидесяти четырех звучных имен в списке гостей решил, что все это время недостаточно гордился своим полком. В час дня праздник начался парадом. Два военных оркестра были вызваны из более крупных гарнизонов. Они играли в двух деревянных круглых открытых павильонах на краю рощицы. Дамы сидели под тентом, в легких платьях, надетых на тугие корсеты, в огромных, как колеса, шляпах, на которых свили гнезда птичьи чучела. Несмотря на жару, они улыбались губами, глазами, грудями, находившимися в плену у легких и облегающих платьев, ажурными перчатками, доходившими до локтя, и крохотными платочками, которые они держали в руках и лишь изредка осторожно-осторожно приближали к носу, как бы боясь разбить его. Они продавали конфеты, шампанское и билеты в «счастливое колесо», где

собственноручно орудовал воинский начальник, и пестрые пакетики с конфетти, которое сплошь покрывало их и которое они пытались сдуть соблазнительно вытянутыми губками. В лентах серпантина тоже не было недостатка. Они обвивали шеи, ноги, свисали с деревьев, в мгновение ока превратив натуральные сосны в искусственные. Ибо они были гуще и внушительнее природной зелени. Между тем в небе сгустились долгожданные тучи. Гром громыхал все ближе, но военные оркестры заглушали его. Когда вечер спустился на палатки, экипажи, конфетти и танцоров, зажглись лампочки, и никто не заметил, что от внезапных порывов ветра они раскачивались сильнее, чем то подобало праздничным огням. Зарницы, все ярче освещавшие небо, никак не могли состязаться с фейерверком, который солдаты пускали за рощицей. И все до одного были склонны принимать случайно замеченные молнии за неудавшиеся ракеты.

— Будет гроза! — внезапно сказал кто-то. И слух о грозе начал распространяться по рощице.

Поэтому все собрались в дорогу и пешком, верхами и в экипажах отправились к дому Хойницкого. Все окна стояли раскрытыми.

Свет от колеблющихся огненных вееров све-

чей свободно лился на длинную аллею, золотил землю и деревья, так что листья казались сделанными из металла. Было еще не поздно, но уже темно от сонмищ облаков, набежавших со всех сторон и тесно сомкнувшихся.

У подъезда дворца, на широкой аллее и на овальной, усыпанной гравием площадке столпились кони, экипажи, гости, пестрые женщины и еще более пестрые офицеры. Верховые лошади, которых солдаты держали под уздцы, и рысаки, с трудом удерживаемые на месте кучерами, становились нетерпеливыми, ветер электрической скребницей расчесывал их блестящие шкуры, они боязливо ржали в тоске по конюшне и топтали гравий дрожащими копытами. Возбуждение животных и природы, видимо, сообщилось и людям. Веселые возгласы, которыми, как мячиками, перебрасывались гости еще несколько минут назад, внезапно умолкли. Все теперь не без робости поглядывали на окна и двери. Вот наконец раскрылась большая двухстворчатая дверь, и они группами начали приближаться к входу. Потому ли, что внимание устремилось на хотя и обычные, но всегда волнующие признаки приближающейся грозы, потому ли, что оно было отвлечено сбивчивыми звуками обоих оркестров,

настраивавших в глубине дома свои инструменты, никто не услышал стремительного галопа коня, подлетевшего и круто остановившегося у подъезда, с которого соскочил ординарец в своем сверкающем шлеме, с карабином за плечами и патронташем на поясе, освещаемый белыми молниями; на фоне лиловых туч он походил на театрального вестника войны. Спешившись, драгун спросил полковника Фештетича. Полковник был уже в доме. Через минуту он появился, принял письмо из рук ординарца и возвратился в дом. В полукруглом вестибюле, не имевшем верхнего освещения, он остановился. Лакей с канделябром в руках стал за его спиной. Полковник разорвал конверт. Лакей, с ранних лет приученный к своей трудной профессии, все же не смог совладать со своими внезапно задрожавшими руками. Свечи, которые он держал, замигали. Он отнюдь не пытался читать через плечо полковника, но текст письма невольно попал в поле зрения его благовоспитанных глаз, одна-единственная фраза, состоявшая из огромных, отчетливо написанных синим чернильным карандашом слов. И так же, как он не смог бы, закрыв глаза, перестать замечать молнии, быстрой чредой вспыхивавшие теперь во всех углах неба, не мог он отвести глаз и

от страшных, синих слов. «По слухам, наследник убит в Сараеве», — гласили они.

Слова эти, как единое слово, проникли в сознание полковника и в глаза стоявшего за ним лакея. Полковник выронил конверт. Слуга, не выпуская из правой руки канделябра, нагнулся поднять его. Выпрямившись, он встретился глазами с полковником, повернувшимся к нему. Слуга отступил на шаг. В правой руке он держал канделябр, в левой конверт, и обе они дрожали. Колеблющийся свет падал на лицо полковника, попеременно освещая и затемняя его. Обычно румяное лицо Фештетича, украшенное пепельными усами, становилось то лиловым, то белым, как мел. Его губы слегка дрожали и усы вздрагивали. Кроме слуги и полковника, в вестибюле не было ни души. Из глубины дома уже доносился приглушенный вальс, звон бокалов и рокот голосов. В дверь, ведущую в сад, виднелись отблески далеких молний, слышались слабые раскаты далекого грома. Полковник взглянул на слугу.

— Вы прочли? — спросил он.

— Да, господин полковник!

— Держать язык за зубами! — сказал Фештетич и приложил указательный палец к губам. Он удалился, слегка пошатываясь. Впрочем, может

быть, это колеблющееся пламя свечей делало неверной его походку.

Лакей, любопытный и возбужденный обетом молчания, наложенным на него полковником, не менее, чем кровавой вестью, которую только что узнал, нетерпеливо дожидался своего коллегу по службе, чтобы передать ему свечи, надеясь пройти в зал и узнать там еще какие-нибудь подробности. Кроме того, хотя он и был просвещенным, разумным человеком средних лет, ему стало как-то не по себе в этом вестибюле, скудно освещаемом свечами, которые он держал в руках, и погружавшемся после каждого взблеска белых молний в еще более глубокий, коричневый мрак. Тяжелые волны заряженного электричеством воздуха наполняли комнату. Гроза медлила. Он невольно устанавливал какую-то сверхъестественную связь между грозой и страшным известием. Ему казалось, что настал час, когда сверхъестественные силы ясно и грозно напоминают о своем существовании. И он осенил себя крестом, взяв канделябр в левую руку. В этот момент вошел Хойницкий, изумленно посмотрел на него и спросил: неужто гроза внушает ему такой страх. Это не только гроза, отвечал лакей. Несмотря на обещание молчать, ему стало нев-

моготу нести бремя своего соучастия в тайне.

— Что же еще? — осведомился Хойницкий.

— Господин полковник Фештетич получил ужасное известие, — отвечал слуга. И дословно процитировал его.

Хойницкий распорядился прежде всего плотно занавесить уже закрытые из-за непогоды окна, затем подать экипаж. Он поспешил в город. Покуда на дворе запрягали лошадей, подъехали какие-то дрожки с поднятым верхом, по которому можно было заключить, что они прибыли из местности, где уже разразилась гроза. Из них с портфелем под мышкой вылез тот бравый окружной комиссар, который распустил собрание рабочих щетинной фабрики. Прежде всего он объявил, словно только для этого и явился, что в городке идет дождь. Затем сообщил Хойницкому, что наследник австро-венгерской монархии, по-видимому, убит в Сараеве. Люди, приехавшие в город три часа назад, первыми распространили эту весть. Вслед за тем пришла искаженная шифрованная телеграмма от наместника. Грозой, по-видимому, нарушена телеграфная связь, и потому запрос города все еще остается без ответа. Кроме того, сегодня — воскресенье и в телеграфных агентствах недостаточно служащих. Возбуждение в городе и

в деревнях, однако, возрастает, и люди, несмотря на грозу, собираются на улицах.

Покуда комиссар рассказывал торопливым шепотом, из дома доносились скользящие шаги танцующих, звон бокалов и время от времени громкий хохот мужчин. Хойницкий решил сначала пригласить в отдаленную комнату несколько гостей, которых он считал влиятельными, осторожными и еще трезвыми. Под всевозможными предлогами он приводил их туда, знакомил с окружным комиссаром и сообщал новость. В числе посвященных были: полковник драгунского полка, майор егерского батальона, их адъютанты, несколько носителей громких имен и среди избранных офицеров-егерей — лейтенант Тротта. В комнате, в которой они находились, было мало мебели, поэтому многие прислонились к стенам, другие же, ничего не подозревающие и веселые, скрестив ноги, уселись на ковер. Но и услышав страшную весть, они не изменили своего положения. Одних, видимо, сковал ужас, другие были попросту пьяны. Третьи же, по своей природе, безразлично относились к любым событиям или были, так сказать, скованы знатностью и считали, что им не подобает из-за какой бы то ни было катастрофы беспокоить свое тело. Они даже не

успели стряхнуть с себя обрывки бумажных лент и кружочки конфетти.

В маленькой комнатке скоро стало жарко.

— Не открыть ли окно? — предложил кто-то. Другой быстро распахнул высокую узкую раму, высунулся и тотчас отпрянул назад. Белая, необычайной силы молния ударила в парк. В темноте нельзя было различить место, куда она попала, но треск падающих деревьев был явственно слышен. Их черные опрокидывающиеся кроны тяжело зашуршали. И даже надменно восседавшие на ковре «безразличные» вскочили с мест, подвыпившие закачались и побледнели. Все дивились, что были еще живы. Затаив дыхание, они смотрели друг на друга широко раскрытыми глазами и ждали громового удара. Он грянул через несколько секунд. Но между молнией и ударом грома уместилась вечность. Они пытались приблизиться друг к другу, вокруг стола образовалась куча из голов и тел. На мгновение все лица, как ни различны были их черты, стали братски похожими. Казалось, им всем впервые приходится переживать грозу. В страхе и трепете душевном пережидали они короткий трескучий удар и только после него перевели дыхание. И когда за окном тяжелые тучи, распоротые молнией,

с ликующим грохотом потоками низверглись на землю, мужчины начали занимать свои места.

— Мы должны прекратить празднество! — заметил майор Цоглауэр.

Ротмистр Тшох, со звездочками конфетти в волосах и обрывком розовой бумажной ленты вокруг шеи, привскочил. Он был оскорблен как граф, как ротмистр, как драгун в частности, как кавалерист вообще, особенно же как он сам, необыкновенный индивидуум, короче говоря, как Тшох. Его короткие густые брови сдвинулись и образовали две загородки, ощетинившиеся на майора Цоглауэра. Его большие светлые глупые глаза, в которых обычно отражалось все, что они восприняли в течение лет, но никогда не то, что они видели сейчас, теперь вобрали в себя все высокомерие тшоховских предков, высокомерие пятнадцатого века. Он уже успел забыть молнию, гром, ужасное известие, все события прошедших минут. В памяти у него сохранились только усилия, затраченные на устройство праздника — его гениальную идею. Он вообще легко пьянел, а теперь выпил шампанского, и седловина его маленького короткого носика покрылась потом.

— Сообщение неверно, — крикнул он, — безусловно неверно. Пусть кто-нибудь мне докажет,

что это так? Дурацкая выдумка, об этом говорит уже слово «по слухам», или «вероятно», или как там называется эта политическая галиматья!

— Достаточно и слуха, — возразил Цоглауэр.

Тут в спор вмешался господин фон Бабенгаузен, ротмистр запаса. Он был слегка навеселе и обмахивался платком, который то засовывал в рукав, то снова вытаскивал. Он отделился от стены, подошел к столу и, зажмурив глаза, начал:

— Милостивые государи, Босния расположена далеко от нас. Слухи еще ничего не значат. Что касается меня, я плюю на слухи. Если же это правда, мы успеем ее узнать.

— Браво! — крикнул барон Енё Надь, гусар. Он считал мадьяр одной из благороднейших рас империи и всего мира, хотя сам, несомненно, происходил от еврейского деда из Оденбурга, баронство же было куплено его отцом. Он воспринял все пороки венгерского дворянства и старался всеми возможными средствами позабыть о семитской расе, к которой принадлежал.

— Браво! — повторил он еще раз. Ему удавалось любить все, что благоприятствовало национальной политике венгров, и ненавидеть все, что шло ей во вред. Он принуждал себя ненавидеть наследника престола, ибо кругом говорилось,

что тот питает симпатию к славянским народностям и не любит венгров. Барон Надь не для того приехал на праздник в эту глушь, чтобы какая-то случайность испортила ему удовольствие. Он раз и навсегда положил считать предателем мадьярской нации любого ее представителя, отказавшегося по каким бы то ни было причинам плясать чардаш, к которому его обязывала принадлежность к этой благороднейшей расе. Он покрепче зажал в глазу свой монокль, как это делал всегда, когда ему надо было испытывать национальные чувства, подобно старцу, крепче сжимающему посох, перед тем как пуститься в странствие, и сказал на немецком языке венгров, похожем на довольно жалкое чтение по складам:

— Господин фон Бабенгаузен совершенно прав, совершенно прав! Если наследник престола действительно убит, найдутся другие престолонаследники!

Господин фон Сенни, более мадьяр по крови, чем господин фон Надь, охваченный внезапным страхом, что еврейский отпрыск превзойдет его в венгерских убеждениях, поднялся и сказал:

— Если престолонаследник и убит, то, во-первых, мы об этом еще ничего наверное не знаем,

во-вторых, это абсолютно нас не касается!

— Это несколько касается нас, — вставил граф Бенкьё, — но он вовсе не убит. Это только слух!

За окнами дождь шумел с прежней силой, но бело-голубые молнии блистали реже, и гром слышался уже издалека.

Обер-лейтенант Кинский, выросший на берегах Молдовы, высказал убеждение, что наследник был весьма шаткой опорой монархии, если слово «был» здесь вообще уместно. Он сам, обер-лейтенант, присоединяется к мнению предыдущих ораторов: убийство наследника следует рассматривать как ложный слух. Эти края так далеки от места происшествия, что проверить слух нет никакой возможности. Истинное положение вещей все равно удастся узнать только по окончании праздника.

После этих слов пьяный граф Баттяни затеял со своими соотечественниками разговор по-венгерски. Остальные ни слова не понимали. Все еще немного удрученные, они молча посматривали то на одного, то на другого из оживленно разговаривающих венгров. Но те, видимо, собирались проговорить весь вечер, быть может, следуя и здесь своим исконным национальным обычаям. По их физиономиям, даже ни звука не

понимая, можно было заметить, что они постепенно начинали забывать о присутствии других. Время от времени они разражались дружным хохотом. Остальные чувствовали себя обиженными, не столько потому, что смех казался им в эти минуты неуместным, сколько потому, что причина его была им непонятна. Словенца Иелачиха обуял гнев. Он ненавидел венгров так же сильно, как презирал сербов. Он любил монархию, он был австрофилом. И теперь стоял, держа свою любовь к монархии в широко растопыренных руках, как знамя, которое нужно куда-то пристроить и для которого не находится флагштока. Непосредственно под владычеством венгров жило множество его одноплеменников, словен и родственных им кроатов. Вся Венгрия отделяла ротмистра Иелачиха от Австрии, Вены и императора Франца Иосифа. В Сараеве, чуть ли не на его родине, и, быть может, от руки такого же словенца, как и сам ротмистр Иелачих, погиб наследник престола. Если бы ротмистр принялся теперь защищать убитого от поношений венгров (он один во всей компании понимал по-венгерски), ему могли бы возразить, что убийцы — его одноплеменники. Он, сам не зная почему, чувствовал себя как бы совиновником. В тече-

ние полутораста лет его род усердно служил династии Габсбургов. Но двое его подростков сыновей уже поговаривали о самостоятельности всех южных славян и прятали от него брошюры, видимо, получаемые из враждебного Белграда. А он любил своих сыновей. Каждый день, около полудня, когда полк проезжал мимо гимназии, они стремглав выскакивали из больших коричневых ворот школы и бросались ему навстречу, растрепанные, с открытыми смеющимися ртами, и отеческая нежность всякий раз заставляла его спешиваться, чтобы обнять детей. Он закрывал глаза, видя их читающими подозрительные газеты, и затыкал уши, когда они пускались в подозрительные рассуждения. Он был умен и понимал, что беспомощно стоит между своими предками и потомками, которым суждено стать предками совсем новой породы людей. У них были его лицо, глаза и цвет волос, но сердца их бились в новом ритме, в их головах зарождались чуждые ему мысли, их глотки распевали новые, неизвестные ему, песни. И в свои сорок лет ротмистр чувствовал себя старцем, а сыновья казались ему непонятными праправнуками.

«Будь что будет!» — подумал он в эту минуту, поднялся, ударил ладонью по столу и сказал:

— Мы просим милостивых государей продолжать свою беседу на немецком языке.

Бенкьё, который как раз говорил, прервал свою речь и ответил:

— Я скажу по-немецки: мы, мои соотечественники и я, пришли к убеждению, что должны радоваться, если эту свинью действительно прикончили.

Все вскочили на ноги. Хойницкий и веселый окружной комиссар покинули комнату. Гости остались одни. Им дали понять, что споры внутри армии не терпят свидетелей. Рядом с дверью стоял лейтенант Тротта. Он много выпил. Его лицо было бледно, члены расслаблены, в горле у него пересохло, в сердце царила пустота. Он понимал, что пьян, но, к удивлению своему, не чувствовал благодетельного тумана перед глазами. Ему даже казалось, что он яснее обычного видит все, как сквозь блестящий прозрачный лед. Лица, которые он впервые увидел сегодня, выглядели давно знакомыми. Казалось, что и эти минуты он пережил уже не раз, ведь то было воплощение давно чаянного события. Отечество Тротта распадалось и раскалывалось.

Там, в моравском окружном городке В., может быть, еще была Австрия. Каждое воскресенье ор-

кестр господина Нехваля играл марш Радецкого. Раз в неделю, по воскресеньям, там была Австрия. Император, белобородый, забывчивый старик, с блестящей каплей на носу, и старый господин фон Тротта были Австрийской империей. Старый Жак умер. Герой Сольферино умер. Полковой врач доктор Демант умер. Оставь эту армию, сказал он. Я выйду из армии, думал лейтенант. Мой дед тоже оставил ее. Я скажу им это, мысленно продолжал он и вдруг, как несколько лет назад, в заведении фрау Рези, ощутил потребность что-то предпринять. Не было ли тут портрета, который надо спасти? Он чувствовал сумрачный взгляд деда на своем затылке. Он шагнул на середину комнаты, не зная еще, что скажет. Кое-кто уже смотрел на него.

— Я знаю, — начал он… и все еще ничего не знал. — Я знаю, — повторил он, делая еще шаг вперед, — что его императорско-королевское высочество престолонаследник эрцгерцог Франц Фердинанд действительно убит.

Он замолчал и сжал губы. Они превратились в узкую бледно-розовую полоску. В его маленьких темных глазах зажегся светлый, почти белый огонек. Темные спутанные волосы упали на низкий лоб, оттенив складку над переносицей, бороздку

гнева — фамильную черту Тротта. Голова его поникла. На расслабленно повисших руках сжались кулаки. Все невольно взглянули на его руки. Если бы присутствующим был знаком портрет героя Сольферино, они подумали бы, что воскрес старый Тротта.

— Мой дед, — начал лейтенант и опять почувствовал взгляд старика на своем затылке, — мой дед спас жизнь императору. Я, его внук, не допущу поношения дома нашего государя. Господа ведут себя позорно! — Он возвысил голос и крикнул: — Позор! — Впервые он слышал себя кричащим. Он никогда не кричал перед строем, подобно своим товарищам. — Позор! — повторил Карл Йозеф. Эхо собственного голоса отдалось в его ушах. Пьяный Бенкьё шагнул к лейтенанту.

— Позор! — заорал Тротта в третий раз.

— Позор, — повторил ротмистр Иелачих.

— Того, кто осмелится сказать еще хоть слово против покойного, — продолжал лейтенант, — я пристрелю! — И так как пьяный Бенкьё начал бормотать что-то, крикнул: — Тихо! — громовым голосом, ему самому показавшимся взятым напрокат, быть может, голосом героя Сольферино. Ему чудилось, что он и дед — одно. Это его, Карла Йозефа, портрет меркнул под сводами отцовского

кабинета.

Полковник Фештетич и майор Цоглауэр поднялись со своих мест. Впервые, с тех пор как существовала австрийская армия, лейтенант командовал ротмистрами, майорами и полковниками. Никто из присутствующих не верил больше, что убийство наследника ложный слух. Они видели эрцгерцога в красной, дымящейся луже крови. Им казалось, что и здесь, в этой комнате, они через секунду увидят кровь.

— Велите ему замолчать! — прошептал полковник Фештетич.

— Господин лейтенант! — произнес Цоглауэр, — оставьте нас!

Тротта направился к двери. В это мгновение она распахнулась. Толпа гостей ворвалась в комнату с конфетти и лентами серпантина на головах и плечах. Дверь осталась открытой. Из смежных зал доносился женский смех, музыка и шарканье танцующих. Кто-то воскликнул:

— Наследник убит!

— Траурный марш! — завопил Бенкьё.

— Траурный марш! — повторили за ним другие.

Они ринулись вон из комнаты. В двух огромных залах, где только что происходили танцы,

оба военных оркестра, управляемые улыбающимися, разгоряченными капельмейстерами, играли теперь траурный марш Шопена. В зале несколько пар кружились и кружились в такт марша. Пестрые бумажные змеи обвивали их плечи и волосы. Мужчины в военном и штатском вели под руку женщин. Их ноги с трудом подчинялись зловещему и прерывистому ритму. Оркестры играли без нот, не ведомые, а скорей сопровождаемые медленными петлями, которые чертили в воздухе черные дирижерские палочки. Иногда один оркестр отставал от другого, и ему приходилось пропускать несколько тактов, чтобы сравняться с забежавшим вперед. Гости маршировали, оставляя посредине зала пустой овал блестящего паркета. Так они кружились бесконечным траурным шествием, и каждый шел за другим, как за гробом.

Все были пьяны. А у тех, кто не успел достаточно выпить, голова шла кругом от неустанного кружения. Оркестры постепенно ускоряли ритм, и ноги гостей начали маршировать уже сами по себе. Трубачи трубили без передышки, а тяжелые тарелки вдруг зачастили, как юные резвые барабанные палочки. Пьяный барабанщик внезапно ударил по серебряному треугольнику, и в этот

момент граф Бенкьё в восторге подпрыгнул.

— Свинья подохла! — завопил он по-венгерски. Но все поняли его, словно он прокричал это на немецком языке. Некоторые вдруг пустились вприпрыжку. Оркестры все быстрее наяривали траурный марш. А треугольник продолжал заливаться звонко, серебристо и пьяно.

Кончилось тем, что лакеи Хойницкого стали убирать инструменты. Улыбающиеся музыканты покорно отдавали их. Скрипачи таращили глаза на уносимые скрипки, виолончелисты — на виолончели, горнисты — на горны. Некоторые еще водили оставшимися у них смычками по глухонемому сукну своих рукавов и склоняли головы, прислушиваясь к неслышным мелодиям, еще звучавшим в их пьяном мозгу. Барабанщик, у которого отняли его инструмент, продолжал размахивать палочками в пустом воздухе. Капельмейстеров, которые были пьянее других, слуги в конце концов подхватили под мышки и уволокли, как уволакивали инструменты. Гости хохотали. Потом все стихло. Никто не издавал ни звука. Все остались на местах, где стояли или сидели, и не шевелились. Вслед за инструментами вынесли бутылки. А у тех, кто еще держал недопитый бокал, его попросту взяли из рук.

Лейтенант Тротта вышел из дому. На ступеньках парадной лестницы сидели полковник Фештетич, майор Цоглауэр и ротмистр Тшох. Дождь перестал. Время от времени только капало из разреженных туч да с выступов крыши. Все трое сидели на разостланных белых платках. А казалось, что они сидят на собственных погребальных пеленах. Намокший обрывок бумажной змеи прилип к затылку ротмистра.

Лейтенант вытянулся перед ними. Они не шелохнулись и сидели по-прежнему, опустив головы, напоминая военную восковую группу из паноптикума.

— Господин майор! — обратился Тротта к Цоглауэру. — Я завтра намерен просить об увольнении.

Цоглауэр встал. Он вытянул руку, желая что-то сказать, но не выдавил из себя ни звука. В воздухе постепенно светлело, мягкий ветерок разогнал облака, в мерцающим серебре короткой ночи уже намечалось утро, и лица стали ясно видны. Сухощавое лицо майора ходило ходуном. Морщинки как бы вдвигались одна в другую, кожа передергивалась, подбородок трясся, какие-то маленькие мускулы дергались на скулах, глаза мигали, и мелкой дрожью дрожали щеки. Все пришло в

движение в этом лице от замешательства, порожденного бестолковыми, невыговоренными и невыговаривающимися словами. Тень безумия витала над ним. Цоглауэр сжимал руку Тротта секунду, вечность! Фештетич и Тшох все еще неподвижно сидели на ступеньках. В воздухе носился резкий запах бузины. Слышно было мягкое падение редких дождевых капель и тихий шелест влажных деревьев, робко оживали голоса животных, смолкшие перед грозой. Музыка внутри дома затихла. Только людская речь проникала еще через закрытые и занавешенные окна.

— Может быть, вы и правы, вы молоды, — сказал наконец Цоглауэр. Это была только смешная, жалкая часть того, что он передумал в эти секунды. Огромный спутанный клубок мыслей остался невыговоренным.

Было уже далеко за полночь. Но в городке люди еще стояли у дверей домов, на деревянных тротуарах, и разговаривали. При приближении лейтенанта они умолкали.

Когда Тротта добрался до гостиницы, уже начало светать. Он открыл шкаф. Два мундира, штатский костюм, белье и саблю Макса Деманта он положил в чемодан. Все это он делал медленно, стараясь заполнить время. Он по часам

проверял каждое движение. Он замедлял его, ибо боялся пустого времени, которое останется у него до рапорта.

Утро наступило. Онуфрий вошел с формой и с до блеска начищенными сапогами.

— Онуфрий, — произнес лейтенант, — я покидаю армию.

— Слушаюсь, господин лейтенант! — отвечал Онуфрий. Он вышел из комнаты, спустился в каморку под лестницей, в которой он жил, завязал свои вещи в пестрый платок, продел палку под узел и положил все это на кровать. Он решил вернуться домой, в Бурдлаки: скоро должна была начаться уборка урожая. Ему больше нечего было делать в императорско-королевской армии. Кажется, это называлось «дезертировать» и каралось расстрелом. Да, но жандармы только раз в неделю заглядывали в Бурдлаки. От них легко было укрыться. Многие уже проделали подобное: Пантелеймон сын Ивана, Григорий сын Николая, Павел, рыжий Никифор. Поймали и осудили только одного, да и то много лет назад.

Что касается лейтенанта Тротта, то он передал свою просьбу об увольнении во время офицерского рапорта. Ее тотчас удовлетворили. Он пошел прощаться с товарищами. Они не знали, что ска-

зать ему, покуда Цоглауэр не нашел подходящей формулы. Она была очень проста.

— Всего хорошего! — сказал он, и все повторили ее вслед за ним.

Лейтенант поехал к Хойницкому.

— У меня всегда найдется место! — сказал тот. — Я, впрочем, за вами заеду!

На секунду Тротта подумал о фрау Тауссиг. Хойницкий угадал это и заметил:

— Она у мужа. Его приступ на сей раз продлится долго. Возможно, что он навсегда останется там. И будет прав. Я ему завидую. Я навестил ее. Она постарела, друг мой, очень постарела.

На следующее утро, в десять часов, лейтенант входил в окружную управу. Отец уже был там. Открывая дверь, лейтенант сразу увидел его. Он сидел как раз напротив двери, у окна. Сквозь зеленые жалюзи проникало солнце, рисуя узкие светлые полоски на темно-красном ковре. Жужжала муха, тикали часы на стене. Здесь было прохладно, тенисто и по-летнему тихо, как некогда, во время каникул. И все же на всех предметах этой комнаты покоился сегодня какой-то новый, неопределенный блеск. Нельзя было понять, откуда он исходил. Окружной начальник поднялся. Это от него распространялось свечение. Чистое

серебро его бороды окрашивало дневной свет, смягченный зеленью жалюзи и красноватым блеском ковра. Много лет назад, когда Карл Йозеф приезжал на каникулы из моравской Белой Церкви, бакенбарды отца еще напоминали черную, разделенную надвое тучку.

Окружной начальник остался стоять у стола. Он дал Карлу Йозефу приблизиться, положил пенсне на папки с деловыми бумагами и обнял сына. Они наскоро поцеловались.

— Садись, — произнес окружной начальник и указал на стул, тот самый, на котором Карл Йозеф сидел еще кадетом, по воскресеньям, с девяти до двенадцати, держа на коленях фуражку со вложенными в нее белоснежными перчатками.

— Отец, — начал Карл Йозеф, — я ухожу из армии!

И тотчас же почувствовал, что не в состоянии объясниться сидя. Поэтому он поднялся и стал у другого конца стола, напротив отца, не сводя глаз с его серебряных бакенбардов.

— После несчастья, — промолвил отец, — которое постигло нас третьего дня, это похоже… на дезертирство.

— Вся армия дезертирует, — отвечал Карл Йозеф.

Он покинул свое место и начал ходить взад и вперед по комнате, держа левую руку за спиной, правой как бы иллюстрируя свой рассказ. Когда-то давно так ходил по комнате старый Тротта. Жужжала муха, часы тикали на стене. Солнечные полоски на ковре становились все ярче, солнце быстро поднималось; верно, оно уже высоко стоит на небе. Карл Йозеф прервал свой рассказ и взглянул на окружного начальника. Старик сидел, беспомощно свесив руки, полускрытые блестящими, круглыми, накрахмаленными манжетами. Его голова упала на грудь, и крылья бакенбардов закрыли манишку. Он молод и наивен, думал сын. Он милый, наивный младенец с седыми волосами. Может быть, я — его отец, герой Сольферино? Я стар, а он только в летах. Карл Йозеф продолжал ходить по комнате и вдруг воскликнул:

— Монархия умерла, умерла! — и остановился.

— По-видимому! — пробормотал окружной начальник.

Он позвонил и сказал вошедшему канцелярскому служителю:

— Передайте фрейлейн Гиршвитц, что мы сегодня обедаем на двадцать минут позднее! Идем, — обратился он к сыну, беря шляпу и трость. И они

отправились в городской парк. — Свежий воздух не повредит! — заметил окружной начальник. Они прошли мимо павильона, в котором белокурая девушка продавала воду с малиновым сиропом. — Я устал! — заявил окружной начальник — Сядем!

И впервые, с тех пор как он служил в этом городе, окружной начальник опустился на обыкновенную скамью в парке. Он принялся чертить тростью на песке какие-то бессмысленные линии и фигуры и как бы между прочим сказал:

— Я был у императора. Собственно, я не хотел тебе это говорить. Император лично уладил твое дело. Но больше ни слова об этом!

Карл Йозеф просунул свою руку под руку отца. Он снова ощущал его худую руку, как тогда, на вечерней прогулке в Вене. Больше он не отнимал руки. Они вместе поднялись и рука об руку пошли домой.

Фрейлейн Гиршвитц появилась в воскресных серых шелках. Узкая прядь волос ее высокой прически над лбом приобрела цвет ее праздничного платья. Она успела еще наспех приготовить праздничный обед: суп с лапшой, жареную говядину и вареники с вишнями.

Но окружной начальник не проронил ни слова

по этому поводу. Казалось, что ему подан обычный шницель.

Глава двадцатая

Через неделю Карл Йозеф расстался с отцом. Они обнялись в сенях, прежде чем сесть в экипаж. По мнению старого господина фон Тротта, нежности на перроне, при случайных свидетелях, были неуместны. Объятие было торопливое, как всегда, овеянное сыроватым воздухом сеней и прохладным дыханием каменных плит. Фрейлейн Гиршвитц уже ждала на балконе, решительная и мужеподобная. Окружной начальник напрасно старался объяснить ей, что махать вслед отъезжающим излишне. Она считала это своей прямой обязанностью. Хотя никакого дождя не было, господин фон Тротта открыл зонтик. Легкие облака на небе казались ему достаточным основанием для этого. Таким образом, фрейлейн Гиршвитц со своего балкона не могла его видеть. Он не говорил ни слова! И только когда сын уже вошел в вагон, старик поднял руку с вытянутым указательным пальцем:

— Хорошо, если б ты мог оставить армию по болезни. Без уважительных причин из армии не выходят!

— Так точно, папа! — произнес лейтенант.

За минуту до отхода поезда окружной начальник ушел с перрона. Карл Йозеф видел, как он удалялся, выпрямив спину, с поднятым кверху сложенным зонтиком, похожим на обнаженную шпагу. Он не оборачивался, старый господин фон Тротта.

Карл Йозеф получил отставку.

— Что ты собираешься делать? — спрашивали его товарищи.

— У меня есть должность! — отвечал Тротта, и они умолкали.

Он осведомился об Онуфрии. В полковой канцелярии ему ответили, что денщик Колохин дезертировал.

Лейтенант Тротта отправился в гостиницу. Затем он стал медленно переодеваться. Сначала отстегнул саблю — оружие и символ чести. Этого момента он всегда боялся. И теперь был удивлен: никакого сожаления он не испытывал. На столе стояла бутылка «девяностоградусной», но ему даже не хотелось выпить. Хойницкий приехал за ним, внизу щелкнул его кнут, вот он уже вошел в комнату. Он уселся и стал смотреть на Карла Йозефа. На башне пробило три часа. Все сытые голоса лета врывались в открытое окно. Само лето призывало лейтенанта Тротта. Хойниц-

кий, в светло-сером костюме и желтых сапогах, с кнутом в руке, казался посланцем этого лета. Лейтенант провел рукавом по матовым ножнам сабли, обнажил клинок, дохнул на него, протер носовым платком и положил оружие в футляр. Казалось, что он обряжает труп перед похоронами. Прежде чем пристегнуть футляр к чемодану, он взвесил его на ладони. Потом присоединил к нему саблю Макса Деманта. Еще раз перечитал выцарапанную на сабле надпись: «Оставь эту армию!» Теперь он оставлял ее…

Лягушки квакали, кузнечики стрекотали, внизу под окном ржали гнедые Хойницкого и слегка дергали легкую коляску; колеса и оси ее скрипели. Лейтенант стоял в расстегнутом мундире, потом он обернулся и сказал:

— Конец одной карьеры!

— Да, карьера кончена! — подтвердил Хойницкий. — Всем карьерам пришел конец!

Теперь Тротта снял мундир. Он распластал гимнастерку на столе, как их этому учили в кадетском корпусе. Потом сложил ее пополам, предварительно загнув жесткий воротник и рукава; и вот она уже превратилась в маленький сверточек. Сверху он положил аккуратно сложенные штаны. Потом надел серый штатский

костюм; ремень, как последнюю память о своей военной карьере, он оставил на себе (обращаться с подтяжками он никак не мог научиться).

— Мой дед, — сказал он, — верно, тоже вот так сложил однажды свою военную оболочку.

— Возможно, — согласился Хойницкий.

Чемодан еще стоял открытым. «Военная оболочка» лежала в нем, аккуратно сложенная. Пора было запирать чемодан. Внезапно лейтенант Тротта почувствовал боль, слезы комком подступили к горлу, он обернулся к Хойниц — кому и хотел что-то сказать. В семь лет он сделался воспитанником казенного учебного заведения, в десять — кадетом. Всю свою жизнь он был солдатом. И вот теперь нужно было похоронить и оплакать солдата Тротта. Покойника не опускают в могилу без плача. Хорошо, что здесь сидит Хойницкий.

— Давайте выпьем! — предложил последний. — Вы начинаете раскисать!

Они выпили. Затем Хойницкий встал и закрыл чемодан лейтенанта.

Сам Бродницер снес чемодан вниз.

— Вы были у меня хорошим постояльцем, господин барон! — сказал он. Со шляпой в руке Бродницер стоял у экипажа. Хойницкий уже

держал вожжи. Тротта почувствовал внезапную нежность к Бродницеру.

«Всего хорошего!» — хотел он сказать. Но Хойницкий уже щелкнул языком, лошади, подняв головы и хвосты, тронули, и высокие легкие колеса с шуршаньем покатили по песчаной улице.

Они ехали вдоль болот, кишащих лягушками.

— Вот где вы будете жить! — сказал Хойницкий.

Это был небольшой домик, стоявший на опушке леса, с такими же зелеными ставнями, как в окружной управе. Здесь обитал Ян Степанюк, помощник лесничего, старый человек с длинными, свисающими усами из оксидированного серебра. Он двенадцать лет прослужил в армии и на родном ему военном языке величал Тротта «господином лейтенантом». Одет он был в домотканую холщовую рубашку с узеньким, вышитым сине-красными крестиками воротом. Ветер раздувал ее широкие рукава, и казалось, что у Степанюка вместо рук — крылья.

Здесь остался лейтенант Тротта.

Он решил не встречаться ни с кем из прежних товарищей. При колеблющемся свете свечи, в своей бревенчатой комнатке, он писал письма отцу на желтоватой волокнистой бумаге — обра-

щение в четырех пальцах расстояния от верхнего края, текст в двух пальцах от боковых полей. Все письма походили друг на друга, как служебные записки.

У него было мало работы. В большие, переплетенные в черно-зеленую клеенку книги он вносил имена поденщиков, размер жалованья, расходы на нужды гостей, живущих у Хойницкого. Он складывал цифры старательно, но неверно, составлял отчеты о состоянии птичьего двора, о поголовье свиного стада, о проданных или оставленных для домашнего потребления фруктах, о маленьком участке, на котором рос желтый хмель, о сушильне, ежегодно отдававшейся в аренду.

Теперь он начал вникать в язык этой страны. Он понимал то, что говорили крестьяне. Он торговался с рыжеволосыми евреями, уже начинавшими закупать дрова на зиму. Он узнал разницу в стоимости березы, сосны, ели, дуба, липы и клена. Он скряжничал. Так же как его дед, герой битвы при Сольферино, рыцарь правды, он узловатыми жесткими пальцами пересчитывал серебряные монеты, когда по четвергам ездил на базар закупать седла, хомуты, косы, шлифовальные камни, серпы, грабли и семена. Случайно

завидя проходящего офицера, он опускал голову. Но эта предосторожность была излишней. Он был почти неузнаваем, так как усы его разрослись и он начал отпускать бороду. Повсюду уже шли приготовления к уборке урожая; крестьяне толпились у крылец и точили косы о круглые кирпично-красные камни. Вся страна наполнилась жужжаньем стали, заглушавшем песню кузнечиков. Иногда по ночам до лейтенанта доносилась музыка и шум из «нового дворца». Он засыпал под эти звуки, так же как под крик петуха и лай собак в полнолуние. Наконец-то он был доволен, тих и одинок. Ему казалось, что он никогда не жил другой жизнью. Когда ему не спалось, он брал палку и шел бродить по полям, среди многоголосого хора ночи, дожидался рассвета, приветствовал багряное солнце, вдыхал росу, слушал ласковую песню ветерка, возвещавшую приближение утра. После этих ночей он чувствовал себя бодро, как после крепкого сна. Каждый день проходил он через пограничные деревни.

— Бог в помощь, — говорили крестьяне.

— Благодарствуйте. Аминь, — отвечал Тротта. На ходу он, как и они, сгибал ноги в коленях. Так ходили и крестьяне Сиполья.

Однажды он шел через деревню Бурдлаки. Был

тихий день. Колоколенка, как перст этой деревни, утыкалась в голубое небо. Сонно кричали петухи. Вдоль всей улицы жужжали и стайками вились комары. Внезапно из одной избы вышел черноволосый крестьянин с окладистой бородой, встал посреди дороги и произнес:

— Господин лейтенант, я Онуфрий!

— Почему ты дезертировал? — спросил Тротта.

— Я просто ушел домой! — возразил Онуфрий. Предлагать подобные вопросы явно не имело смысла. Все было понятно. Онуфрий служил лейтенанту, как лейтенант служил императору. Отчизны более не существовало. Она разбилась, распалась на куски.

— И ты не боишься? — спросил Тротта.

Нет, Онуфрий не боялся. Он жил у своей сестры. Жандармы каждую неделю проходили через деревню, не оглядываясь по сторонам. Они тоже были украинцы, крестьяне, как и Онуфрий. Если к вахмистру не поступал письменный донос, он ни до чего не касался. А в Бурдлаках не было доносчиков.

— Будь здоров, Онуфрий! — сказал Тротта.

Он пошел вверх по кривой улочке, впадавшей в бесконечные поля. До поворота Онуфрий следовал за ним. Лейтенант слышал скрип подбитых

гвоздями солдатских сапог на гравии дорожки. Онуфрий прихватил с собой казенные сапоги. Лейтенант направлялся в шинок еврея Абрамчика. Там можно было купить ядровое мыло, водку, папиросы, курительный табак и почтовые марки. У еврея была огненно-красная борода; он сидел у сводчатых ворот своего шинка, и его борода светилась на два километра в округе. Когда он состарится, подумал лейтенант, он станет таким же белобородым евреем, как дед Макса Деманта.

Тротта выпил водки, купил табаку, марок и ушел. Дорога из Бурдлаков вела мимо Олекска, к деревне Сосновки, оттуда в Биток и Домброву. Каждый день проходил он этой дорогой, дважды пересекая железнодорожное полотно; в будках непрестанно звенели сигналы — веселые голоса далекого мира, до которого больше не было дела барону Тротта. Угас этот мир. Забвением покрылись годы военной службы, и казалось, что Карл Йозеф всю свою жизнь ходил по полям и проселочным дорогам, — с палкой в руке, а не с саблей у бедра. Он жил, как его дед, герой Сольферино, как его прадед сторож Лаксенбургского парка, как, быть может, жили все его безыменные, неведомые предки, крестьяне из Сиполья. Всегда одна и та же дорога — мимо Олекска, к

Сосновкам, Битку и Домброве. Эти деревни были расположены вокруг дворца Хойницкого и все принадлежали ему. От Домбровы узкая тропинка, поросшая ивняком, вела к Хойницкому. Было еще рано. Ускорив шаг, можно прийти к нему еще до шести часов и не встретить никого из старых товарищей. Тротта зашагал быстрее. Вот он уже стоит под окнами. Лейтенант свистнул. У окна появился Хойницкий, кивнул и быстро сошел вниз.

— Вот и докатились! — сказал Хойницкий. — Война! Мы долго ее ждали, и все же она удивит нас. Видно, нам не суждено жить свободно. Мой мундир наготове. Через неделю, думается мне, самое большее через две, мы вернемся в наши полки.

Тротта показалось, что природа никогда не была такой мирной, как в этот час. На солнце уже можно было смотреть не щурясь, оно с видимой глазу быстротой продвигалось к западу. Встречать его бросился ветер, он нагнал курчавые облачка на небе, взволновал пшеничные и ржаные колосья на земле, ласково коснулся красных головок мака. Синеватая тень легла на зеленые лужайки, лесок на востоке утонул в лиловато-черном сумраке. Маленький белый

дом Степанюка, в котором жил Тротта, светился на опушке, в окнах его пылал и переливался солнечный свет. Кузнечики заверещали громче. Но ветер отнес вдаль их голоса. На мгновение стало тихо, слышалось дыхание земли. Внезапно сверху, из поднебесья, донеслось слабое, хриплое гоготанье. Хойницкий поднял голову.

— Знаете, что это такое? Дикие гуси! Они рано покидают нас. Ведь лето еще в разгаре! Но им уже слышны выстрелы. Они знают, что делают!

Сегодня был четверг, день «маленьких праздников». Хойницкий вернулся в дом. Тротта медленно двинулся по направлению к сверкающим окнам своей хижины.

В эту ночь ему не спалось. Около полуночи он снова услышал хриплый крик диких гусей. Лейтенант встал, оделся и подошел к двери. Степанюк, в одной рубашке, лежал на пороге, его трубка горела красным огоньком. Не двигаясь, он сказал:

— Сегодня не уснешь!

— Гуси, — произнес Тротта.

— Да, это гуси! — подтвердил Степанюк. — Никогда в жизни мне не приходилось слышать их в эту пору! Слушайте, слушайте!

Тротта взглянул на него. Звезды мерцали, как

обычно. Ничего, кроме них, он не видел. И все же под звездами стоял крик, хриплый и непрерывный.

— Они готовятся, — заметил Степанюк, — я уже давно лежу здесь. Несколько раз мне удавалось их видеть, вернее, только их серую тень. Смотрите!

Под кобальтовой синевой неба виднелись крохотные белые тени диких гусей. Они реяли среди звезд, как обрывки белой пелены.

— Это еще не все! — продолжал Степанюк. — Сегодня утром я видел столько ворон, как никогда. Эти вороны прилетели из чужих краев. У нас говорят: вороны — вещуньи!

На северо-восточном горизонте тянулась широкая серебряная полоса. Она быстро светлела. Поднялся ветер. Он донес несколько отрывочных звуков из дворца Хойницкого. Тротта растянулся на земле, рядом со Степанюком. Сонными глазами он еще раз поглядел на звезды, прислушался к крику гусей и уснул.

Проснулся он на рассвете. Ему показалось, что прошло не более получаса, на деле же он проспал не менее четырех. Вместо привычных щебечущих голосов птиц, всякий день приветствовавших утро, сегодня слышалось только черное карканье воронья. Вслед за ним проснулся и Степанюк.

Он вынул изо рта трубку (остывшую за ночь) и указал ею на деревья, окружавшие дом. Большие черные птицы застыли на ветвях, как какие-то страшные, упавшие с неба плоды. Они сидели, сидели неподвижно и каркали. Степанюк пустил в них камнем. Но вороны только захлопали крыльями. Как плоды, торчали они на деревьях.

— Я стрельну по ним, — сказал Степанюк Он пошел в дом, принес ружье, выстрелил. Несколько птиц упало на землю. Остальные, казалось, и не слыхали выстрела. Они по-прежнему сидели на ветвях. Степанюк пересчитал черные трупы, он настрелял их больше дюжины и понес свою добычу к дому, кровь капала на траву.

— Удивительные вороны, — сказал он, — они не шевелятся. Это вещие птицы!

Была пятница. Под вечер Карл Йозеф, как обычно, проходил по деревням. Кузнечики не стрекотали, не квакали лягушки, только вороны каркали. Они расселись повсюду — на липах, на ивах, на дубах и на березах. Может быть, они слетаются каждый год перед жатвой, подумал Карл Йозеф. Они слышат, как крестьяне точат косы, и прилетают. Идя через деревню Бурдлаки, он втайне надеялся встретить Онуфрия, но Онуфрий не появлялся. У крылец стояли крестьяне

и точили косы о красноватые камни. Изредка они поднимали головы; карканье мешало им, и черные проклятья летели вслед черным птицам.

Путь Тротта лежал мимо шинка Абрамчика; рыжеволосый еврей сидел у ворот, его борода светилась. Завидев лейтенанта, Абрамчик поднялся, снял черную шапочку, провел рукой по воздуху и сказал:

— Воронье налетело! Они каркают целый день! Умные птицы! Надо остерегаться!

— Да, может быть, вы и правы! — сказал Тротта и пошел дальше, по поросшей ивняком тропинке, к Хойницкому. Вот уже он под окнами. Лейтенант свистнул. Никто не появился.

Хойницкий, вероятно, был в городе. Тротта тоже пошел туда, по тропинке между болот, чтобы никого не встретить. Только крестьяне ходили этой дорогой. Кое-кто из них попался ему навстречу. Дорожка была так узка, что на ней нельзя было разойтись двоим. Одному приходилось останавливаться и пропускать другого. Все встречавшиеся ему сегодня, казалось, двигались быстрее, чем обычно. Они торопливо здоровались и шли дальше большими шагами, опустив головы, как люди, погруженные в какие-то важные размышления.

Когда Тротта уже подходил к заставе, за которой начинался город, он увидел группу человек в двадцать, гуськом идущую по узкой тропинке. Тротта остановился. Ему подумалось, что это, должно быть, рабочие, рабочие щетинных фабрик, возвращающиеся домой по деревням. Может быть, среди них есть люди, по которым он стрелял. Он посторонился, чтобы пропустить их. Они молча и торопливо шли друг за другом, каждый нес узелок за плечами. Вечер, казалось, быстрее спускался на землю, словно спешащие люди усиливали темноту. Небо слегка заволокло, маленькое и красное садилось солнце, серебристо-серый туман, земной брат облаков, поднялся над болотами. Внезапно зазвонили все колокола в городке. Пешеходы на мгновение замерли, прислушались и двинулись дальше. Тротта остановил одного из идущих сзади и спросил, почему звонят в колокола.

— Война, — отвечал тот, не поднимая головы.

— Война, — повторил Тротта. Да, конечно, начиналась война. Ему показалось, что он знал это уже со вчерашнего, нет, с третьего дня — уже много недель, с ухода в отставку, с злополучного праздника драгунов. Это была война, к которой он начал готовиться с семи лет. Это была его

война, война внука. Возвращались дни героев Сольферино. Колокола гудели без устали. Вот наконец и застава. Сторож на деревянной ноге стоял у крыльца своего домишка, окруженный толпой людей, на дверях висел яркий черно-желтый плакат. Первые слова, черные по желтому фону, можно было прочесть издалека. Как тяжелые столбы, вздымались они над головами собравшихся: «К моим народам!»

Крестьяне в коротких и сильно пахнущих овчинных тулупах, евреи в развевающихся черно-зеленых лапсердаках, швабские земледельцы в зеленых кафтанах из грубого сукна, польские мещане, торговцы, ремесленники и чиновники окружали домишко таможенного сторожа. На всех четырех его стенах висели огромные плакаты, каждый на другом языке, начинавшиеся обращением императора: «К моим народам!» Грамотные читали вслух, их голоса смешивались с гудением колоколов. Некоторые переходили от одной стены к другой и на разных языках читали текст плакатов. Когда один из колоколов умолкал, тотчас же начинал гудеть другой. Из городка толпы людей, по широкой улице, спешили к вокзалу. Вечер уже наступил, и так как это была пятница, то в маленьких домишках

евреев зажглись свечи, отбрасывавшие свет на тротуары. Каждый домик походил на маленький склеп. Сама смерть зажигала в нем свечи. Громче, чем в другие кануны суббот, раздавалось из молитвенных домов пение евреев. Они встречали необыкновенную, кровавую субботу. Черными торопливыми стайками выбегали они из домов, толпились на перекрестках, вопя и плача о своих соплеменниках солдатах, которые завтра должны были выступить. Они жали друг другу руки, целовались; при этом их бороды спутывались, и они руками разнимали их. Над головами неся звон колоколов. Это гуденье и вопли евреев прорезали резкие голоса труб, доносившиеся из казарм. Там играли зорю. Последнюю зорю. Ночь уже наступила, но на небе не было ни одной звезды. Плоское, сумрачное и низкое, нависло оно над городом!

Тротта пошел обратно. Он хотел взять извозчика, но извозчиков не было. Быстрыми, большими шагами отправился он к Хойницкому. Ворота стояли открытыми настежь, все окна были освещены, как на «больших праздниках». Хойницкий, в военной форме, вышел ему навстречу. Он приказал закладывать лошадей, до его гарнизона было три мили, а он хотел прибыть туда еще

этой ночью.

— Подожди минутку, — обратился он к Тротта. Впервые сказал он ему «ты», может быть, нечаянно, может быть, потому, что был в военной форме.

— Я подвезу тебя!

Они подъехали к домику Степанюка, вошли. Хойницкий сел. Он смотрит, как Тротта снимает штатский костюм и медленно, вещь за вещью, облачается в военную форму. Так несколько недель тому назад… — но как это было давно! — в гостинице Бродницера смотрел он на лейтенанта, снимавшего военную форму. Тротта возвращается к своему мундиру, с детства ему родному. Он вынимает саблю из футляра, опоясывается; огромные желтые кисти ласково гладят переливчатый металл сабли. Вот он запирает чемоданы.

У них мало времени для прощания. Они останавливаются перед казармой егерей.

— Прощай, — говорит Тротта. За широкой, неподвижной спиной кучера они жмут друг другу руки долго, так, что течение времени становится почти слышным. Но это пожатие кажется им недостаточным.

— У нас принято целоваться, расставаясь! — говорит Хойницкий. Они обнимаются и быстро

целуют друг друга. Тротта выходит из экипажа. Караул у казармы отдает ему честь. Лошади трогают. Тяжелые ворота закрываются за лейтенантом. Он на мгновение останавливается и слышит, как отъезжает коляска Хойницкого.

Глава двадцать первая

В эту же ночь батальон егерей выступил на юго-восток, в направлении Волочанска. Пошел дождь, сначала мелкий, потом усилившийся, и белая пыль дороги превратилась в серебристо-серую тину. Грязь хлюпала под сапогами солдат и обрызгивала новые, с иголочки шинели офицеров, согласно приказу идущих на смерть. Длинные сабли мешали им при ходьбе, с бедер у них свисали пышные черно-желтые кисти военных шарфов, теперь промокшие, всклокоченные и облепленные тысячами мелких комочков грязи. На рассвете батальон достиг своей цели, соединился с двумя пехотными полками и образовал с ними одну походную колонну. Так ждали они два дня, а войны все не было. Иногда, справа от них, слышались отдельные далекие выстрелы; то были столкновения небольших конных пограничных отрядов. Изредка им попадался на глаза раненый таможенный чиновник или убитый жандарм. Санитары проносили раненых мимо солдат. Война все еще не хотела начинаться. Она медлила, как иногда по целым дням медлят грозы.

На третий день пришел приказ об отступлении, и батальон приготовился к демаршу. Офицеры, так же как и солдаты, испытывали разочарование. Распространился слух, что в двух милях от них был уничтожен целый полк драгун. Казаки перешли границу. Молчаливо и угрюмо маршировал батальон на запад. Вскоре они поняли, что участвуют в непредусмотренном отступлении, так как на перекрестках проселочных дорог, в деревнях и местечках натыкались на беспорядочно отступающие войска всех родов оружия.

Из штаба армии поступали многочисленные и весьма разноречивые приказы. Большинство их касалось эвакуации городов и деревень и мероприятий против русофильски настроенных украинцев, попов и шпионов. Торопливые полевые суды выносили опрометчивые приговоры. Тайные шпики строчили бесконтрольные доносы на крестьян, учителей, фотографов, чиновников. Времени было мало. Приходилось спешно отступать и так же спешно карать предателей. И в то время, как санитарные повозки, обозы, полевая артиллерия, драгуны, уланы и пехотинцы, увязая в грязи размытых дождем дорог, спутывались в неожиданно возникающие и безнадежные клубки, стремглав носились курьеры и жители

маленьких городков нескончаемыми вереницами тянулись на запад, охваченные белым ужасом, нагруженные белыми и красными тюфяками, серыми мешками, коричневой мебелью и голубыми керосиновыми лампами, — в это время в церковных дворах сел и в деревушках раздавались выстрелы торопливых исполнителей опрометчивых приговоров, и мрачная барабанная дробь сопровождала монотонные, зачитываемые аудиторами решения судов; жены расстрелянных, вопя о пощаде, валялись перед выпачканными в грязи сапогами офицеров, и пылающий, красный и серебряный огонь вырывался из хижин и овинов, сараев и скирд. Война австрийской армии началась с полевых судов. По целым дням висели подлинные и мнимые предатели на деревьях церковных дворов, наводя ужас на всех живущих. А живые разбегались куда глаза глядят. Вокруг висельников бушевал огонь, и листва трещала, ибо огонь был сильнее непрерывно моросившего дождя, которым началась эта кровавая осень. Старая кора древних деревьев мало-помалу обугливалась, и маленькие, серебряные дымящиеся искорки пробивались из ее щелей, огненные черви пожирали листву, зеленые листья свертывались, становились

красными, потом черными и серыми, веревки развязывались, и трупы падали на землю с обугленными лицами и еще не поврежденными телами.

Однажды они сделали привал в деревне Крутыны. Батальон пришел туда под вечер и на следующее утро, еще до восхода солнца, должен был двинуться дальше, на запад. В этот день дождь прекратился, и сентябрьское солнце обволокло ласковым серебряным светом обширные поля, на которых еще стоял хлеб, живой хлеб, которому уже не суждено было стать пищей. Бабье лето медленно кружилось в воздухе. Даже воронье стихло, обманутое мирным течением этого дня и, следовательно, лишившееся надежды сыскать вожделенную падаль. Вот уже восемь дней, как они не раздевались. Сапоги их были наполнены водой, ноги распухли, колени одеревенели, икры невыносимо ныли, спины не сгибались. Разместившись по избам, они попытались достать из своих сундучков сухую одежду и обмыться водой из маленького колодца. В эту ночь, которая была бы ясной и тихой, если б забытые и покинутые собаки в некоторых дворах, воя от страха и голода, не нарушали тишины, лейтенанту не спалось. Он вышел из избы и пошел вдоль длинной де-

ревенской улицы по направлению к церкви, православный двойной крест которой, казалось, уходил в звездное небо. Церковь, с тесовой крышей, стояла посреди маленького кладбища, ее окружали покосившиеся деревянные кресты; в ночном освещении казалось, что они пляшут. Перед большими серыми, широко раскрытыми воротами кладбища болтались трое повешенных: в середине бородатый поп, по краям два молодых крестьянина в песочно-желтых кафтанах, с грубо сплетенными лаптями на недвижных ногах. Черный подрясник священника, висевшего посредине, доходил до его сапог. Ночной ветер временами шевелил его ноги, так что они, как немые языки глухонемого колокола, ударялись о подол подрясника; и казалось, что они, хоть и беззвучно, но все же звонят.

Лейтенант Тротта приблизился к повешенным. Заглянул в их раздувшиеся лица. Ему казалось, что в этих трех он узнает своих солдат. Это были лица народа, с которым он ежедневно проходил учение. Лейтенант Тротта огляделся кругом. Прислушался. Ни единый человеческий звук не доносился до него. На колокольне шебаршили летучие мыши. В брошенных дворах лаяли брошенные собаки. Лейтенант вытащил саблю и

одну за другой перерезал веревки повешенных. Потом он взвалил трупы себе на плечи и поочередно перенес их на кладбище. Своей блестящей саблей начал он рыть землю на дорожке между могилами, покуда ему не показалось, что яма достаточно велика для троих. Он положил их туда и при помощи сабли и ножен засыпал могилу землей и потом притоптал ее ногами. Он перекрестился. Со времени последней мессы в моравской Белой Церкви ему не приходилось осенять себя крестным знамением. Он хотел еще прочитать «Отче наш», но его губы двигались, не производя ни единого звука. Прокричала какая-то ночная птица. Зашуршали летучие мыши. Собаки выли в покинутой деревне.

На следующее утро, еще до восхода солнца, они двинулись дальше. Серебряные туманы осеннего утра окутывали землю. Но вскоре солнце вышло из них, пылающее, как летом. Людей томила жажда. Они шли по заброшенной песчаной местности. Иногда им чудилось, что где-то журчит вода. Кое-кто из солдат бросался бежать в направлении, откуда доносилось мнимое журчание, и тотчас же возвращался обратно. Нигде ни ручейка, ни ключа, ни колодца. Они прошли через несколько деревень, но колодцы повсюду были

забиты телами убитых и казненных. Солдаты уже перестали заглядывать в них. Они молча шли дальше.

Жажда усиливалась. Настал полдень. Они услыхали выстрелы и плашмя легли на землю. Враг, по-видимому, уже опередил их. Они ползли, прижимаясь к земле. Вскоре дорога стала расширяться. Мелькнули огни какой-то маленькой железнодорожной станции. Здесь начинались рельсы. Батальон бегом достиг станции, тут было спокойнее; еще один, два километра, и они с обеих сторон будут защищены насыпью. Враг (быть может, какая-нибудь быстрая казацкая сотня) находился на том же уровне, что и они, но по другую сторону насыпи. Молчаливо и угрюмо шагали они по шпалам. Вдруг кто-то крикнул: «Вода!» И в следующую же секунду на склоне насыпи, у будки стрелочника, они увидели колодец.

— Ни с места! — скомандовал майор Цоглауэр.

— Ни с места! — повторили за ним офицеры. Но изнемогающих от жажды людей невозможно было удержать. Сначала поодиночке, потом группами, они стали взбираться по откосу; затрещали выстрелы, и многие попадали. Неприятельские всадники по ту сторону насыпи стреляли в мучимых жаждой людей. Но все больше подгоняемых

жаждой солдат устремлялось к смертоносному колодцу. И когда второй взвод второй роты приблизился к нему, около дюжины трупов уже валялось на зеленом склоне.

— Взвод, стой! — скомандовал Тротта. Он отошел в сторону и сказал: — Я принесу вам воды! Никому не выходить из строя! Ждать здесь! Давайте ведра!

Ему подали два брезентовых ведра. Он взял по ведру в каждую руку и стал подыматься на насыпь, по направлению к колодцу. Пули свистели вокруг него, падали у его ног, проносились мимо ушей и над головой. Он склонился над колодцем. По другую сторону насыпи увидел он два ряда целящихся казаков. Но страха не ощутил. Ему не приходило в голову, что он может быть настигнут пулей, как другие. Ему уже слышался залп из еще не выстреливших орудий и одновременно первые дробные такты марша Радецкого. Он стоит на балконе отчего дома. Внизу играет военный оркестр. Вот Нехваль поднял черную палочку с серебряным наконечником. Вот Тротта опускает второе ведро в колодец. Вот звонко залились трубы. Вот он вытаскивает его. Держа в каждой руке полное, переливающееся через край ведро, среди жужжащих вокруг пуль, он выставляет вперед

левую ногу и начинает спускаться. Вот он делает два шага. Вот уже только его голова виднеется над краем откоса.

Вот пуля пробила его череп. Он шагнул еще раз и упал. Полные ведра качнулись, выпали из рук и пролились на него. Теплая кровь из его головы потекла по холодной земле откоса. Внизу украинские крестьяне его взвода хором закричали:

— Господи Иисусе!

«Во веки веков аминь!» — хотел он ответить. Это были единственные русинские слова, которые он знал. Но губы его больше не шевелились. Рот остался полуоткрытым. Его белые зубы оскалились прямо в голубое осеннее небо. Его язык начал медленно синеть. Он почувствовал, как тело его холодеет. И умер.

Таков был конец лейтенанта Карла Йозефа, барона фон Тротта.

Так прост и не приспособлен для обработки в хрестоматиях, разрешенных для чтения в народных и городских школах Австрийской монархии, был конец внука героя битвы при Сольферино. Лейтенант умер не с оружием, а с двумя ведрами воды в руках. Майор Цоглауэр написал окружному начальнику. Старый Тротта дважды перечитал письмо и опустил руки.

Письмо выпало из них и затрепыхалось на красном ковре. Господин фон Тротта не снял пенсне. Его голова тряслась, и шаткое пенсне со своими овальными стеклышками, как стеклянный мотылек, трепетало на носу старика. Две тяжелые прозрачные слезы одновременно выкатились из глаз господина фон Тротта, замутили стекла пенсне и покатились дальше, на бакенбарды. Тело господина фон Тротта оставалось спокойным, только голова его тряслась. С час, если не больше, господин фон Тротта просидел так за письменным столом. Потом он встал и обычной походкой направился в свою квартиру. Он достал из сундука черный костюм, черный галстук и перевязи из черного крепа, которые после смерти отца носил на шляпе и на рукаве. Переоделся, не глядя в зеркало. Голова его все еще тряслась. Он, правда, пытался укротить беспокойный череп. Но чем сильнее напрягался окружной начальник, тем сильнее тряслась его голова. Пенсне все еще сидело у него на носу и трепыхалось. В конце концов окружной начальник отказался от всех усилий и предоставил голове трястись. В черном костюме и с черной перевязью на рукаве он прошел в комнату фрейлейн Гиршвитц, остановился в дверях и сказал:

— Мой сын убит, почтеннейшая!

Затем быстро закрыл дверь, прошел в окружную управу, открывал двери всех канцелярий, просовывал в них свою трясущуюся голову и повсюду объявлял: «Мой сын убит, господин имярек! Мой сын убит, господин имярек!» Потом он взял шляпу, трость и вышел на улицу. Прохожие приветствовали окружного начальника, с удивлением глядя на его трясущуюся голову. Он останавливал то одного, то другого, говорил: «Мой сын убит!» — и отходил, не дожидаясь соболезнований оторопевших горожан. Он шел к доктору Сковроннеку. Доктор Сковроннек носил теперь форму старшего военного врача и утра проводил в гарнизонном госпитале, а послеобеденные часы, как всегда, в кафе. При входе окружного начальника он поднялся, увидел трясущуюся голову старика, траурную перевязь на рукаве и все понял. Он схватил руку господина фон Тротта, не сводя глаз с его трясущейся головы и пенсне.

— Мой сын убит! — повторил окружной начальник. Сковроннек долго держал руку своего приятеля. Так, рука в руку, стояли они оба. Наконец окружной начальник сел, доктор Сковроннек переложил шахматную доску на другой стол. Подошедшему кельнеру окружной начальник

тоже заявил:

— Мой сын убит!

Кельнер низко склонился и принес рюмку коньяку.

— Еще одну! — приказал окружной начальник. Он наконец снял пенсне. Внезапно ему пришло в голову, что письмо со страшным известием осталось лежать на ковре в канцелярии; он поднялся и пошел обратно в окружную управу. Следом за ним шел доктор Сковроннек. Господин фон Тротта, видимо, не замечал его. Но он и не удивился, когда Сковроннек, без стука, открыл дверь канцелярии, вошел и остановился на пороге.

— Вот письмо, — сказал окружной начальник.

В эту и в многие последующие ночи старый господин фон Тротта не спал. Его голова тряслась и качалась даже в подушках. Иногда окружной начальник видел во сне своего сына. Лейтенант Тротта стоял перед отцом, держа в руках свою офицерскую фуражку, наполненную водой, и говорил:

— Пей, папа, ведь ты хочешь пить!

Этот сон стал повторяться все чаще. И постепенно окружному начальнику стало удаваться каждую ночь видеть своего сына, а иногда Карл Йозеф являлся ему даже по нескольку раз. Итак,

господин фон Тротта начал стремиться к ночи, ко сну. День вызывал у него нетерпение. А когда наступила весна и дни сделались длиннее, он стал утром и вечером затемнять комнаты, чтобы искусственно удлинить ночь. Его голова так и не перестала трястись. Он сам и все окружающие постепенно привыкли к ее непрерывающейся дрожи.

Война, казалось, мало интересовала господина фон Тротта. Газету он брал в руки только для того, чтоб спрятать за ней свою трясущуюся голову. Между ним и доктором Сковроннеком речь никогда не заходила о победах и поражениях. Обычно они играли в шахматы, не обмениваясь ни единым словом. Только изредка один говорил другому:

— Помните партию в позапрошлом году? Вы были так же невнимательны, как сегодня!

Казалось, что они говорят о событиях, свершившихся много десятилетий тому назад.

Немало времени прошло с момента получения рокового известия, времена года сменяли друг друга, согласно извечным невозмутимым законам природы, но люди за красной пеленой войны едва замечали их — и меньше всех остальных окружной начальник. Его голова все еще

тряслась, подобно большому, легкому плоду на чересчур тонком стебле. Лейтенант Тротта давно уже сгнил или был сожран воронами, кружившими тогда над роковыми железнодорожными насыпями. Но старому господину фон Тротта все еще казалось, что он только вчера получил известие о его смерти. И письмо майора Цоглауэра, которого тоже уже не было в живых, лежало на груди окружного начальника; каждый день оно перечитывалось и сохранялось во всей своей страшной свежести, как могильный холм сохраняется заботливыми руками. Какое дело было старому господину фон Тротта до сотен тысяч новых мертвецов, которые последовали за его сыном? Какое дело было ему до спешных и запутанных распоряжений вышестоящих органов, каждую неделю поступавших к нему. И какое было ему дело до гибели мира, приближение которой он теперь видел яснее, чем некогда наделенный пророческим даром Хойницкий? Его сын был мертв. Его служение кончилось. Его мир рухнул.

Эпилог

Нам остается еще только рассказать о последних днях господина окружного начальника фон Тротта. Они прошли, как единый день. Время с однообразным шумом текло мимо него, подобно широкому равномерному потоку. Известия с театра войны и различные чрезвычайные постановления и приказы наместничества мало интересовали окружного начальника. Ведь он уже давно вышел бы на пенсию. Служить он продолжал только потому, что этого требовала война. И ему частенько казалось, что он живет теперь второй, серой жизнью, тогда как с первой, настоящей, давно покончено. Его дни — так ему казалось — не спешили навстречу могиле, как дни других людей. Окаменелый, как собственное надгробие, стоял окружной начальник на берегу своих дней.

Господин фон Тротта спал очень мало. Ел, не замечая, что ему подают. Подписывал бумаги, хорошенько не прочитав их. Случалось, что он приходил в кафе, когда доктора Сковроннека еще не было. Тогда господин фон Тротта брал в руки

газету трехдневной давности и снова перечитывал уже давно известные сообщения. Когда же доктор Сковроннек рассказывал очередные новости, окружной начальник только кивал головой, словно уже давно знал их.

Однажды он получил письмо. Некая совершенно ему неизвестная фрау фон Тауссиг, добровольная сестра милосердия венского сумасшедшего дома, сообщала господину фон Тротта, что граф Хойницкий, несколько месяцев тому назад сошедший с ума на фронте и доставленный в Вену, часто говорит об окружном начальнике. Среди бессвязных речей он постоянно повторяет, что должен сообщить нечто очень важное господину фон Тротта. И если господин окружной начальник случайно имеет намерение посетить Вену, то возможно, что его визит к больному вызовет неожиданное прояснение разума, как это уже не раз имело место в подобных случаях. Окружной начальник посоветовался с доктором Сковроннеком.

— Все возможно, — отвечал тот. — Если вы можете это перенести, я хочу сказать, легко перенести…

Господин фон Тротта перебил его:

— Я все могу перенести.

Он решил выехать немедленно. Может быть, больной врал что-нибудь важное о лейтенанте. Может быть, у него было для передачи отцу что-нибудь написанное рукой сына. Итак, господин фон Тротта отправился в Вену.

Его провели в военное отделение сумасшедшего дома. Был пасмурный осенний день; вокруг все было мокро от дождя, уже несколько недель моросившего над всем миром. Господин фон Тротта ждал в ослепительно белом коридоре и смотрел сквозь зарешеченные окна на более тонкую и более густую решетку дождя, думая о железнодорожной насыпи, на которой умер его сын. Теперь он совсем вымок, думал окружной начальник, словно сын пал только вчера или сегодня. Время шло медленно. Он видел проходящих по коридору людей с безумными лицами и страшными увечьями, но для окружного начальника в безумии не было ничего страшного, хотя он и впервые видел сумасшедший дом. Жаль, думал господин фон Тротта. Если б Карл Йозеф не был убит, а сошел бы с ума, я возвратил бы ему разум. А если б я не мог этого сделать, я бы все-таки каждый день приходил к нему! Может быть, у него была бы так же страшно изувечена рука, как у этого вот лейтенанта, которого сейчас

провели по коридору. Но это все же была бы его рука, а гладить можно и искалеченную руку. Можно смотреть и в безумные глаза! Главное, чтоб это были глаза сына! Счастливы отцы, сыновья которых безумны!

Наконец появилась фрау фон Тауссиг, такая же сестра милосердия, как и все другие. Он видел только ее убор. Какое ему дело до лица этой женщины! Но она долгим взглядом посмотрела на него и затем сказала:

— Я знала вашего сына!

Окружной начальник только теперь взглянул на ее лицо. Это было лицо пожилой женщины, все еще красивой. Да, косынка сестры милосердия молодила ее, как и всякую женщину. Это светская женщина, подумал господин фон Тротта.

— Как давно, — спросил он, — знали вы моего сына.

— Это было перед войной, — отвечала фрау фон Тауссиг. Затем она взяла под руку окружного начальника, повела его вдоль коридора, как привыкла водить больных, и тихонько сказала: — Мы любили друг друга, Карл Йозеф и я!

Окружной начальник спросил:

— Простите, не из-за вас ли вышла тогда эта нелепая история?

— Отчасти и из-за меня! — сказала фрау фон Тауссиг.

— Так, так, — пробормотал господин фон Тротта, — отчасти и из-за вас! — Потом он тихонько сжал руку сестры милосердия и закончил: — Я хотел бы, чтоб у Карла Йозефа могли еще быть «истории» из-за вас.

— Теперь идемте в палату! — сказала фрау фон Тауссиг. Ибо почувствовала, как слезы подкатились к ее горлу, а она считала, что ей не следует плакать.

Хойницкий помещался в комнате, откуда вынесены были все предметы, так как временами на него находило буйство. Кресло, на котором он сидел, всеми четырьмя ножками было ввинчено в пол. Когда вошел окружной начальник, Хойницкий поднялся навстречу гостю и сказал, обращаясь к фрау фон Тауссиг:

— Оставь нас, Валли! Нам нужно переговорить о серьезных вещах.

Они остались одни. Хойницкий подошел к двери, спиной прикрыл проделанное в ней окошечко и провозгласил:

— Приветствую вас в моем доме!

Его голый череп по каким-то непонятным причинам казался господину фон Тротта еще голее.

Из больших выпуклых голубых глаз больного исходил какой-то ледяной ветер, мороз, веявший над желтым, изможденным и в то же время одутловатым лицом и над пустыней черепа. Время от времени правый угол его рта подергивался. Казалось, что он собирается улыбнуться этим углом. Способность улыбаться, навеки утраченная его губами, засела в этом правом углу.

— Садитесь, — сказал Хойницкий. — Я попросил вас приехать, чтобы сообщить вам нечто чрезвычайно важное. Не говорите об этом никому! Кроме вас и меня, ни один человек сегодня еще не знает об этом. Старик при смерти!

— Откуда вам это известно? — спросил господин фон Тротта.

Хойницкий, все еще стоя у двери, поднял указательный палец к потолку, затем приложил его к губам и проговорил:

— Свыше!

Он обернулся, открыл дверь, крикнул:

— Сестра Валли! — и объявил немедленно появившейся фрау Тауссиг: — Аудиенция закончена!

Он поклонился, и господин фон Тротта вышел из палаты.

Он шел по длинным коридорам в сопровожде-

нии фрау Тауссиг, которая уже у самой лестницы шепнула ему:

— Может быть, это помогло!

Господин фон Тротта откланялся и поехал к советнику министерства путей сообщения Странскому. Он сам не знал, почему вдруг решил нанести визит этому Странскому, женатому на урожденной Коппельман. Странские оказались дома. Они не тотчас признали окружного начальника и затем приняли его несколько смущенно, грустно и в то же время холодно, как ему показалось. Его угощали кофе и коньяком.

— Карл Йозеф, — сказала фрау Странская, урожденная Коппельман, — как только сделался лейтенантом, сейчас же пришел к нам! Славный он был мальчик!

Окружной начальник поглаживал свои бакенбарды и молчал. Затем появился сын четы Странских. Он так сильно хромал, что неприятно было смотреть! «Карл Йозеф не хромал!» — подумал окружной начальник.

— Говорят, что император при смерти! — внезапно проговорил советник Странский.

После этих слов окружной начальник немедленно встал и распрощался. Ему-то уж было известно, что старик умирает. Хойницкий ска-

зал это, а Хойницкий всегда и все знал наперед. Окружной начальник поехал в канцелярию обергофмейстера, к другу своей юности Смётане.

— Старик при смерти! — встретил его Смётана.

— Я еду в Шенбрунн! — сказал господин фон Тротта и поехал. Неутомимый мелкий дождь окутывал Шенбруннский дворец, так же как и сумасшедший дом в Вене. Господин фон Тротта пошел по той же аллее, по которой давно-давно шел на аудиенцию к императору, испрашивать милости для своего сына. Сын был мертв. А император умирал. И впервые с тех пор, как господин фон Тротта получил известие о смерти Карла Йозефа, он почувствовал, что сын его пал не случайно. Император не может пережить нас! — думалось ему. Не может пережить семейство Тротта! Они его спасли, и он их не переживет.

Он остался стоять у входа среди низших придворных служителей. Садовник Шенбруннского парка, в зеленом фартуке и с лопатой в руках, подошел и спросил:

— Что о нем слышно?

И стоявшие кругом лесничие, кучера, мелкие чиновники, привратники и инвалиды (каким был и отец героя Сольферино) отвечали:

— Ничего нового! Он умирает!

Садовник удалился; с лопатой в руках отправился окапывать клумбу, взрыхлять вечную землю.

Дождь шел медленно, густой и все густеющей сеткой. Господин фон Тротта обнажил голову.

В парке, среди мелких дворцовых служащих, со шляпой в руке, под непрекращающимся дождем стоял господин фон Тротта, сын героя битвы при Сольферино. Деревья в Шенбруннском парке шелестели и клонились, дождь хлестал по ним размеренно, терпеливо, щедро. Наступил вечер. Любопытные стекались со всех сторон. Парк наполнился людьми. А дождь все не переставал. Ожидающие бродили по аллеям, одни уходили, другие появлялись. Господин фон Тротта оставался на месте. Пришла ночь, ступени опустели, люди разошлись по домам. Господин фон Тротта протиснулся к воротам. Он слышал, как подъезжают экипажи. Временами над его головой со стуком открывалось окно. Кричали какие-то голоса. Ворота отворялись и опять закрывались. Его никто не видел. Дождь моросил медленно, неустанно; деревья клонились и шелестели.

Наконец загудели колокола. Окружной начальник ушел. Он спустился по плоским ступеням и пошел вдоль аллеи к чугунной калитке. В эту

ночь она стояла открытой. Весь долгий путь до города он прошел с обнаженной головой, держа шляпу в руках, ни один человек не попался ему навстречу. Он шел очень медленно, как за похоронными дрогами. Когда забрезжило утро, он подходил к гостинице.

Господин фон Тротта поехал домой. В городке В. также шел дождь. Окружной начальник призвал фрейлейн Гиршвитц и объявил:

— Я сейчас лягу, почтеннейшая. Я очень устал! — И впервые в жизни он среди бела дня улегся в постель.

Заснуть ему не удавалось. Он послал за доктором Сковроннеком.

— Милый доктор, — сказал господин фон Тротта, — не распорядитесь ли вы, чтобы мне принесла канарейку?

Канарейку принесли из домика старого Жака.

— Дайте ей кусочек сахара! — попросил окружной начальник. И канарейке просунули в клетку кусочек сахара.

— Что за славное создание! — сказал окружной начальник.

Сковроннек повторил:

— Славное создание!

— Она переживет всех нас, — заметил Трот-

та. — И слава богу!

Затем он сказал:

— Пошлите за священником! И приходите обратно!

Доктор Сковроннек переждал духовника. Затем он вошел в комнату. Старый господин фон Тротта спокойно лежал на подушках. Глаза его были полузакрыты. Он сказал:

— Вашу руку, милый друг! Не принесете ли вы мне портрет?

Доктор Сковроннек отправился в кабинет, встал на стул и снял с крючка портрет героя Сольферино. Когда он возвратился, держа портрет обеими руками, господин фон Тротта уже не мог его видеть. Дождь тихонько барабанил в оконные стекла.

Доктор Сковроннек ждал, держа на коленях портрет героя Сольферино. Через несколько минут он поднялся, взял руку господина фон Тротта, склонился над ним, глубоко вздохнул и закрыл глаза покойному.

Это был день, когда тело императора опускали в склеп капуцинского монастыря. Через три дня опустили в могилу и тело господина фон Тротта. Бургомистр города В. произнес речь. Она начиналась, как, впрочем, и все речи того времени,

с войны. Далее бургомистр сказал, что окружной начальник отдал своего единственного сына императору и, несмотря на это, продолжал жить и выполнять свой служебный долг. Пока он говорил, неустанный дождь моросил по обнаженным головам собравшихся у могилы, а кругом шелестели и шуршали кустарник, цветы и венки. Доктор Сковроннек, в непривычной ему военной форме, пытался принять сугубо военное положение «смирно», хотя отнюдь не считал его наиболее подходящим для выражения скорби — он был штатским до мозга костей. «В конце концов смерть ведь не врач генерального штаба», — решил доктор. Он первым приблизился к могиле. Лопаты, протянутой ему могильщиком, он не принял, а нагнулся, отломил кусок намокшей земли, раскрошил его в левой руке и правой бросил рассыпающуюся горсть на крышку гроба. Потом отошел в сторону. Ему подумалось, что теперь как раз близится час шахматной игры. У него не было больше партнера. Несмотря на это, он все же решил отправиться в кафе.

Когда он выходил с кладбища, бургомистр пригласил его в свой экипаж. Доктор Сковроннек сел рядом с ним.

— Мне хотелось еще упомянуть о том, что

господин фон Тротта не мог пережить императора! — сказал бургомистр. — Не так ли, господин доктор?

— Не знаю! — отвечал Сковроннек. — Мне кажется, оба они не могли пережить Австрийской империи.

У дверей кафе доктор Сковроннек попросил остановить экипаж. Как и каждый день, он отправился к привычному столику. Шахматная доска стояла на нем, словно окружной начальник и не думал умирать. Кельнер подбежал, чтобы убрать ее, но Сковроннек сказал: «Оставьте!» — и стал играть партию сам с собой, время от времени ухмыляясь и взглядывая на пустое кресло напротив, а в ушах у него стоял мягкий шум осеннего дождя, все еще неустанно барабанившего в оконные стекла.